А. С. ПУШКИН

МЕДНЫЙ ВСАДНИК

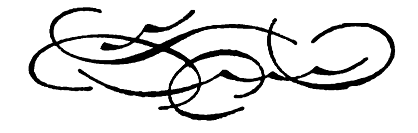
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



А. С. ПУШКИН

МЕДНЫЙ ВСАДНИК



ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛ
Н. В. ИЗМАЙЛОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Ленинградское отделение
Ленинград · 1978

П $\frac{70401\text{-}558}{042\,(02)\text{-}78}$ Без объявления



А. С. Пушкин.

Бюст работы И. П. Витали. 1837 г. Мрамор.

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Издания серии «Литературные памятники» обращены к тому советскому читателю, который не только интересуется литературными произведениями как таковыми, вне зависимости от их авторов, эпохи, обстоятельств их создания и пр., но для которого не безразличны также личность авторов, творческий процесс создания произведений, роль их в историко-литературном развитии, последующая судьба памятников и т. д.

Возросшие культурные запросы советского читателя побуждают его глубже изучать замысел произведений, историю их создания, историческое и литературное окружение.

Каждый литературный памятник глубоко индивидуален в своих связях с читателями. В памятниках, чье значение состоит прежде всего в том, что они типичны для своего времени и для своей литературы, читателей интересуют их связи с историей, с культурной жизнью страны, с бытом. Созданные гениями, памятники в первую очередь важны для читателей своими связями с личностью автора. В памятниках переводных читателей будет занимать (помимо всего прочего) их история на русской почве, их воздействие на русскую литературу и участие в русском историко-литературном процессе. Каждый памятник требует своего подхода к проблемам его издания, комментирования, литературоведческого объяснения.

Такого особого подхода требуют, разумеется, при своей публикации и произведения гения русской поэзии — А. С. Пушкина, и прежде всего такой центральный для его творчества памятник, как «Медный Всадник».

В творениях Пушкина нас интересует вся творческая их история, судьба каждой строки, каждого слова, каждого знака препинания, если он имеет хотя бы некоторое отношение к смыслу того или иного пассажа. «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная» — эти слова Пушкина из начала третьей главы «Арапа Петра Великого» должны быть нами восприняты прежде всего в отношении того, кто их написал, думая не о себе, а об окружающем его мире гениев.

«Петербургская повесть» «Медный Всадник» принадлежит к числу самых любимых произведений каждого советского человека, а замысел

этой поэмы и скрытые в ней идеи тревожат не только исследователей, но и широкого читателя. «Медный Всадник» — это поэма, идущая в русле центральных тем творчества Пушкина. Ее замысел имеет длительную предысторию, а последующая судьба поэмы в русской литературе — в «петербургской теме» Гоголя, Достоевского, Белого, Анненского, Блока, Ахматовой и многих других писателей — совершенно исключительна по своему историко-литературному значению.

Все это обязывает нас отнестись к изданию «Медного Всадника» с исключительной внимательностью, не упустить никаких мельчайших нюансов в истории его замысла, его черновиков, редакций, восстановить поэму в ее творческом движении, отобразить ее в издании не как неподвижный литературный факт, а как процесс гениальной творческой мысли Пушкина.

Такова цель того издания, которое предлагается сейчас требовательному вниманию читателей нашей серии. Именно этой целью объясняются характер статьи и приложений, включение раздела вариантов и разночтений.

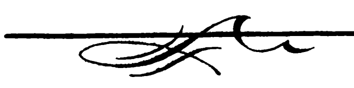
МЕДНЫЙ ВСАДНИК

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОВЕСТЬ

1833

ПРЕДИСЛОВИЕ

Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным *В. Н. Берхом*.



ВСТУПЛЕНИЕ

На берегу пустынных волн
Стоял Он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца
Кругом шумел.

И думал Он:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,[1]
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам
И запируем на просторе.

Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,

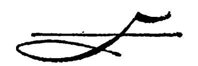
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.

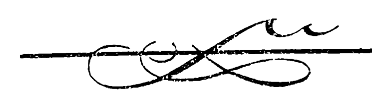
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.[2]
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,

И блеск и шум и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет,
И чуя вешни дни, ликует.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия.
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминанье...
Об ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной.
Уж было поздно и темно;
Сердито бился дождь в окно,
И ветер дул, печально воя.
В то время из гостей домой
Пришел Евгений молодой...
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Мое перо к тому же дружно.
Прозванья нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой
Оно забыто. Наш герой
Живет в Коломне; где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о почиющей родне,
Ни о забытой старине.

Итак, домой пришед, Евгений
Стряхнул шинель, разделся, лег.
Но долго он заснуть не мог
В волненьи разных размышлений.
О чем же думал он? о том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть
Такие праздные счастливцы,
Ума недальнего ленивцы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года;
Он также думал, что погода
Не унималась; что река
Всё прибывала; что едва ли
С Невы мостов уже не сняли
И что с Парашей будет он
Дни на два, на три разлучен.
Евгений тут вздохнул сердечно
И размечтался как поэт:

Жениться? Ну... зачем же нет?
Оно и тяжело конечно,
Но что ж, он молод и здоров,
Трудиться день и ночь готов;
Он кое-как себе устроит
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокоит.
«Пройдет, быть может, год другой —
Местечко получу — Параше
Препоручу хозяйство наше
И воспитание ребят...
И станем жить — и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба
И внуки нас похоронят...»

Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...
Сонны очи
Он наконец закрыл. И вот
Редеет мгла ненастной ночи
И бледный день уж настает...[3]
Ужасный день!
Нева всю ночь

Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури...
И спорить стало ей не в мочь...
Поутру над ее брегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.
Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова...
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Всё побежало, всё вокруг
Вдруг опустело — воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь как Тритон,
По пояс в воду погружен.

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,

Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!
                                        Народ
Зрит божий гнев и казни ждет.
Увы! всё гибнет: кров и пища!
Где будет взять?

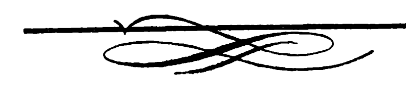
                                В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон,
Печален, смутен, вышел он
И молвил: «С божией стихией
Царям не совладеть». Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел.
Стояли стогны озерами
И в них широкими реками
Вливались улицы. Дворец
Казался островом печальным.
Царь молвил — из конца в конец
По ближним улицам и дальным
В опасный путь средь бурных вод
Его пустились генералы [4]
Спасать и страхом обуялый
И дома тонущий народ.

    Тогда, на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,
Где над возвышенным крыльцом
С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые,
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений. Он страшился, бедный,

Не за себя. Он не слыхал
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая,
Как дождь ему в лицо хлестал,
Как ветер, буйно завывая,
С него и шляпу вдруг сорвал.
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были. Словно горы,
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились,
Там буря выла, там носились
Обломки... Боже, боже! там —
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашенный, да ива
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во сне
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?

И он, как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован,
Сойти не может! Вкруг него
Вода и больше ничего!
И обращен к нему спиною
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Но вот, насытясь разрушеньем
И наглым буйством утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своим любуясь возмущеньем
И покидая с небреженьем
Свою добычу. Так злодей,
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, ломит, режет,
Крушит и грабит; вопли, скрежет,
Насилье, брань, тревога, вой!..
И грабежом отягощенны,
Боясь погони, утомленны,
Спешат разбойники домой,
Добычу на пути роняя.

Вода сбыла, и мостовая
Открылась, и Евгений мой
Спешит, душою замирая,
В надежде, страхе и тоске
К едва смирившейся реке.
Но торжеством победы полны,
Еще кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь,
Еще их пена покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.
Евгений смотрит: видит лодку;
Он к ней бежит как на находку,

Он перевозчика зовет —
И перевозчик беззаботный
Его за гривенник охотно
Чрез волны страшные везет.

И долго с бурными волнами
Боролся опытный гребец,
И скрыться в глубь меж их рядами
Всечасно с дерзкими пловцами
Готов был челн — и наконец
Достиг он берега.
Несчастный
Знакомой улицей бежит
В места знакомые. Глядит,
Узнать не может. Вид ужасный!
Все перед ним завалено;
Что сброшено, что снесено;
Скривились домики, другие
Совсем обрушились, иные
Волнами сдвинуты; кругом,
Как будто в поле боевом,
Тела валяются. Евгений
Стремглав, не помня ничего,
Изнемогая от мучений,
Бежит туда, где ждет его
Судьба с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом.
И вот бежит уж он предместьем,
И вот залив, и близок дом...
Что ж это?...
Он остановился.
Пошел назад и воротился.
Глядит... идет... еще глядит.
Вот место, где их дом стоит,
Вот ива. Были здесь вороты,
Снесло их, видно. Где же дом?
И полон сумрачной заботы,
Все ходит, ходит он кругом,

Толкует громко сам с собою —
И вдруг, ударя в лоб рукою,
Захохотал.

Ночная мгла
На город трепетный сошла;
Но долго жители не спали
И меж собою толковали
О дне минувшем.
Утра луч
Из-за усталых, бледных туч
Блеснул над тихою столицей,
И не нашел уже следов
Беды вчерашней; багряницей
Уже прикрыто было зло.
В порядок прежний все вошло.
Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ. Чиновный люд,
Покинув свой ночной приют,
На службу шел. Торгаш отважный,
Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить. С дворов
Свозили лодки.
Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье Невских берегов.

Но бедный, бедный мой Евгений...
Увы! Его смятенный ум
Против ужасных потрясений
Не устоял. Мятежный шум
Невы и ветров раздавался
В его ушах. Ужасных дум
Безмолвно полон, он скитался.
Его терзал какой-то сон.

Прошла неделя, месяц — он
К себе домой не возвращался.
Его пустынный уголок
Отдал в наймы, как вышел срок,
Хозяин бедному поэту.
Евгений за своим добром
Не приходил. Он скоро свету
Стал чужд. Весь день бродил пешком,
А спал на пристани; питался
В окошко поданным куском.
Одежда ветхая на нем
Рвалась и тлела. Злые дети
Бросали камни вслед ему.
Нередко кучерские плети
Его стегали, потому
Что он не разбирал дороги
Уж никогда; казалось — он
Не примечал. Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.
И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь ни человек,
Ни то ни сё, ни житель света,
Ни призрак мертвый...
Раз он спал
У Невской пристани. Дни лета
Клонились к осени. Дышал
Ненастный ветер. Мрачный вал
Плескал на пристань, ропща пени
И бьясь об гладкие ступени,
Как челобитчик у дверей
Ему не внемлющих судей.
Бедняк проснулся. Мрачно было:
Дождь капал, ветер выл уныло,
И с ним вдали во тьме ночной
Перекликался часовой...
Вскочил Евгений; вспомнил живо
Он прошлый ужас; торопливо
Он встал; пошел бродить и вдруг

Остановился, и вокруг
Тихонько стал водить очами
С боязнью дикой на лице.
Он очутился под столбами
Большого дома. На крыльце
С подъятой лапой, как живые,
Стояли львы сторожевые,
И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.

Евгений вздрогнул. Прояснились
В нем страшно мысли. Он узнал
И место, где потоп играл,
Где волны хищные толпились,
Бунтуя злобно вкруг него,
И львов, и площадь, и Того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Под морем город основался...
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы? [5]

Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке хладной прилегло,

Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав, —
Ужо тебе!..» И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
И озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко скачущем коне;
И во всю ночь, безумец бедный
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.

И с той поры, когда случалось
Идти той площадью ему,
В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку,
Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой.

Остров малый
На взморье виден. Иногда

Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхий. Над водою
Остался он, как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради бога.



ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Альгаротти где-то сказал: «Pétersbourg est la fenêtre par laquelle la Russie regarde en Europe».*

[2] Смотри стихи кн. Вяземского к графине З***.

[3] Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший Петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений Oleszkiewicz.** Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта.

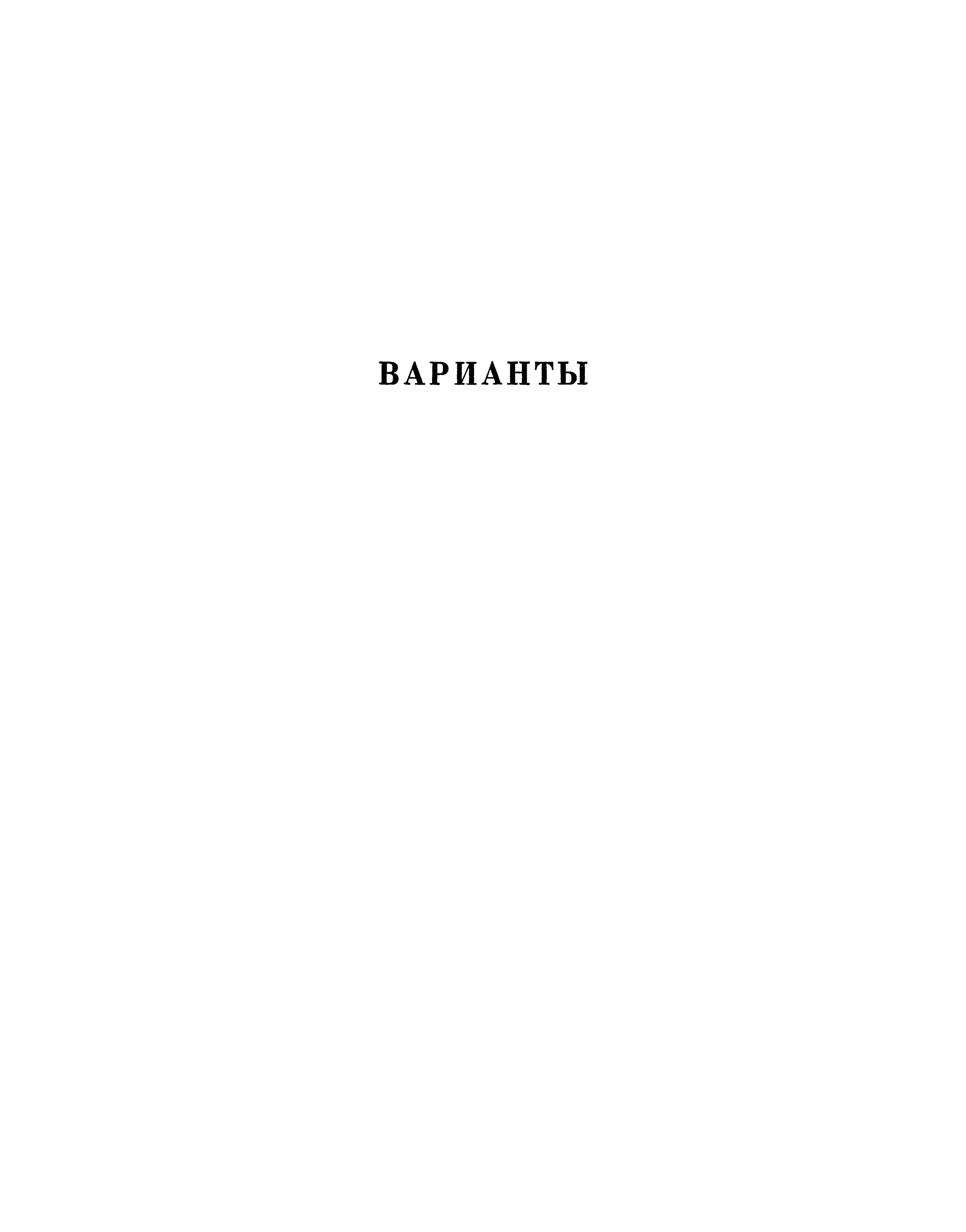
[4] Граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф.

[5] Смотри описание памятника в Мицкевиче. Оно заимствовано из Рубана — как замечает сам Мицкевич.

---

* Петербург — окно, через которое Россия смотрит в Европу (*франц.*).

** Олешкевич (*польск.*).



ВАРИАНТЫ

ПЕРВАЯ ЧЕРНОВАЯ РУКОПИСЬ [1]

(ПД 845, л. 7 об. — 15, 16 об. — 17) [2]

ПД 845, л. 7 об.

6 окт.<ября 1833 г.> [3]

На берегу Варяжских волн
Стоял глубокой думы полн
Великий Петр. Пред ним катилась
Уединенная <река?>

*

Однажды близ пустынных волн [4]
Стоял задумавшись глубоко
Великий муж.[5] Пред ним широко
Неслась пустынная Нева

*

Однажды близ Балтий<ских> волн
Стоял задумавшись глубоко
Великий царь. Пред ним широко
Текла пустынная Нева
[И в море] Челнок рыбачий одиноко

---

[1] *Сокращенный текст. Ср. полный свод черновиков поэмы: Акад., V, 436—488.*

[2] *См. фототипии и транскрипцию рукописи ПД 845 в издании: Рукописи А. С. Пушкина. Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 гг. Тетрадь № 2374 Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М., Гослитиздат, 1939.*

[3] *Помета перед текстом.*

[4] Однажды близ Балтийских волн

[5] Великий царь

*

На берегу пустынных волн
Стоял задумавшись глубоко
Великий царь. Пред ним широко
[Неслась Нева] Текла Нева — Смиренный челн
На ней качался [6] одиноко — — —

*

Сосновый лес <по> берегам
В болоте —
бор сосновый

*

Тянулся лес по берегам
Недосягаемый для солнца — —

*

Чернели избы здесь и там
Приют убогого чухонца —
Да лес неведомый лучам [7]
В тумане [8] спрятанного солнца
И думал Он: [9]
Здесь будет град —
Отсель стеречь [я буду] мы будем Шведа
[Неугомонного соседа —]
И наши пушки заторчат [10]
На землю грозного соседа —
Судьбою здесь нам суждено [11]
В Европу прорубить окно
Ногою твердой стать [у моря] при море — —
Сюда, по девственным водам [12]
Всемирны флаги придут к нам —
[Из Ливерпуля и Сардама] [13]
И запируем [14] на просторе

ПД 845, л. 8

Прошло сто лет — и [юный] новый град
Полнощных стран краса и диво

[6] По ней стремился
[7] Непроницаемый лучам
[8] В туманах
[9] И думал Царь:
[10] Отсель и пушки заторчат
[11] [Сюда] [Отсель] Здесь наконец не мудрено
[12] Сюда по новым волнам
[13] *В автографе описка:* Сармада
[14] И заторгуем

Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво —
Громады тесные[1] дворцов
Стоят вдоль Невских берегов[2]
[Одетых рамою гранитной][3]
[Чугун и медь]

*

Со всех сторон бегут ветрила[4]
К [гранитным пристаням] Невы[5]
И там где финский[6] рыболов
Угрюмый пасынок природы
Кидал свой ветхий невод [в воды][7]

*

[Громады стройные дворцов]

ПД 845, л. 8 об.

[И там где финский рыболов][1]

[дух Петров]
[Супротивление природы]

*

И где бывало рыболов[2]
<Угрюмый пасынок природы> <?>
Один вдоль [грустных<?>] бер<егов>
Бросал в незнаемые воды[3]
Свой ветхий невод —

---

[1] стройные
[2] *а.* Воздвиглись вдоль Невы широкой
б. Стеснились над Невой широкой
С ее гранитных берегов
Мосты повисли —
в. Стоят вдоль стогнов над Невою
Мосты повисли на цепях
г. Стоят вкруг площадей широких
И вдоль гранитных берегов —
д. Вкруг стогнов стройных и широких
[3] Одетых розовым гранитом
[4] Со всех сторон ветрила мчатся
[5] К гранитным пристаням его
[6] *а.* бедный *б.* нищий <?>
[7] *Стих начат:* *а.* Один свой невод
б. Тащил <?> свой невод
в. Свой ветхий невод
[1] *Следующий стих не написан.*
[2] И там где финский рыболов
[3] Кидал в воды

[Громады стройные дворцов]
Ныне там
[Со всех концов земного мира]
[Ветрила]
По оживленным берегам
Теснится стройная громада
[Дворцов и башен и церквей]
Дворцов и [башен] зданий: корабли
Толпой со всех концов земли
Теснятся в пристань Петрограда
[И чужеземцы]

*

[И ты Москва] [4]
[Перед меньшим поникла] братом
[Столповенчанною] главой

*

Поникла ты <пред младшим> <?> братом
Позолоченною главой

*

И ты любовь страны родной
Москва сияющая златом [5]
Поникла ты пред младшим братом
И помрачила<сь?>

*

И ты Москва, [земли] страны родной
Глава сияющая златом
И ты уже пред младшим братом
Поникла в зависти немой

*

Красуйся, юный град! и стой
Неколебимо как Россия —
Но побежденная стихия [6]
Врагов доселе [7] видит в нас

---

[4] И ты Великая Москва
[5] *а.* [Москва] почестью и златом
б. Москва! Москва!
в. Москва увенча<нная> златом
[6] *Далее зачеркнуто:*
а. Державной волею Петра —
б. Ужас<ной волею Петра>
в. Петра железною рукой
[7] доныне <?>

*

Но Фински волны негодуя
На Русский плен — уже не раз

*

Но волны Финские не раз
На грозный приступ шли бунтуя
И потрясали,[8] негодуя
[Гранит подножия Петра!][9]

ПД 845, л. 9

Послало небо испытанье[1]
Об нем[2] начну простой рассказ —
Давно — когда я в первый ‹раз›
Услышал мрачное[3] преданье
[Смутясь, я сердцем приуныл][4]
[И на минуту позабыл]
[Свое сердечное страданье] —[5]
И дал тогда же обещанье

*

[Печальну повесть сохранить]
Я дал тогда же обещанье

*

Была ужасная пора!..[6]
Об ней начну повествованье — —
Давно когда я в первый ‹раз›
Услышал грустное преданье[7]

---

[8] *а. Как в тексте.*
б. И колебали
в. И окружали
[9] *а.* Гранит подножный
б. Подножный гранит
в. Гранит‹ы› города
г. Гранит подножный твой
д. Подножный твердый твой гранит
[1] *а.* В стихах смиренных
б. Был ужас ‹?›
в. Было испытанье
г. Была ужасная година
[2] Об ней
[3] *а.* [Узнал] Услышал грустное
б. Услышал страшное
[4] Его я в сердце заключил
[5] *а.* И для чужой забыл
[Другое] Свое душевное страданье
[6] Была ужасная година
[7] *а.* Услышал мрач‹ный› я рассказ
б. Услышал горестный рассказ

Сердца печальные, для вас
Тогда же дал я обещанье [8]
Стихам поверить сей рассказ [9]

ПД 845, л. 9 об.

[В] гранитный вал втекла Нева —
Мосты повисли над водами
Ее покрылись острова
Великолепными [садами]

*

В гранит оделася Нева —
Густозелеными [1] садами
Ее покрылись острова
Мосты повисли над водами

*

[Люблю тебя Петра] [столица [2]]
[Созданье воли] [Силача‹?› —]
[Люблю тво‹й›]   [вид]
[Люблю твой] [правильный]

*

‹Люблю тебя,› Петра творенье
Люблю твой стройный строгий вид [3]
Невы державное [4] теченье
И вечный плеск   o гранит [5]
[Люблю огромные] [6]
[Твоих лучей [7] безлунный свет]
[Когда]

*

[Люблю твоих садов заборы]

---

[8] Тогда же дал я обещанье
Сердца печальные, для вас
[9] *а.* Я посвятить   преданье
б. Стихом смиренным передать
в. Стихами   повторить
[1] Великолепными
[2] Петра созданье
[3] Люблю твой стройный юный ‹?› вид
[4] Невы широкое
[5] *а.* Ее прибережный гранит
б. Чугун ее, ее гранит
[6] *Стих начат:* Люблю твои
[7] *Описка, вместо* ночей ‹?›

*

[Люблю   узор чуг<унный>]

*

Твоих оград узор чугунный
И зелень темную садов
И летний блеск ночей безлунный [8]
И бури темных вечеров [9]
[Люблю воинственные] [станы]
При [громе флейт] [10]
[Люблю поутру]
[На шумных улицах твоих] [11]
[Люблю встречать]
Встречать лоскутья [боевые] [12]
[Я взвод]   [и знамя]
Знамен изорванных в боях [13]

ПД 845, л. 10

Над омрач.<енным> П.<етроградом> [1]
Дышал [ненаст<ный>] вет<ер> хладом [2]
Плеская шумною волной [3]
В края своей ограды стройной [4]
Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной —
Уж было поздно и темно
Печально бился дождь в окно — [5]
И ветер дул печально воя [6]
В то время молодой сосед [7]

---

8 И [свет] бледный блеск лучей <?> безлунный

9 *а. Как в тексте.*
б. И   морозных вечеров

10 *Стих начат:* При звуке

11 *Начато исправление:* На стогнах

12 Люблю лоскутья боевые

13 В боях изорванных знамен

1 *Этому стиху — началу Первой части поэмы — предшествует на том же листе (л. 10) набросок стихотворения, изображающего спуск военного корабля с верфи на Неву (Акад., III, 310, 900, 1245):*

Чу, пушки грянули — крылатых кораблей...

2 *а.* Дышал осенний вет<ер> хладом
б. Начато исправление: Дышало небо

3 Плеская буйною волной

4 *а.* О плиты набережной стройной
б. В гранит своей ограды стройной

5 *Последние два стиха первоначально записаны в обратном порядке.*

6 *а.* И ветер выл печально воя
б. И ветер дул с остервененьем
в. И ветер дул с ожесточеньем

7 *а.* В то время мой сосед-поэт
б. В то время добрый мой сосед
в. В то время молодой поэт

Вошел в свой т<есный> <?> кабинет —[8]
[Угодно ль моего] Героя —

*

[Мы будем звать его Евгеньем][9]
[За тем что   язык]
[Ко звуку этому привык]

*

В то время из гостей домой[10]
Пришел Евгений молодой
(Так будем нашего Героя
Мы звать — затем что мой <язык>[11]
Уж [к] звуку этому привык)

ПД 845, л. 10 об.

— мой Евгений[1]
Происходил от поколений[2]
Чей дерзкий парус средь морей[3]
Был ужасом минувших дней[4]

*

[Угодно <знать происхожденье> <?>]
[Евг<ений>]
[Он был   столичный]
[Домой пришед]

*

К тому же это подражанье
Поэту Б—<айрону> Наш лорд[5]
(Как говорит о нем преданье)
Не то<лько> был отменно горд
Высо<ким> <?> даром песнопенья[6]
Но и   рожденья
Ламартин

---

8 Вошел в свой тихой кабинет —
9 *а. Как в тексте.*
б. Я назов<у> его Евгеньем
10 *а.*   Той порой
б. В то время со двора домой
11 Мы звать — затем что уж привык
При записи следующего стиха последнее слово привык *осталось неисправленным.*
1 *Стих начат: а.* Происходил от   *б.* Евгений был
2 Происходил от тех вождей
Чей парус
3 [Чей] Чьи парус<а> сред<и> морей
4 *Стих начат:* Был древле ужасом
5 *Стих начат:* Певцу Гяура
6 *Стих начат:* Своим

(Я слышал) также дворянин
Юго, не знаю.
В России же мы все дворяне
Все кроме двух иль трех — зато
Мы их и ставим ни во что

*

[Угодно знать происхожденье]
[И род и племя и года]

*

[Он был чиновник очень бедный] [7]
[Безродный — круглый сирота,]
[Лицом [8] бледный]

*

Он был чиновник небогатый — [9]
[Безродный, круглый сирота] [10]
Собою бледен рябоватый [11]
Высокой блед‹ный› худощавый —

*

[А впрочем] гражданин стол‹ичный›
Каких встречаем всюду тьму
Ни по лицу ни по уму —
От нашей братьи не отличный —

*

Без роду-племени, связей
[Без денег — т. е. без друзей] [12]

ПД 845, л. 11

А впрочем гражданин столичный
Каких встречаете вы тьму

---

[7] [Евг‹ений› был] Он был чиновник небогатый
[8] Отменно молод
[9] Он не богатый был чиновник —
[10] *а. Как в тексте.*
б. Безродный, холостой бедняк ‹?›
[11] *а.* Лицом немного рябоватый
б. Высокий блед‹ный› смугловатый
в. Собою блед‹ный› худощавый
[12] *Наброски к двум последним стихам:*
а. А впрочем он
б. Каких встречаете везде
в. Ни по лицу ни по уму

От вас нимало не отличный [1]
Ни по лицу ни по уму —
Как все он вел себя нестрого [2]
Как вы о деньгах думал много [3]
Как вы сгрустнув курил табак — [4]
Как вы носил мундирный фрак

*

Запросом [5] Музу беспокоя
Мне скажут м.‹ожет› б.‹ыть› опять [6]
[Зачем] ничтожного Героя
Взялся я снова воспевать [7]
Как будто нет уж перевода [8]
Великим людям, что они [9]
Так расплодились [10] в наши дни
Что нет от них уж нам прохода
Ужель и средь моих друзей
Дв‹ух› тр‹ех› вел‹иких нет людей›

*

И ‹*нрзб.*› Что за мода! ..
Не лучше ль ежели поэт
Возмет возвышенн‹ый› предмет,
И нет к тому же пере‹вода›
Вел‹иким› л‹юдям› и они
Совсем не чудо в наши ‹дни›! ..

*

[Таков поэт...] [Угрюм и нем] [11]
[Перед кумирами земными]
[Исполнен мыслями ‹?› святыми ‹?›]
[Проходит он]
Встревожен чувствами иными

---

[1] *а. Стих начат:* От братьи
б. От прочей братьи не отличный
[2] *Этот и следующий стихи первоначально написаны в обратном порядке.*
[3] Как вы писал отменно много
[4] *а.* Как вы читал курил табак —
б. Как вы простой ‹?› курил табак —
[5] Допросом
[6] Мне скажут критики
[7] *а.* Вы снова воспевать —
б. Взялся я снова прославлять
[8] *а.* [Зачем] Заметят мне что с год от года
б. Иль не плодятся год от года
[9] *а.* Героев мало ли — они
б. Прямым героям — иль ‹?›
[10] Совсем не чудо
[11] *Стих начат:* Непоним‹аемый›

*

Куда ты, Госп‹один› певец?
Кричит услужливый глупец
Дорога здесь — но он ‹не слышит›
Не зам‹ечает› ‹?›

ПД 845, л. 11 об.

Итак домой пришед, Евгений
Позвал слугу, разделся — лег
Но долго он заснуть не мог
В волненье тайных размышлений.
О чем же мыслил он: о том
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь
Что мог бы [царь] бог ему прибавить
Ума и [силы] денег[1] — что ведь есть
На свете гордые сча‹стливцы›
Вельможи, богачи, ленивцы
Которым жизнь куда легка

*

Что м.‹ожет› б.‹ыть› через полгода
Он чин получит[2]
Он также думал что река
Приподнялася — что погода

*

Что м.‹ожет› б.‹ыть› через полгода
Он чин получит — что река[3]
Надулась — что дурна погода[4]
Что ветер силен — что едва ль
Мостов не сымут — что конечно
Параше очень будет жаль...

*

Тут [он] вздохнул, вздохнул сердечно
И размечтался, как поэт:

---

[1] *Ниже зачеркнуты стихи:*
а. Но что покаместь надо ж есть
б. Что в здешнем мире надо ж есть
[2] Получит крестик
[3] Получит крестик — что река
[4] Приподымалась — что погода

Жениться — бы — «За чем же нет
Я не богат — в том нет сомненья [5]
И у Параши нет именья [6]
Ужель одним лишь богачам [7]

ПД 845, л. 12

Жениться можно — я устрою
Себе смиренный уголок
И в нем Парашу успокою —
Подруга — садик — щей горшок — [1]
Да сам большой — чего мне боле
[Родится дочка — иль сынок]
[У нас]

*

Пускай знать
С своей блистательной неволей
У нас не будет

*

Нас гордый свет не будет знать
По воскресеньям [летом] буд<ем> в поле
Порою лет<ней> [2]

*

Родятся дети — и Параше
Их воспитанье поручу.[3]

*

Займусь сам <?> службою — Параше [4]
Препоручу [5] хозяйство наше
И воспитание ребят [6] —

---

[5] *а.* Я не богач — но разве в том
б. Я не [богач] богат — оно конечно
[6] Она бедна — ну что ж — не всем
[7] *Стих начат:* [Но] Так что ж —
[1] *а. Стих начат:* Любовь — —
б. Светелка... садик — щей горшок —
[2] Зимой в Коломне — летом в поле
С ней буду время провож<дать>
[3] *а. Как в тексте.*
б. Родятся дети — и Параша
Ходить за ними будет
[4] Займусь на <?> службе <?> а Параше
[5] Я поручу
[6] И воспитание детей —

И слава богу — так до гроба
Рука с р‹укой› пойдем мы оба
И дети нас благославят —

*

Так он мечтал — и ветр унылый [7]
То завывал, то умолкал

*

Так он мечтал — а дождь уныло
В окно стучал, а ветер выл —

*

И он желал чтоб непогода
Не так

*

‹Так он мечтал —› Но грустно было
Ему в ту ночь — и он желал [8]
Чтоб буй‹ный› ветер завывал [9]
Не так протяжно и уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито.
Сонны очи [10]
Он [наконец закрыл] — и вот [11]
Уже редеет сумрак ночи
И бледный день уже ‹?› встает —
Ужасный день...
Нева всю ночь [12]

ПД 845, л. 12 об.—13 об.

[Меж тем по Невскому заливу]
[Вода кругом] — [в единый миг —]
[Все потопила]
Завоевала [Град Петров]
И всей пучиною своею —

---

[7] Так он мечтал — и ветер бурный
[8] *а.* [В нем] Ему во мраке ‹?›
б. Ему печально — он желал
[9] *а.* Чтоб ветер завывал
б. Чтоб ветер бурный завывал
[10] Время ночи
[11] Закрыл он — меж тем
[12] *а.* Ужасный день.... Всю ночь Нева
б. Ужасный вид.... Нева всю ночь

*

Завоевала все вокруг
[Поплыли] [бутки с часовыми]

*

Ужасный ‹вид› — плывут амбары
Плывут снесенные мосты
Плывут и   товары
И утварь жалкой нищеты —

ПД 845, л. 14

тот стр‹ашный› год [1]
[Последним годом был державства]
[Царя пред к‹ем›]
Покойный царь еще над нами [2]
Со славой правил — Вышел он [3]
Печален смутен [4] на балкон
И м‹олвил› — [5] с божией стихией
Царям не сладить [6] — Он глядел [7]
На злое бедствие —
Такова [8]
Давно не видел славный град [9]
[От лета семьдесят седьмого]

*

Тогда еще Екатерина
(Вчера была ей годовщина)
Была жива — и Павлу сына

---

[1] в тот грозный год
[2] *а. Как в тексте.*
б. Царь Алекс.‹андр› еще со славой
в. Покойный царь еще Россией
[3] *а. Стих начат:* Россией ведал
б. [Над нами] Со славой царствовал Он
[4] Печальный сердцем
[5] И думал
[6] Царю не справ‹иться›
[7] Он сидел
И с скорбной ‹?› думою глядел
[8] *а.* На бедствие — и думал
б. На злое бедствие — не даром
Соображал
[9] *а.* Давно не ведал Град Петров
б. Уж‹е› не ведал Град его
в. Уже не помнил Град П‹етров›

В тот год Всевышний даровал [10]
[Порфирородного младенца]
Гимн

*

Такова
Уже не помнил [11] Град Пет‹ра›
От лета 77 [12]
Заметная пора [13]
Тогда еще Екатерина
Была жива и Па‹влу сына›
В тот ‹год всевышний даровал›
И гимн младен‹цу› [14]
Бряцал Держав‹ин› [15]

ПД 845, л. 14 об.

[По граду]
[Меж тем [явилися ‹?› спасать]
[По граду]
[Средь бурных волн]
[Послушны]
[Веленью царскому вожди]
[Спасая]
[Он] [Шлет генералов он своих]
[Своих он Генералов шлет —]

*

Граф Толстой
[Встает] Восстав от сна к окну под‹ходит›

*

От сна к окну идет сенатор
И видит — в лодке [1] по Морской
Плывет — Военн‹ый› Губернат‹ор›...
Зовет он [2]

---

[10] *Стих начат:* Послал Господь
[11] Уже не видел
[12] семьдесят седьмова (*т. е. 1777*).
[13] Заметный год: судьбою стр‹огой› ‹?›
[14] И гимн ‹?› Держ‹авин›
[15] *Наброски к этому месту:*
а. Была та памятна пора!
б. тот год был памятен
в. Тогда Нева [из б‹ерегов›]
[1] в шлюбке
[2] *а.* Он зовет
б. Зовет без памяти ‹?› слугу

Скажи, кричит, — что видишь ты [3]
Тот отвечает: подле бутки [4]
Плывет, я вижу Генерал — [5]

*

Сенатор гр.<аф> Т<олстой>
Восстав от сна идет к окошку [6]
Глядит —
Иван сюда! кричит слугу [7]
Гляди что это — что за шутки [8]
Сенатор   тревогу [9]
Слава <богу>
Я думал видя гиль такую [10]
Уж не сошел ли [11] я с ума
Ему представилась т<юрьма!> <?> [12]

*

Часовой
Стоял у сада! Караула [13]
Снять не успели — Той порой
Верхи <?> деревьев <?> [буря] гнула [14]
И рыло <?> корни их [волной] [15]

ПД 845, л. 15

Людей несчастных   спасая
средь вод
Он генералов [шлет своих] в бурю шлет
[Он] На помочь шлет

---

[3] Скажи, кричит — что видишь там
[4] [Я вижу] Тот отвечает: мимо бутки
[5] На лодке едет Генерал —
[6] Восстав от сна к окну подходит
[7] Иван Иван — сюда
[8] [Что я] Гляди что там —
[9] *Стих начат.* Сенатор снял <?>
[10] Я думал: я сошел <с ума>
[11] *а. Как в тексте.*
б. Что не сошел ли
[12] *Конъектура, предложенная С. М. Бонди (см. наст. изд., с. 204—205).*
[13] Стоял у сада. Не успели
Его
[14] *а.* Нева к нему   шутя
б. Уже вершины <?> буря гнула
в Гроза   гнула
[15] *а.* И пла вода но в <...>
б И била корни их волна

ПД 845, л. 16 об.

Стояли стогны озерами [1]
И в них — реками
Вливались улицы — [Дворец]
Казался островом печальным — [2]
Царь молвил — из конца в конец [3]
По ближним улицам и даль‹ным›
На легких лодках [по волнам]
Его пустились генералы — — [4]
город одич‹алый›
Спасая и здесь и там — [5]

*

И перед младшею ‹?› с‹толицей› [6]
Померкла старая Москва [7]
Как перед новою царицей [8]
Порфироносная Вдова [9]

*

Царь молвил — из конца в конец
По ближним улицам и дальным
В опасный путь, средь новых вод [10]

---

[1] *Стих начат:* Стояли площади ре‹ками›
[2] *а.* Казался [островом] остров одичалый
б. Казался ковчегом
в. [Чудес‹ным›] Волшебным островом казался
г. Печальным островом казался
[3] *а.* *Стих начат:* И в сей
б. и наконец
в. В ‹*нрзб.*› Наконец
г. По слову царя
[4] *а.* Его на помощь ‹?› Генералы
б. На лодках Генералы
в. На лодках — [вод‹ы›] волны одичалы
г. В бурный путь
д. Его помчались Генералы — —
[5] *а.* Спасая здесь и там
б. Спасая город одичалый
[6] И перед новою с‹толицей›
[7] Главой поникнула Москва
[8] *а.* *Как в тексте.*
б. Как перед юной ‹?› молодицей
в. Как перед венчанной царицей
г. Как пред властител‹ьной› ‹?› царицей
[9] *а.* Царя почившего вдова
б. Царя умершего вдова
в. *Стих начат:* Порфиро‹ро›дн‹ая›
[10] *а.* На легких лодках здесь и там
б. По новым рекам
в. Средь новых вод, в опасный путь

Его пустились Генералы
Спасать от страх‹а› одичалый [11]
И дома тонущий народ — [12]

ПД 845, л. 17

Когда я в комнате моей [1]
Пишу читаю без лампады [2]

*

И не пуская тьму ночную [3]
На голубые ‹?› небеса
Одна заря спешит другую
[Сменить] — дав ночи полчаса [4]

*

Гляжу на ясные громады
Пустынных улиц — и светла [5]
Адмиралтейская игла —
И не пуская
На небеса

---

[11] *а.* Спасая город одичалый
б. Спасая страхом одичалый
[12] *а.* *Стих начат:* И в
б. На гибнущий народ
[1] *а.* *Стих начат:* Когда могу
б. Л‹юблю› ‹?› ночей [твоих]
[Когда] *‹нрзб.›*
(Вариант «б» приписан позднее).
[2] Читаю сидя без лампады
Далее отдельные наброски:
а. Или когда в ночную пору
б. И на [твои] гранитные ограды
в. [Едва] [И чуть] И полночь утренней
г. И солнца жду —
д. На [золотые] *‹нрзб.›* небеса
е. И полночь
Целует раннюю зарю
[3] *а.* И полночь бледная ‹?›
б. На небеса
в. в небесах
[4] *а.* Сменить в небесах —
б. Бежать — дав [ночи] мраку полчаса
[5] *а.* И на уснувшие громады
Колон и башен и церквей
б. Гляжу на спящие громады
Дворцов и башен и церквей
в. И на реки ‹?› твоей ‹?›
г. И на пустых ‹?›
д. И на домов ‹?›

ВТОРАЯ ЧЕРНОВАЯ РУКОПИСЬ

(ПД 839, л. 54 об.—46 об.) [1]

ПД 839, л. 54 об.

Мы будем нашего Героя
Звать этим именем — оно
Звучит приятно, с ним давно
Мое перо к тому же дружно
Прозванья ж нам его не нужно —
[Оно забыто и темно]
Хот‹я› в минувши време‹на›
Оно быть может и блистало [2]
И под пером Кар‹амзина›
В родных   прозвучало [3]
[Но ныне светом] и Молвой [4]
Оно забыто — наш Герой
Живет в чулане [5] где-то служит — [6]
Дичится знатных — и не тужит [7]

---

[1] *Ср.: Акад., V, 461—487.*

[2] Хоть может быть оно блистало
В давно минувши времена
И в   прозвучало
В двух трех строках Карамзина

[3] *а.* В родных ‹преданьях› прозвучало
б. Родною славой прозвучало
в. ‹И› русской славой прозвучало

[4] *Вместо этого стиха и следующих сначала было:*
а. Но ныне светом и молвой
Оно   забыто —
          Евгений мой
Живет смир‹ен›но ‹и› сокрыто
б. Но ныне светскою толпой
Оно забыто — наш Герой

[5] Живет под кровлей —

[6] *После этого стиха следует:* Каким‹-то› юнкером ‹?› —

[7] *а.* На знать   и не тужит
б. Боится знатных и не тужит

[Что Дед его Великий <муж> [8]]
[Имел 16 т<ысяч> душ!...]

ПД 839, л. 54

Бежало все и скрылось вдруг
[В широкой   округ —]
Навстречу ей слились каналы [1]
И захлебнулися подвалы
И всплыл Петрополь как <тритон>
По пояс <в воду погружен>

•

И страх и смех — средь улиц челны
Стекло окошек бьют кормой
Помчали бешеные волны
Мосты [2] снесенные грозой;
Как шапки сорванные кровли
Запасы лакомой торговли
Обломки хижин, рухлядь их,
Колеса дрожек городских,[3]
Гроба с размытого кладбища,[4]
Плывут по городу —
                    Народ —
Зрит божий гнев и казни <ждет>

                    В град пустой
Вступили волны <*нрзб.*> домы
Слились [исчезшие] капалы [5]

---

[8] *В автографе описка:* Великий душ
[1] *Наброски перед тремя последними стихами:*
а. [Дома] Вода   в ограды
б. В ограды хлынули каналы
в. Навстречу ей   из труб
г. Бежало все — исчезло вдруг
д. Вода   вокруг
е. Слились исчезли в ней каналы <?>
[2] *Стих начат:* Гроз<ой>
[3] *Стих вписан.*
[4] Гроба с Смоленского кладбища
[5] *Наброски к этим трем стихам:*
а. Нева вошла — [В] Во град пустой
б. В пустынный город
в. Ворвались волны — — — домы
г. Подвалы

ПД 839, л. 53 об.

[Не знает он]
О том, что в тереме забытом
[В пыли гниют его права] [1]

*

Вас спесь боярская не гложет
И век вас верно просветил
Кто б ни был etc [2]

*

От этой слабости безвредной
Булг.‹арин› отучить ‹?› не мог — [3]
Меня — (хоть был он очень ‹строг›)

*

На [самой] площади Петровой [4]
Где [дом] близь церкви вечно новой [5]
[Где] на крыльце [его] крутом [6]
[Стоят] два льва сторожевые
[С] подъятой лапой как живые
На звере мраморном верьхом — [7]
Без шляпы, рук‹и› сжав крестом [8]

---

[1] *Наброски к этим трем стихам:*
а. что его права
б. Гниют в углу [забытом] [в забвении]
в. Не знает он в каком Архиве
г. Что где-нибудь его права
д. В пыли гниют его права

[2] *См. «Еверский», строфа VI:*
Кто б ни был ‹ваш родоначальник
Мстислав Удалый, иль Ермак,
Или Митюшка целовальник,
Вам все равно›
и т. д.

[3] *а.* Булг.‹арин› ‹*нрзб.*› мне не мог
б. ** меня не мог

[4] *а.* Стоит на самом на конце
б. [У дома] На [самой] площади у дома
в. В то время

[5] Где храм ‹*нрзб.*› вечно новый

[6] *а.* Где дом стоит
б. Где на возвышенном крыльце

[7] *а.* На шее мраморного льва
б. Верьхом на мраморном хребте ‹?›

[8] *а.* На грудь крестом
б. Без шляпы, с лицом

Сидел недвижим, страшно бледный — [9]
Евгений — Он страшился бедный — [10]
Не о себе — [11] Он не слыхал —
Как подымался жадный [12] вал [13]

ПД 839, л. 53

Ему подошвы омывая —
Как дождь ему в лицо плескал
Как ветер (как шалун играя) [1]
С него и шляпу вдруг сорвал — — —
Его испуганные взоры [2]
На край один наведены [3]
Недвижно были — словно горы [4]
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились [5]
Там буря выла. Там носились
Обломки... [6] Боже, боже!... там
Увы у самого залива! [7]

---

[9] *а. Стих начат:* Взирая ро‹бко› ‹?›
б. Сидел испуганный и бледный
[10] *а.* Сидел Евгений
б. Евгений мой
в. мой Евгений бедный
г. Евгений — Он терзался бедный
[11] Не за себя
[12] *а.* гроз‹ный› *б.* бурный
[13] *Далее зачеркнуто: а.* И как *б.* Уже потопляя *в.* Его *г.* и буйство ‹?›
[1] Как ветер, грозно завывая
[2] *Стих начат: а.* Его Параша ‹?› *б.* Его глаза
[3] *а. Стих начат:* Недвижно были
б. На край один устремлены
[4] будто горы
[5] *а. Стих начат:* Там волны
б. Наброски к концу стиха:
[Одной др‹угую›]
[Ныряя] [ломая] [ныряя]
[6] *Наброски к двум последним стихам:*
[Как ‹?›] [обломки]
[Там бревны] [Там]
[7] *а.* О боже, там
б. Где над колодцем разрослись
в. [Увы!] В саду близехонько к волнам
г. Живет Параша
д. У самого залива
е. Недалеко
ж. В домишке [дряхлом] бедном у залива! ...

Худой [забор] два клена ива [8]
И ветхий домик. Там оне

ПД 839, л. 52 об.

Вдова и дочь — его [Параша] [1]
Его мечта [2] — или во сне
Он видит гибель... иль и наша
Вся жизнь ничто — как [сон] пустой [3]
Насмешка неба над землей — [4]
—— —— —— —— ——

И он как будто околдован [5]
Как будто силой злой прикован
Недвижно к месту одному —
И нет возможности ему
Перенестись. Гроза бушует — [6]
Мостов уж нет — исче<з> народ
Нева кругом бунтует [7]
Пред ним — средь пены <Невских> <?> вод —

ПД 839, л. 52

Над потопленною скалою — [1]
Сидит на бронзовом коне [2]

---

[8] *а.* Живут оне <?> вдова и дочь
б. Где над забором да ива
в. Забор [<*нрзб.*>] досчатый — ива — — —
[1] *а.* его Параша
б. его невеста
[2] Его любовь
[3] Вся жизнь ничто — как [глупый] [тяжкой] [глупый] сон
[4] *После этого стиха помета:* 30 окт. *и заключительный росчерк.*
[5] И он сидит как околдован
[6] Перенестись через пучину —
[7] *Наброски к двум последним стихам:*
а. Нева на площади! мосты
Валы <?> несут <?> — крутя верх <?>
б. Валы <?> несут <?> суда верх <?>
в. Одно Народ
г. Нет лодки!...
[1] *Стих начат:* На высоте
[2] *а.* Верьхом на бронзовом коне
б. Кумир на бронзовом коне

Неве мятежной — в тишине [3]
Грозя недвижною рукою [4]

*

Сойти не может — Вкруг его
Вода и больше ничего...
И обращен к нему [спиною] [5]
В неколебимой [вышине] [6]
Стоит [с простертою рукою]
Кумир на бронзовом коне [7]

ПД 839, л. 51 об.

И долго с влажными ‹?› горами [1]
Борол‹ся› [опытный] гребец [2]
И скрыться вглубь ‹?› под их рядами
[И переплыли] наконец —

*

И [часто] [3] с дерзкими пловцами

*

[И поминутно] под волнами [4]
Сокрыться с дерзк‹ими› пло‹вцами›
Готов был челн — и наконец

---

[3] *а.* Кумир с простертою руко‹ю›
б. Кумир в ужасной тишине
в. Стоит в ужасной тишине
г. Стоит   в грозной тишине
д. Стих начат: Волне
[4] *а.* Грозит прост‹ертою› рукою
б. И неподвижно‹ю› руко‹ю›
в. Стих начат: И над
[5] И перед ним   спиною
[6] *а. Стих начат:* Кумир
б. В неколебимой тишине
Далее идут наброски следующих стихов:
а. [Над] Полузатоп‹ленной› ‹?›
б. Над бурною по ‹?›
в. Над [‹*нрзб.*›]
г. Полу‹за›топ‹ленной› ‹?› скалою
[7] Кумир на бронзовом коне
С простертою   рукою
[1] *а.* И вот он
б. И наконец
в. И долго ‹с› бурными волнами
[2] *а.* Они боролись
б. Боролись путник и гребец
[3] *а.* И часто *б.* И скрыться
[4] Всечасно   под волнами

Достиг он берега — Евгений [5]
[Знакомой] бежит [6]
— ужасный вид...

*

Все пе‹ред› ним — — —
Здесь труп утопл‹енный› лежит
Скривились домики, другие [7]
Во‹лнами› сдвинулись — иные [8]
[Совсем разрушены] [волной] — [9]

План второй части поэмы

Пустое место
На другой день все в пор‹ядке›
Сумасшедший
Холодный ветер до‹ждь› ‹?›
Конь ‹?›
Петр‹овский› ‹?› па‹мятник› ‹?›
Остров

*

[Исчезли] Сорваны заборы
Завалены заб‹оры›
В места [в на ‹...›]
В грозе — — —
[Кругом] глядит —
Узнать не может [вид ужасный]!
[Всё] завалено —
Всё в груды снесено
[Дворы] заборы снесены
[Иные смяты] снесены
Что сброшено, что снесено
Судьба с неведомым известьем [10]
Как с запечатанным письмом

*

Тела валяются — Евгений —
Спешит — не помня ‹?›[11] ничего
Туда — — где ждет его

---

[5] Достигнул берега — Выходит
[6] *а.* Бежит ‹знако›мой стороной ‹?›
б. Дорогой ‹?› бежит
[7] Скривились хижины, другие
[8] Совсем разрушены — иные
[9] [‹*Нрзб.*›] снесло заборы
[10] Судьба с неведомою вестью
[11] *а.* не видит *б.* не видя

Судьба
Бежит — — предме<стьем>
И вот залив... и близко дом

ПД 839, л. 51

Что ж это —[1]
                    Он остановился
Глядит — идет — глядит опять —
Опять идет — и воротился
Глядит опять —
            их дома не видать —
Вот ива... где же дом —

*

И вот бежит уж он предм<естьем>

*

Глядит идет [опять] — еще глядит —
Вот место где их дом стоит —
Вот ива — Были тут вороты[2]
Оне с забором снесе<ны>
Все точно так — Но где же дом —
И с видом бешеной <?> заботы[3]
        ходит он кругом
[И рассуждает][4] сам с собою!...
И [громко] вдруг ударясь в лоб рукою
Захохотал.....

*

                        Ночная мгла
На город бедственный сошла[5]
[Утихла буря]
И долго жители не спали
И меж собою тол<ковали> <?>

---

[1] Что ж это — смотрит он
[2] *а.* Вот ива   забора
б. Вот ива   с забором
[3] *а.* И полн мучительной заботы
б. И с видом горестной заботы
[4] *Стих начат:* И громко
[5] *а.* На город   сошла
б. На град встревоженный сошла
в. На град притихнувший <?> сошла

О дне минувшем[6]
[В тьме ночной]
[Гроза утихла. Луч дневной]

*

Проснувшись — — столица
Уж следов

*

И уж блестя ‹?› над их ‹*нрзб.*›
Простерла ‹?› пурпуром денница[7]

*

Утра луч
Из-за [тяжелых] усталых ‹?›, [бледных] туч
Блеснул над мирною ‹?› столицей
И не нашел уже следов
[Грозы] вчерашней — Багряницей[8]

ПД 839, л. 50 об.

Уже прикрыто было Зло[1]
В порядок прежний всё вошло,
По улицам [уже] свободным
С своим спок‹ойствием› холодным
Оставя свой ночной приют
Ходил народ — Чиновный люд
На службу шел — купец отважный[2]
[Оставя тихий ‹?› свой приют]
открывал
Невой ограбленный подвал
[Спеша] Сбираясь свой убыток важный

---

[6] *а.* И боязливо рассуждали
б. И меж собою рассуждали
в. И в страхе меж собой
В беседе
г. И боязливо ‹?› меж собой
О дне минувшем рассуждали
[7] *Далее в автографе разделительная черта.*
[8] [Минувший] Вчерашней ‹бури?› — Багряницей
[1] *а.* Покрыт был город
б. Уж город был покрыт
в. Уже прикрыто всюду Зло
[2] *а.* На службу шел. Торгаш сердитый
Оставя тесный ‹?› свой приют
Подвал
б. На службу шел. Купец отважный
Подвал свой осмотрев
в. С водой унесло ‹?›

На ближнем выместить. — С дворов
Свозили лодки. — И Хво<стов>[3]
Певец хранимый Небесами[4]
Воспел бессмертными стихами[5]
Несчастье Невских берегов[6]

ПД 839, л. 50

Но бедный, бедный мой Евг<ений>
Увы его смятенный ум[1]
Против ужасных потрясений
Не устоял — мятежный шум
Невы и бури — отзывался
В его ушах —[2]
И звон <?> и вопль <?>
Скитался <?>
— Полон стр<ашных> дум
Домой уж он не возвращался
Его [печальный] уголок[3]
Отдал в наймы (как вышел срок)
Хозяин бедному поэту!
[И долго ждал чтоб он]
Евгений за добром своим[4]
Не приходил — Один по свету
[Ходил бродягою пешком]
А спал — на пристани.[5] Питался
[В окошко] брошенным куском[6]
Уж <он> почти не раздевался
[И платье] ветхое[7] на нем

---

[3] Свозили лодки. И Гра<фов ?>
На лире пел
[4] Певец покрытый сединами
[5] Уж [пел] спел бессмертными стихами
[6] *а.* Невы
б. Столицы
в. Потоп Невских берегов
г. [Бед<у>] Печаль <?>
[1] *а.* Увы его Ум
Поколебался
б. Увы его [смущенный <?>] сраженный <?> Ум
[2] В его душе
[3] *Наброски к следующим стихам:*
а. Хозяин *б.* в наймы *в.* хозяй<ка?> *г.* Поэту отдал *д.* Хозяин отдал
[4] Евгений за своим добром
[5] *а.* А спал — на пристанях
б. А спал — на пристани гранитной
Или под мостом —
[6] Собаке брошенным куском
[7] Лохмотья ветх<ие>

Рвалось и тлело[8] [злые дети][9]
Его бивали — он сносил[10]
Нередко кучерские ‹плети› ‹?›[11]
[Его] стегали — потому
Что все казалось [путь ему][12]
И двор и улица — убогой — — —[13]
И так он жил...[14]

ПД 839, л. 49 об.

Но он —
Не замечал — Так оглушен
[Он был]   внутренной тревогой[1]

*

И так он свой печальный ‹?› век —
Влачил не зверь, не человек
Ни то ни се, ни житель мира[2]
Ни призрак мертвый —

*

                Ночью раз
Он спал на пристани[3] — Дни лета
Клонились к осени — дышал
Ненастный ветер — Невской вал[4]
Рвался на пристань ропща пени
                о ступени[5]

---

[8] *а.* Рвались и гнили *б.* Висели
[9] Дети злые
[10] *а.* Над ним ‹смеялись?› ребятишки
б. Над ним смеялись кучера
в. Ни с кем
[11] *В автографе:* кучерские руки (*описка?*)
[12] Что было   путь ему —
[13] Людей стал чужд — — — —
[14] Так он и жил...
[1] Ничем он не был отвлечен
Того не ведал —
[2] Ни мертвый, ни живой —
Ни мира житель
[3] *а.* Проснулся он
б. Он спал под ‹?›
[4] *а.* Сердито бился Невской ‹вал›
б. Ненастный ветер. Синий ‹?› вал
[5] *а.* Плескал в гранитные ступени
б. Толкался о   ступени
в. Приподымался ‹на ступени›
г. Со стоном —
д. И подним‹ался›
е. И рвался в пристань

Как челобитчик у дверей[6]
[Своих] Ему невнемлющих судей

ПД 839, л. 49

Бедняк проснулся — мрачно было
Взамен[1] уга‹снувшей› зари
Светили тускло фон‹ари›
Дождь ка‹пал›, ветер в‹ыл› уныло —[2]
И с ветром в т‹емноте› н‹очно›й
Перекли‹кался› час‹ово›й.

*

Вскочил Евг‹ений›... вспомнил живо
Ми‹нувший› ‹?› Ужас —[3] торопливо
Он встал; пошел [бродить] — и вдруг
В испуге[4] стал водить очами[5]
Он очу‹тился› меж стол‹бами›
Где н‹а возвышенном крыльце›
‹С подъятой лапой, как живые,›
‹Стояли львы сторожевые›
И в   тем‹ной› вы‹шине›
Кумир на брон‹зовом› коне
Стоит с простертою ‹рукою›[6]
—— —— —— —— ——
Евг‹ений› вздрогнул прояснились
В нем стра‹шно› ‹?› мысли[7] — Он узнал
И место где потоп играл[8]
Где во‹лны› хи‹щные› ‹?› носи‹лись›
                                        Вокруг него
И львов и площадь и Того
[Кто в грозной] Кто неподви‹жно› возвы‹шался›

---

[6] *а.* Как бьется о порог суда
б. Об двери бьется
в. Как челобитчик [в дверь судьи] о порог.

[1] *Стих начат:* Среди

[2] *Последние стихи, заимствованные из текста «Езерского», написаны сокращенно (см. настоящее издание, с. 86, 93—95).*

[3] *Стих начат: а.* Он *б.* Ужасный ‹день ?›

[4] *Стих начат:* Трев‹ожно› ‹?›

[5] *а.* Он очутился, стал глядеть
б. Остановился и вокруг —

[6] *Последние семь стихов, повторяющие стихи 222—224 и 255—259 поэмы, написаны сокращенно.*

[7] В нем как-то

[8] *а. Стих начат:* Того
б. И место где валы носились ‹?›

Во мгле ‹?› кто медною главой
Того [кто] [чья воля] [по воле] чьей ‹?› волей ‹?›,
роковой
При ‹?› ‹море› город основался[9]

*

Он стиснул зубы

*

Кругом безумец[10] обошел
Скалу подножие[11] кумира
И взор без ‹*нрзб.*› навел[12]
На лик Владыки полу-мира[13]

ПД 839, л. 48 об.

[Остановис‹я› рьяный ‹?› конь]
[какой с тобою ‹?›]
[Какой в коне ‹?› огонь]
[Какой в нем холод ‹?›]
не знает он
[И сам куда]
Куда [опустит он] копыта
Не знает ‹*нрзб.*› грозный ‹?› конь ‹?›
Куда опустит он копыта ‹?›

*

Не так ‹?› ли ‹?› ты уздой же‹лезной›
[над бездной — —]
Куда [ты мчишься ‹?›] медный ‹конь›
[Куда] И где ‹?› опустишь ты копыта ‹?›

*

Какая мысль на сем челе —

*

[А ты] Муж судьбы
Какой [ужасный] [недв‹ижный›] грозный хлад
[На сем челе. . .]
Какая мысль — сокрыта
Как хладен ‹*нрзб.*› взгляд —
Какой —
А в сем ‹коне› какой огонь

---

9 *а.* Основан город. . .
б. Над морем город основался
10 [Он] Безумец бедный
11 Петра подножие
12 [И дикий] И взоры навел
13 *Стих начат:* На образ

*

[Ужасен вид <?> его во мгле —]
Какая сила на челе
Какая дума в н<ем> сокрыта
А [в] сем коне какой огонь
[Ужасен на своей скале]

ПД 839, л. 48

[Стеснилась грудь его; дрожа] [1]
[Он стиснул зубы —]
Он стиснул <зубы> [как туманом]
[Покрыло]

*

Глаза <?> подернуло — и слезы

*

Глаза подернулись — и стал
Евгений <?>
[Он] [перед] [Цар<ским> <?>] Истуканом

*

[Стал на колени] —

*

[И *<нрзб.>* бранить <?>]
[И стал бранить его]
[И перст]

*

[И погрозив ему — — шепнул]
Добро, строитель Петрограда!..[2]
[Уже тебя —] [*<нрзб.>*]
И испугав<шись> <?> [вдруг <?>] стремглав
[Бежать пустился — —]

*

[Он слышит звонкое ска<канье> <?>]
[Тяжело медного коня —] [3]

---

[1] *Начато исправление:* Стеснилась грудь его; слеза
[2] *а. Как в тексте.*
б. Добро, строитель чудотворный!
[3] Тяжелого коня

*

И омраченный [Силой] мыслью черной
Шепнул он [з‹лобно› ‹?›] [4] задрожав
Добро! Стр‹оитель› ч‹удотворный› [5]
Уже тебя — и [тут] стремг‹лав›
Бежать пустился — [Показалось]
[Ему что грозн‹ого› ‹царя›]
[Ли‹цо›] [Что-то омрачалось ‹?›]
[Ему что Гроз‹ного›] [с гневом ‹?›]
[Ли‹цо›] искажалось
Внезапным

ПД 839, л. 47 об.

Стеснилась грудь его — чело
К решетке хладной прилегло —
Глаза подернулись туманом
[И] [Он] [пред] [Перед] [Священн‹ым› ‹?›] [Истуканом]
[Он] [Холод ‹?›] пламень [пробежал]
[Он] Евг‹ений› ‹?› в бешенстве упал —
[И обуян‹ный› ‹?› [силой] [черной] [1]
[Добро] [Добро ст‹роитель› ч‹удотворный›]
[Уже]

*

[Грозить — стал]

*

[Он отошел — и прямо] стал
Перед суров‹ым› ‹?› ист‹уканом› ‹?›

*

[По] пламень обуял [2]

*

Шепнул он руку сжав —
Д‹обро› ‹?›
И ‹?› — показалось
Ему что [бронзову главу] [3]

---

[4] [Шепнул он гневно]
[5] *Последние два стиха сначала шли в обратном порядке.*
[1] И омрач‹енный› мысль‹ю› черной
[2] *Описка, вместо* пробежал ‹?›
[3] *а. Вероятно, тоже описка, вместо* бронзовой главой ‹?›
б. Ему что грозного Петра

[На голос] [тихо] [обращалось][4]
Мгнов<енно> гневом <?> возгоря[5]
Лицо во мраке обращалось[6]

*

По сердцу <?> пламень пробежал[7]
Вскипела кровь —[8] он мрачен <?> <стал>

*

И зубы стиснув — пальцы сжав
К<ак> <?> омр<аченный>[9] сил<ой> <?> черной
Шепнул <он> — гневно задрожав
Добро ж тебе
И вдр<уг> стрем<глав>
Бежать пустился

*

[И он][10] по площади пустой
[Бежать]
[Бежит безумно]
Бежит — и слышит за <собой>
[Погоню] [Мерное скаканье]
Коня скаканье
И [мерный скок <?> коня]

ПД 839, л. 47

[Как пушек <?> звонкое <?>] скаканье
Далеко зв<онкое> <?> скаканье
По потрясенной мостовой

*

И видит — в темноте ночной
Весь озарен луно<ю> бледной[1]
Всадник Медный
На [бронзовом] коне

---

4 *Далее зачеркнуто:* Туда, где сме<лый> <?>
5 Мгнов<енной> жизнью возгоря
6 *Последние два стиха первоначально шли в обратном порядке.*
7 Невольно <?> пламень пробежал
8 Зажглася <?> кровь —
9 *а.* Весь <?> *б.* К<ак> <?> обуян<ный>
10 Во тьме
1 *Стих начат:* Луною бледной

*

За ним <?> скачет <?> Всадник Медный
На тяжко скачущем коне

*

Звуча в окрестной тишине

*

Простерши руку в вышине

*

И <во> всю н<очь> [безумец] бедный
[Куда от] не бежал
За <ним> повсюду — Всадник Медный
Со звоном издали скакал [2]

*

И с той поры когда случалось
Идти [3] той площад<ью> ему [4]
В его глазах [5] изобр<ажалось>
Смятенье — к сердцу своему [6]
Как бы унять стараясь муку [7]
Он прижимал в боязни руку [8]
Измазанный сымал картуз [9]
И шел сторонкой — [10]

---

[2] За ним по улице скакал
[3] *Стих начат:* *а.* Ему по площ<ади> *б.* Ему идти по
[4] *а.* Он шел
б. Когда ему идти случалось
в. Он шел по площади Петра
г. Снимая —
д. сторонясь
е. Он мимо
ж. Ему тем местом проходить...
з. Ему ту площа<дь> проходить
и. Где возвышалось
[5] В его лице
[6] *Стих начат:* Смятенье странное
[7] Как чтоб унять муку
[8] руки
[9] Сымал истертый свой картуз
[10] И шел сторонкой — был он трус <?>
[все *<нрзб.>* [как <?> бы <?> трус <?>]

ПД 839, л. 46 об.

Остров малый
Стоит на взморье — одичалый,
Пустой и грустный — иногда —
Причалит с лодочкой туда
[Рыбак] на ловле ‹?› запоздалый
[И бедный ужин свой варит]
Или мечтатель в воскресенье
[Пустое место посетит]
Гуляя в ‹лодке›
Наводненье
Туда, играя, занесло
Убогой дом

ПД 839, л. 46

Не росло
Там ни былинки! — Наводненье ‹?›
Туда [под] играя ‹?› ‹занесло›
Домишко ветхой ‹?› [рыболовы]
Его увидели весной ‹?›
И осмотрели

*

Его увидели веспою ‹?›
И посетили. Был он пуст
И весь развален — у порога
[Лежал] [Евгений] [умерший мой] [Герой]
[И тут же в] [‹*нрзб.*›]
Похоронили ради ‹бога›

Черновой набросок к стихам 275—278

ПД 963

и к Неве
В надежде ‹?› ужасе ‹тоске› ‹?›
Спешит Евге‹ний› —

ПЕРВАЯ БЕЛОВАЯ РУКОПИСЬ — БОЛДИНСКИЙ АВТОГРАФ (БА) *

(ПД 964, л. 1—10, 42—51)

Заглавие на обложке:

Медный Всадник

1833

Заглавие на титульном листе:

Медный Всадник

(Петербургская повесть)

Предисловие отсутствует.

ВСТУПЛЕНИЕ

2 Стоял Он дум великих полн
10 В [туманы] туманах спрятанного солнца
11 Кругом шумел 1) [1]
И думал Он:
16 В Европу прорубить окно 2) [2]
19 Всемирны флаги придут к нам ○
37 а. *Стих начат*: Блестя, по‹крылись› ‹?›
б. Великолепными садами ○
38 Блестя покрылись острова ○
39 И перед юною столицей ○
40 Главой [поникнула] склонилася Москва
47 Твоих оград чугунный; [3] ○
48 *Стих начат*: И зелен‹ь› ‹?› ○
52 Гляжу на ясные громады ○

---

* Знаком ○ отмечены стихи, исправленные здесь же, в БА, как в окончательном (печатном) тексте (окончательный вариант не приводится).

[1] «1)» — *знак сноски рукою Пушкина.*

[2] «2)» — *знак сноски рукою Пушкина.*

[3] *Описка.*

59–66 *Стихи отсутствуют.*[4]
72–73 *Стихи в обратном порядке.*
74 Давно простреленных в бою
После 74 [Цветные дротики уланов
Звук труб и грохот барабанов
Люблю на улицах твоих
Встречать поутру взводы их][5]
Вместо 81–83 *а.* Или крестит, средь Невских вод,
Меньшого брата русский флот
Или Нева весну пирует
И к морю мчит разбитый лед.
б. Или взломав свой синий лед[6]
Нева морям его несет
И чуя вешни дни, ликует —
в. Как в тексте.
84 Красуйся, град Петров! и стой
85 Неколебимо — как Россия
90–91 *а.* И колебать уже не будут
Гранит подножия Петра!
б. И тщетной злобою не будут
Тревожить тесный сон Петра!
в. Как в тексте.
93–96 *а.* Но пусть об ней воспоминанье
Живет в моем повествованье
б. Об ней начну повествованье
И будет пусть [она] оно для вас
Друзья, вечерний лишь рассказ
А не зловещее преданье

После текста 29 окт‹ября›

‹ЧАСТЬ ПЕРВАЯ›[7]

97 Над омраченном Петроградом 4)[8]
105 И ветер выл печально воя[9]
111 Перо мое к тому же дружно
112 Прозванья ж нам его не нужно
116 В родных преданиях звучало
119 Живет в чулане. Где-то служит
126 В волненьи чувств и размышлений
136 *а.* Что, может быть, через два года

[4] *После стиха 58 в рукописи поставлен крестик.*
[5] *Стихи перечеркнуты двумя вертикальными линиями.*
[6] *Стих 81 был начат:* Или Нева разб‹итый лед›
[7] *Заголовок Первой части отсутствует.*
[8] «4)» *— знак сноски рукою Пушкина.*
[9] *Описка.*

3

Вступленіе

На берегу пустынныхъ волнъ
Стоялъ онъ думъ великихъ полнъ
И вдаль глядѣлъ. Предъ нимъ широко
Рѣка неслася; бѣдный челнъ
По ней стремился одиноко. —
По мшистымъ, топкимъ берегамъ
Чернѣли избы здѣсь и тамъ
Пріютъ убогаго чухонца;
И лѣсъ, невѣдомый лучамъ
Въ туманѣ спрятаннаго солнца
Кругомъ шумѣлъ.

И думалъ онъ:

Отсель грозить мы будемъ Шведу
Здѣсь будетъ городъ заложенъ
На зло надменному Сосѣду.

Начало первой беловой рукописи поэмы «Медный Всадник» — Болдинского автографа (рукопись ПД 964).

б. Что вряд еще через два года
Вместо 137–158 Он чин получит; что река
Всё [прибывает] прибывала, что погода
Не [унялась и] унималась, что едва ль
Мостов не съимут — что конечно
Параше будет очень жаль...
Тут он разнежился сердечно,
И размечтался как поэт:
«А почему ж? за чем же нет?
[Я небогат, в том нет сомненья
И у Параши нет именья
Ну что ж? какое дело нам
Ужели только богачам] [10]
Жениться можно? я устрою
Себе смиренный уголок
‹И в нем Парашу успокою› [11]
Кровать, два стула, щей горшок
Да сам большой; чего мне боле
Не будем прихотей мы знать
По воскресеньям летом в поле
С Парашей буду я гулять
Местечко выпрошу; Параше
Препоручу хозяйство наше
И воспитание ребят...
И будем жить — и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба
И внуки нас похоронят...»

159 Так он мечтал. Но грустно было
166 И бледный свет уж настает
174 И мылом разъяренных вод —
175–176 Но бурным морем от залива
Уже гонимая Нева
179–180 Она бродила и кипела
И пуще пуще свирепела
Вместо 183–187 *а.* Всей тяжкой силою своею
Пошла на приступ — перед нею
Народ бежал и скрылся вдруг
Весь город заняла вокруг
С Невой слились ее каналы
И захлебнулися подвалы —
б. Со всею силою своею
[Пошла на приступ] — перед нею

---

[10] *Последние четыре стиха перечеркнуты косой линией.*
[11] *Пропущено (по ошибке?).*

Все побежало; воды вдруг
[По граду] Фонтаном хлынули вокруг
И захлебнулися подвалы
В Нев‹е› исчезли все каналы
в. Со всею силою своею
[Пошла на приступ] Перед нею
Всё побежало; воды вдруг
Завоевали всё вокруг
Во все вломилися подвалы
В Нев‹е› исчезли все каналы
Вместо 190–197 *а.* И страх и смех! Средь улиц челпы
Стекло окошек бьют кормой
Помчали бешеные волны
Мосты снесенные грозой.
Как шапки сорванные кровли
Запасы лакомой торговли
Обломки хижин, рухлядь их
Колеса дрожек городских
б. [И страх и смех!] Как воры волны
[В око‹шки›] Полезли в окна; с ними челны
[Несутся] С разбега стекла бьют кормой
Мосты снесенные грозой
Обломки хижин, бревна, кровли
Запасы лакомой торговли
Пожитки бедных, рухлядь их
Колеса дрожек городских
199 Плывут по городу.
Народ
210 *Стих начат*: Стояли у‹лицы› ○
216 *Стих начат*: На легких лодках в бур‹. . .› ○
218 Спасать от страха одичалый
219 И дома гибнущий народ ○
После 219 [Со сна идет к окну сенатор
И видит — в лодке по Морской [12]
Плывет военный губернатор
Сенатор обмер: Боже мой!
Сюда, Ванюша! [стой] стань немножко
Гляди: что видишь ты в окошко
—Я вижу-с: в лодке генерал
Плывет в ворота мимо бутки.
— Ей богу? — Точно-с — кроме шутки?
Да так-с. — Сенатор отдохнул [13]

---

[12] **Со сна к окну идет сенатор**
И что ж (*стих не окончен*).
[13] **И мой сенатор отдохнул**

И просит чаю: [14] Слава богу!
Ну! Граф наделал мне тревогу
Я думал: я с ума свихнул] [15]

220 *а.* Но кто на площади Петровой
б. На самой площади Петровой, ○
225 [Кто там сидит недвижный, бледный]
227 Сидел — недвижный, страшный бледный — ○
228 *а. Как в тексте*
б. Начато исправление: Евгений. Он т‹ерзался› ‹?› ○
232–234 Как дождь ему в лицо плескал
Как ветер, грозно завывая ○
С него и шляпу-то сорвал — ○
242–244 *а. Стих начат*: Увы близехонько
б. Почти у самого залива, ○
Увы! близехонько к волнам — ○
Забор, две яблони да ива ○
Вместо 252–259 *а. Стих начат*: Как будто силой злою скован
б. Как будто силой злой прикован
[Недвижно к месту одному —
И нет возможности ему
Перелететь! Гроза [бушует] пирует,
Мостов уж нет — исчез народ
Нева на площади бунтует
Несчастный молча негодует... [16]
И прямо перед ним — из вод [17]
Возникнул медною главою
Кумир на бронзовом коне
Неве [мятежной] безумной — в тишине
Грозя недвижною рукою...]
в. Как будто к мрамору прикован
Сойти не может! вкруг него
Поток — и больше ничего!
И обращен к нему спиною
Кумир на бронзовом коне
Стоит с простертою рукою
Над возмущенною Невою
В неколебимой тишине
г. Как будто к мрамору прикован
Сойти не может! Вкруг него
Вода — и больше ничего!
И обращен к нему спиною

---

[14] И чаю просит
[15] *Стихи перечеркнуты косыми линиями.*
[16] *Стих вписан.*
[17] И перед ним — из вод (*описка?*).

Кумир[18] на бронзовом коне
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
В неколебимой вышине.

‹ЧАСТЬ ВТОРАЯ›[19]

260 *а.* Но вот——— насытясь разрушеньем
б. Но вот ——— насытясь возмущеньем
261 И буйством утомясь[20] ○
263 Своим любуясь разрушеньем
Вместо 267—268 *а.* В село ворвавшись ломит, режет, ○
Спасаясь жители бегут —
Младенцы плачут — вопли, скрежет
б. В село ворвавшись, рубит, режет,
Хватают всё, ломают, жгут
Спасаясь жители бегут —
Всё забирает — вопли, скрежет
в. В село ворвавшись, ломит, режет
И жжет и грабит — вопли, скрежет
273 *а. Как в тексте.*
б. Добычу по пути роняя
278 К чуть усмирившейся реке, ○
280 Еще кипели гневно волны ○
281 [Еще] под ними тлел огонь
286—287 Неоцененную находку! ○
Сюда! он машет, он зовет... ○
288 *а. Как в тексте.*
б. И перевозчик беззаботно
289—290 Чрез волны бурные — охотно
Его за гривенник везет
297 *Стих начат*: Бежи‹т› ○
305 Как бы на поле боевом[21] ○
307—308 Изнемогая от мучений —
[Бежит] Стремглав, не помня ничего
313 *а. Как в тексте.*
б. Уж вот залив — и близко дом
315—316 Глядит — идет — еще глядит ○
Пошел назад и воротился ○
319 Они с забором снесены ○
320 И с видом сумрачной заботы

---

[18] *Позднейшая поправка:* Седок (*см. на с. 78 цензурные переделки, внесенные Пушкиным в ПК*).
[19] *Заголовок Второй части отсутствует.*
[20] *Описка (?).*
[21] *Стих вписан.*

322 *а.* И рассуждает сам с собою —
б. Толкуя громко сам с собою —
329 Из-за усталых, темных туч
332–333 Грозы вчерашней: Багряницей
Уже покрыто было Зло
335 *а.* *Стих начат*: Уже по улицам
б. По улицам, уже свободным
344 Свозили лодки — и Хвостов
345 *а.* Певец любимый небесами
б. Пиит любимый небесами
346 Воспел бессмертными стихами ○
349 *Стих начат*: Увы! его смятенный ш<ум> <?> ○
353 В его ушах — Недвижных дум
После 354 Домой уж он не возвращался [22]
355–357 *Стихи отсутствуют.*
358 Его смиренный уголок ○
359 В наймы отдал как вышел срок
362 Не приходил. Стал чужд он свету —
363 *а.* Весь день — один — бродил пешком
б. Он целый день бродил пешком
Вместо 366 Он никогда не раздевался
И платье (*стих не окончен*) ○
369 И часто кучерские плети
371–374 Что было всё ему дорогой:
И двор и улица — но он
Не замечал [23] — он оглушен
Был чудной, внутренней тревогой...
375 И так он свой ужасный век
381 Ненастный ветер. Шумный вал
382 *а.* *Стих начат*: При <...>
б. О пристань бился, ропща пени —
в. *Стих начат*: Хле<стал>
г. Плескал о пристань, ропща пени —
383 И хлеща на ее ступени ○
388 [И с] И только с ним во тьме ночной ○
391 *а.* Старинный Ужас. Торопливо
б. Он прежний Ужас. Торопливо ○
394 *а.* В испуге — стал бродить очами —
б. Тихонько стал бродить очами —
395 С боязнью дикой на лице [24]
396 Он очутился меж столбами ○
397 *а.* Где на возвышенном крыльце

---

[22] *Стих зачеркнут и восстановлен.*
[23] *В автографе описка:* Не замешал
[24] *Стих вписан.*

б. Пред ним   крыльце
в. И на возвышенном крыльце
398 *а.* *Как в тексте.*
б. Подъявши лапу как живые
399 Стоят два льва сторожевые
402–403 [Стоит] [Стоял] Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне
407 Где волны ярые носились
409 И льва, и площадь и Того
411 *а.* *Как в тексте.*
б. Во мраке гордою главой;
414 *а.* Как грозен он стоит во мгле!
б. Как блещет (*стих не закончен*).
415–416 Какая сила на челе!
Какая дума в нем сокрыта!
417 А в звере сем какой огонь!
418 Куда вскакал ты медный конь,
419 И как опустишь ты копыта?
420–423 О мощный царь, о муж судьбы!
Не так ли ты уздой железной
На высоте, над самой бездной[25]
Россию поднял на дыбы? [5)][26]
427 *а.* На лик Владыки полумира
б. *Как в тексте.*
в. На лик Владыки полумира
432 Вскипела кровь — Он мрачно стал
433 Перед Великим Истуканом —
440 Ему что страшного царя
441–442 *а.* Лицо   гневом возгоря
К нему тихонько обращалось —
б. *Как в тексте.*
в. Как будто гневом возгоря
Лицо <?> тихонько обращалось
К нему — По площади пустой
г. Мгновенно гневом возгоря
К нему тихонько обращалось —
443 *а.* Бедняк по площади пустой
б. *Как в тексте.*
в. [И он] по площади пустой
446 *а.* Тяжело мерное скаканье
б. *Стих начат:* Далеко-гр<омкое>
в. Далеко-звонкое скаканье

---

[25] *а. Стих начат:* На высоте, над
б. На высоте, [но] хоть и над бездпой
в. На высоте, над ярой бездной

[26] «5)» — *знак сноски рукою Пушкина.*

Вместо 448 И видит — в темноте ночной
Весь озарен луною бледной
450 [Вдали] Он зрит <?> несется всадник медный
451 На тяжко скачущем коне
460–461 *а.* Он прижимал в боязни руку
Как бы унять стараясь муку
б. Как бы унять стараясь муку
Он прижимал поспешно руку
462 Колпак изношенный сымал
463 Смущенных глаз не подымал.[27]
Вместо 465 *а.* У взморья виден — одичалый
Пустой и грустный. Иногда
б. У взморья виден. Иногда
466 Причалит лодочку туда ○
468 И поздний ужин свой варит ○
469–471 *а.* Или мечтатель в воскресенье
Гуляя в лодке посетит
Пустое место
б. Или мечт<атель> посетит
Гуляя в лодке в воскресенье
Пустое место. Не [росло] взросло
472 *а.* Там ни былины. Наводненье
б. Там ни кусточка. Наводненье
Вместо 474–475 *а.* Домишко ветхий — Уж весною
Его у<видели> <?>
б. Домишко ветхий — Над водою ○
Чернел ○
Вместо 476–477 *а.* Его увидели весною
И осмотрели. Был он пуст
б. Его пр<ошедшею> весною
Был он пуст
478 И развалился. У порога ○
479 Нашли Героя моего ○

После текста

31 октябр<я>[28]
1833
Болдино
5 ч. — 5[29]

---

[27] *Стих вписан.*
[28] *Переделано из* 1 ноябр<я>.
[29] *Т. е. 5 часов 5 минут (утра?).*

ВТОРАЯ БЕЛОВАЯ РУКОПИСЬ — ЦЕНЗУРНЫЙ АВТОГРАФ (ЦА)

(ПД 966, л. 20—30, 33—43)

Заглавие:

Медный Всадник

Петербургская повесть

1833

Предисловие:

Подробности заимствованы из тогдашних журналов.

ВСТУПЛЕНИЕ

92–96 Была ужасная пора...
Об ней начну повествованье
И будь оно, друзья, для вас
Вечерний, страшный лишь рассказ
А не зловещее преданье...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

105 И ветер выл печально воя[1]
119 Живет в чулане. Где-то служит,
136–159 Что вряд еще через два года
Он чин получит; что река
Все прибывала, что погода
Не унималась; что едва ль
Мостов не сымут, что конечно
Параше будет очень жаль...
Тут он разнежился сердечно
И размечтался как поэт.

---

[1] *Описка, исправленная как в окончательном тексте.*

«Жениться? что ж? зачем же нет?
И в самом деле? я устрою
Себе смиренный уголок
И в нем Парашу успокою.
Кровать, два стула, щей горшок
Да сам большой... чего мне боле?
Не будем прихотей мы знать
По воскресеньям летом в поле
С Парашей буду я гулять;
Местечко выпрошу; Параше
Препоручу хозяйство наше
И воспитание ребят...
И станем жить и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба
И внуки нас похоронят...»
Так он мечтал. Но грустно было

179–187 И затопляла острова,
И пуще пуще свирепела
Приподымалась и ревела
Котлом клокоча и клубясь
И наконец остервенясь
На город кинулась. Пред нею
Всё побежало. Всё вокруг
Вдруг опустело[2] — волны вдруг
Вломились в улицы, в подвалы,
С Невой слились ее каналы,

190–199 Осада! приступ! лезут волны
Как звери, в окна. С ними челны
С разбега стекла бьют кормой
Мосты, снесенные грозой,
Обломки хижин, бревны, кровли
Товар запасливой торговли
Пожитки бедных, рухлядь их,
Колеса дрожек городских,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по городу!
Народ

218 Спасать от страха одичалый
282 Как дождь ему в лицо плескал

---

[2] *Первоначально было:*

Всё побежало и вокруг
Всё опустело —

247 Его мечта... Иль это сон[3]
250 Насмешка Рока над землей?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

260–263 Но вот, насытясь возмущеньем
И наглым буйством утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своим любуясь разрушеньем[4]
281 Еще под ними тлел огонь
289–290 Чрез волны страшные охотно
Его за гривенник везет.
341 Свозили лодки.
И Хвостов
370–374 Его[5] стегали, потому
Что было все ему дорогой
И двор и улица, но он
Не примечал. Он оглушен
Был чудной, внутренней тревогой
394 Тихонько стал водить[6] очами
462 Калпак изношенный сымал
464 И шел сторонкой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Остров малый
469 Или мечтатель посетит

После стиха 481 на отдельном листе заголовок:

ПРИМЕЧАНИЯ

Примечания: *Отсутствует вставка к примечанию 3-му.*

---

[3] *Описка, исправленная как в тексте; слово* Иль *ошибочно оставлено неисправленным:* Его мечта ... Иль во сне.
[4] *Слова* возмущеньем *и* разрушеньем *переставлены одно на место другого.*
[5] *Переправлено из* Ему (*описка?*).
[6] *Переправлено из* бродить (*описка?*).

ПИСАРСКАЯ КОПИЯ (ПК)

(ПД 967, л. 10—16, 47—53, 31—32)

1. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И СМЫСЛОВЫЕ ПОПРАВКИ ПУШКИНА В ТЕКСТЕ ПК, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ЦА[1]

Предисловие, строка 3:
Подробности *наводнения* заимствованы

93–96 *Об ней свежо воспоминанье....*
Об ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.[2]
119 Живет в *Коломне*; где-то служит
136–142 Что *служит он всего* два года
Он также думал, что погода
Не унималась; что *река*
Все прибывала, что едва ли
С Невы мостов уже не сняли
И что с Парашей будет он
Дни на два, на три разлучен.

143–158 Стихи перечеркнуты тремя чертами Пушкиным без замены.

159 Так он мечтал. *И* грустно было
179–180 *Погода* пуще свирепела
Нева вздувалась и ревела
182 И *вдруг, как зверь* остервенясь,
185–187 Вдруг опустело — *воды* вдруг
Втекли в подземные подвалы
К решеткам хлынули[3] каналы,

---

[1] Поправки, внесенные Пушкиным в ПК, выделены курсивом.

[2] Стихи 93—96 внесены в ПК рукою переписчика с автографа Пушкина, не дошедшего до нас (ср. текст ЦА).

[3] *В решетки*

190–191 Осада! приступ! *злые* волны,
Как *воры, лезут в окна*. Челны[4]
193 *Лодки под мокрой пеленой*[5]
195 *Товар* запасливой торговли[6]
196 Пожитки *бледной нищеты*[7]
197 *Грозой снесенные мосты*[8]
198 Плывут по *улицам*!
218 Спасать *и страхом обуялый*
282 Как дождь ему в лицо *хлестал*
284 *Как бы* под ними тлел огонь,
289–290 *Его за гривенник* охотно
Чрез волны страшные везет
344 Свозили лодки.
Граф Хвостов
371–374 *а.* Что *никогда уж он дороги*
Не разбирал; *казалось* — он
Не примечал. Он оглушен
Был *шумом* внутренней *тревоги.*
б. Что *он не разбирал* дороги
Уж никогда; *казалось* — он
Не примечал. Он оглушен
Был *шумом* внутренней *тревоги.*
462 *Картуз* изношенный сымал,

464 Заголовок «Заключение» вычеркнут

469 Или *чиновник* посетит

Примечания:

3). Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший Петербургскому наводнению, *в одном из лучших своих стихотворений Oleszkiewicz.*** Жаль только ‹...›

---

[4] *Как воры, в окна лезут.* Челны
[5] *Мосты несутся над Невой*
[6] *а.* Лодки запасливой торговли
б. ‹*Нрзб.*› запасливой торговли
в. Корзины лакомой торговли
[7] Пожитки *Нищеты скупой*
[8] Колеса дрожек городских

Правка Пушкина во вставке, предназначавшейся вместо зачеркнутых в ПК стихов

(стихи 143—155 окончательного текста)

(ПД 968, бывш. ЛБ, без №) [1]

145 Жениться? *Ну*... зачем же нет?
147 Но что ж *он* молод и здоров
149 Он кое-как себе *устроит*

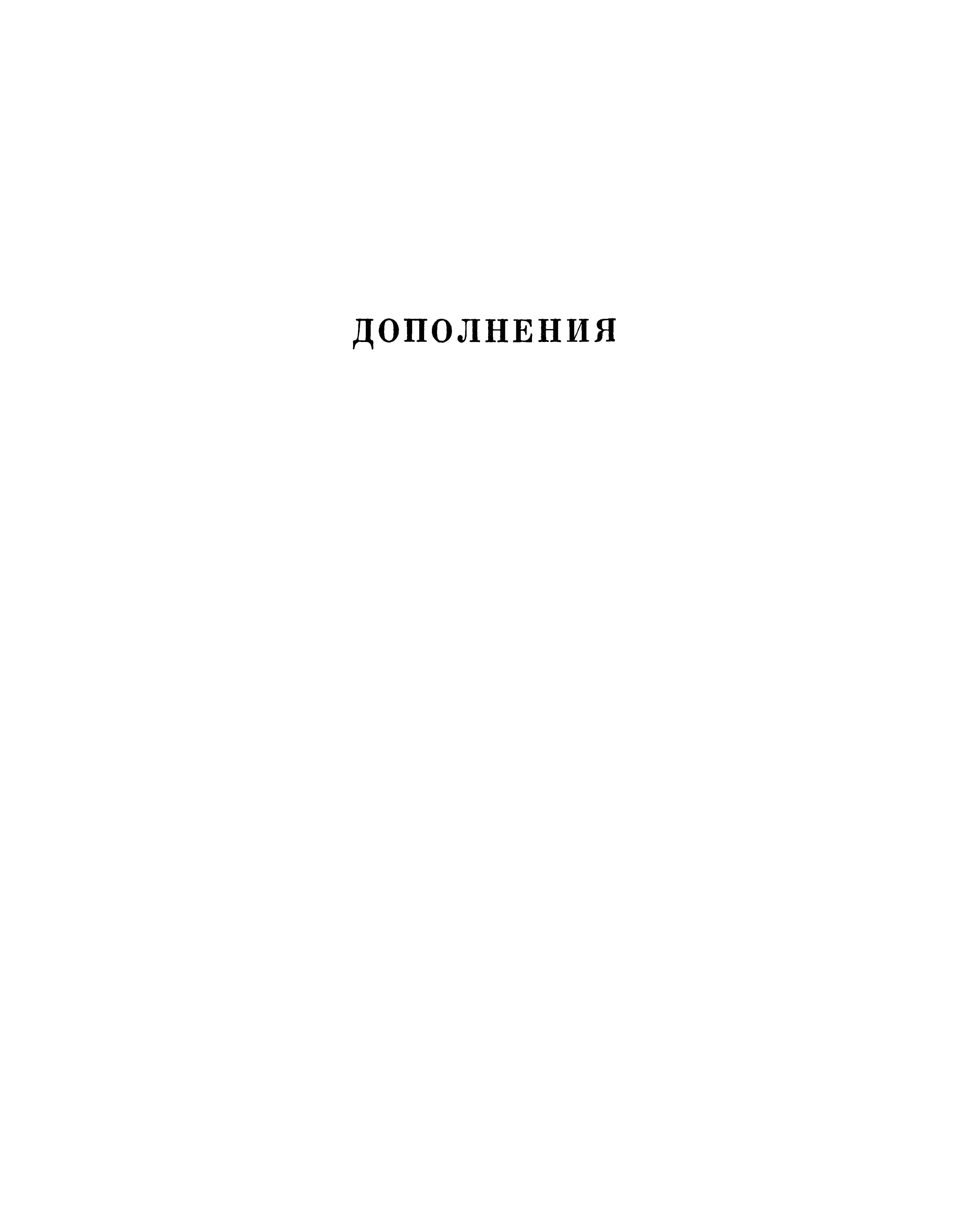
2. ЦЕНЗУРНЫЕ ПЕРЕДЕЛКИ ПУШКИНА В ПК [2]

40 *Главой склонилася* Москва
259 *Седок* на бронзовом коне
402 *Седок* с простертою рукою
420–422 О, мощный *баловень* судьбы!
Не так ли ты *скакал* над бездной
И осадив уздой железной
424–428 Кругом *скалы, с тоскою дикой*
Безумец бедный обошел
И *надпись яркую прочел*
И сердце скорбию великой
Стеснилось в нем. Его чело
Вместо 480–484 Глаза подернулись туманом...
И дрогнул он — и мрачен стал
П<е>ред недвижным Великаном
И *перст с угрозою подняв*
Вместо 435–438 *а*. Как обуянный силой черной
Шепнул он злобно задрожав
«Добро, строитель чудотворный!»
«Уже тебе!...» *Но* вдруг стремглав
б. *Шепнул, волнуем мыслью* черной,
«Добро, строитель чудотворный!»
«Уже тебе!..» *Но* вдруг стремглав

---

[1] См.: *Акад.*, V, 521.

[2] Переделки выделены курсивом.



ДОПОЛНЕНИЯ

I. ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА ПОЭМЫ[1]

РУКОПИСНЫЕ

1. Первая черновая рукопись (автограф) — ПД 845 (бывш. ЛБ 2374), л. 7 об.—14 об., 15, 16 об., 17. Перед текстом дата: «6 окт.‹ября 1833 г.›». Фототипическое воспроизведение и транскрипция в изд.: Рукописи А. С. Пушкина. Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 гг. Тетрадь № 2374 Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. М., Гослитиздат, 1939. ‹Тетрадь I›. Фототипии, ред. С. М. Бонди, с. 16—31, 34—35; ‹Тетрадь II›. Транскрипции, сост. С. М. Бонди и Т. Г. Зенгер, с. 25—55, 58—61; ‹Тетрадь III›. Комментарий, под ред. С. М. Бонди, с. 35—51. — См.: *Акад.*, V, 436—461.

2. Вторая черновая рукопись (автограф) — ПД 839 (бывш. ЛБ 2372), л. 54 об.—46. На листе 52 об. дата: «30 окт‹ября 1833 г.›». — См.: *Акад.*, V, 461—487.

3. Набросок к стихам 93—96 (Вступление) — ПД 965 (бывш. ГПБ 28). — См.: *Акад.*, V, 487.

4. Набросок к стихам 275—278 — ПД 963 (бывш. ЛБ 2375). — См.: *Акад.*, V, 488.

5. Первая перебеленная (Болдинская) рукопись (автограф БА) — ПД 964 (бывш. ЛБ 2375). Заглавие: «Медный Всадник (Петербургская повесть) 1833». Даты: 1) между Вступлением и началом Первой части: «29 окт‹ября 1833 г.›»; 2) в конце Второй части: «31 октября[2] 1833. Болдино. 5 ч. 5 ‹м.›». — См.: *Акад.*, V, 488—496; XVII, 44—45.

6. Вторая беловая (Цензурная) рукопись (автограф ЦА) — ПД 966 (бывш. ЛБ 2376-Б). Заглавие: «Медный Всадник. Петербургская повесть. 1833». С цензорскими пометами карандашом, рукою Николая I. — См.: Медный Всадник. Петербургская повесть А. С. Пушкина. Илл. Александра Бенуа. Ред. текста и статья П. Е. Щеголева. СПб., 1923. — См.: *Акад.*, V, 496—499.

7. Писарская копия с ЦА, с перенесенными рукою Пушкина пометами Николая I (ПК) — ПД 967 (бывш. ЛБ 2376-Б). Со стилистическими поправками и цензурными переделками рукою Пушкина и редакторской правкой рукою В. А. Жуковского. — См.: *Акад.*, V, 496—499; XVII, 45.

8. Переработка стихов 143—158 для включения в ПК — ПД 968 (бывш. ЛБ, без №). — См.: *Акад.*, V, 139, 521; Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 11. М., 1950, с. 134—146 (публикация С. М. Бонди).

ПЕЧАТНЫЙ

Петербург. Отрывок из поэмы. — Библиотека для чтения, 1834, т. 7, кн. XII, отд. I, с. 117—119. Стихи 1—91 Вступления с заменой стихов 39—42 четырьмя рядами точек.

---

[1] Ср.: *Акад.*, V, 516—518.

[2] Переделано из «1 ноября».

В настоящем издании текст поэмы печатается по писарской копии (ПК) со всеми стилистическими и смысловыми поправками, внесенными в нее Пушкиным (исключая его же переделки цензурного характера). Стихи 143—155 — по автографу, обнаруженному в 1947 г. в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина (теперь ПД 968). Стихи 156—158 — по ПК, где они ошибочно зачеркнуты Пушкиным. В стихе 250 автоцензурная форма ЦА и ПК «Насмешка Рока над землей» заменена первоначальной (в БА) — «Насмешка неба над землей».

При этом в печатном тексте не соблюдается ряд орфографических особенностей, имеющихся в тексте ЦА и сохраненных отчасти в ПК, — преимущественно прописные буквы и некоторые другие (см. ниже). Руководствуясь текстами, напечатанными при жизни самим Пушкиным («Полтава» и др.), прописные буквы автографов заменены строчными и архаические формы (мягкие знаки в конце слов после шипящих) — современными.

Замены проведены в следующих случаях (по порядку стихов):

12 Отсель грозить мы будем Шведу
32 Дворцев и башен; корабли
33 Толпой со всех концев земли
39 И перед младшею Столицей
41 Как перед новою Царицей
42 Порфироносная Вдова
55 И не пуская тму ‹=тьму› ночную
75 Люблю, военная Столица
77 Когда Полнощная Царица
84 Красуйся, Град Петров, и стой
97 Над омраченном ‹=омраченным› Петроградом
108 Мы будем нашего Героя
117 Но ныне Светом и Молвой
118 Оно забыто. Наш Герой
203 Покойный Царь еще Россией
217 Его пустились Генералы
244 Забор некрашеный ‹=некрашенный› да ива
287 Он перевощика ‹=перевозчика› зовет
288 И перевощик ‹=перевозчик› беззаботный
296 Достиг он берега.
Нещастный ‹=несчастный›
328 О дне минувшем.
Утра лучь ‹=луч›
329 Из-за усталых, бледных тучь ‹=туч›
332 Беды вчерашней; Багряницей
333 И с ним вдали во тме ‹=тьме› ночной
420 О мощный властелин Судьбы!
424 Кругом подножия Кумира
427 На лик Державца полумира
433 Пред Горделивым истуканом
438 «Уже ‹=Ужо› тебе!..» И вдруг стремглав
440 Ему, что Грозного Царя
454 За ним повсюду всадник медный
474 Домишка ‹=Домишко› ветхий. Над водою

Примечание 1. la fenaître ‹=fenêtre›
2. Стихи Кн. Вяземского Графине З***
3. Мицкевичь ‹=Мицкевич›
4. Граф Милорадовичь ‹=Милорадович› и Генерал-Адъютант Бенкендорф

II. РАЗНОЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ ПОЭМЫ — ЦЕНЗУРНОГО АВТОГРАФА (1833) И ПИСАРСКОЙ КОПИИ (1836)

Текст 1833 г.	Текст 1836 г.
(Цензурный автограф — *ЦА*) [1]	(Писарская копия — *ПК*, со стилистическими и смысловыми поправками Пушкина) [2]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Подробности заимствованы из тогдашних журналов	Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов

ВСТУПЛЕНИЕ

	Стихи 92—96
Была ужасная пора... Об ней начну повествованье И будь оно, друзья, для вас Вечерний, страшный лишь рассказ А не зловещее преданье	Была ужасная пора, Об ней свежо воспоминанье... Об ней, друзья мои, для вас Начну свое повествованье. Печален будет мой рассказ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

	Стихи 118—119
Наш герой Живет в чулане. Где-то служит	Наш герой Живет в Коломне. Где-то служит
	Стихи 136—144
Что вряд еще через два года Он чин получит; что река	Что служит он всего два года; Он также думал, что погода

---

[1] Поэма напечатана по этому автографу П. Е. Щеголевым в 1923 г. (Медный Всадник. Петербургская повесть А. С. Пушкина. Илл. Александра Бенуа. Ред. текста и статья П. Е. Щеголева. СПб., 1923) и в полных собраниях сочинений Пушкина, вышедших под его же редакцией (1930, 1931, 1934 гг.).

[2] Этот текст составляет основу всех изданий «Медного Всадника», начиная с первой, посмертной публикации поэмы в «Современнике» 1837 г., т. V (1), кроме указанных выше изданий под редакцией П. Е. Щеголева. Переделки автоцензурного характера, внесенные Пушкиным в ПК, во внимание не принимаются, так же как цензурные переделки Жуковского. Окончательный текст поэмы см.: *Акад.*, V, 131—150; тот же текст приводится в настоящем издании. Счет стихов дается по настоящему изданию.

Все прибывала, что погода
Не унималась; что едва ль
Мостов не сымут, что конечно
Параше будет очень жаль...
Тут он разнежился сердечно
И размечтался как поэт.

Не унималась; что река
Все прибывала; что едва ли
С Невы мостов уже не сняли
И что с Парашей будет он
Дни на два, на три разлучен...
Евгений тут вздохнул сердечно
И размечтался как поэт

Стихи 145—158

«Жениться? что ж? Зачем же нет?
И в самом деле? я устрою
Себе смиренный уголок
И в нем Парашу успокою.
Кровать, два стула, щей горшок
Да сам большой... чего мне боле?
Не будем прихотей мы знать
По воскресеньям летом в поле
С Парашей буду я гулять;
Местечко выпрошу; Параше
Препоручу хозяйство наше
И воспитание ребят...
И станем жить и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба
И внуки нас похоронят...»

Жениться? Ну... зачем же нет?
Оно и тяжело конечно,
Но что ж, он молод и здоров,
Трудиться день и ночь готов;
Он кое-как себе устроит
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокоит
«Пройдет, быть может, год другой —
Местечко получу — Параше
Препоручу хозяйство наше
И воспитание ребят...
И станем жить — и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба
И внуки нас похоронят...».[3]

Стих 159

Так он мечтал. Но грустно было

Так он мечтал. И грустно было

Стихи 179—187

И пуще пуще свирепела
Приподымалась и ревела
Котлом клокоча и клубясь
И наконец, остервенясь
На город кинулась. Пред нею
Все побежало. Все вокруг
Вдруг опустело — волны вдруг
Вломились в улицы, в подвалы,
С Невой слились ее каналы,

Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь
На город кинулась. Пред нею
Все побежало; все вокруг
Вдруг опустело — воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,

Стихи 190—199

Осада! приступ! лезут волны
Как звери, в окна. С ними челны
С разбега стекла бьют кормой;
Мосты снесенные грозой,
Обломки хижин, бревны, кровли
Товар запасливой торговли
Пожитки бедных, рухлядь их,
Колеса дрожек городских
Гроба с размытого кладбища
Плывут по городу!

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки́ под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревна, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!

Стих 218

Спасать от страха одичалый

Спасать и страхом обуялый

[3] Стихи 145—158, от «Жениться? что ж? зачем же нет» до «И внуки нас похоронят...» включительно в ПК зачеркнуты без замены. Стихи 145—155 печатаются по тексту на отдельном листке (ПД 968, бывш. ЛБ), а стихи 156—158 — по тексту ПА—ПК (в ПК они зачеркнуты Пушкиным ошибочно).

Стих 232

Как дождь ему в лицо плескал

Как дождь ему в лицо хлестал

Стих 247

Его мечта... Ил‹и› во сне
Он это видит?

Его мечта... Или во сне
Он это видит?

Стих 250

Насмешка Рока над землей?

Насмешка неба над землей [4]

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Стихи 260—263

Но вот, насытясь возмущеньем
И наглым буйством утомясь
Нева обратно повлеклась
Своим любуясь разрушеньем

Но вот, насытясь разрушеньем
И наглым буйством утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своим любуясь возмущеньем

Стих 281

Еще под ними тлел огонь

Как бы под ними тлел огонь

Стихи 289—290

Чрез волны страшные охотно
Его за гривенник везет

Его за гривенник охотно
Чрез волны страшные везет

Стих 344

Свозили лодки.
И Хвостов

Свозили лодки.
Граф Хвостов

Стихи 370—374

Его стегали, потому
Что было всё ему дорогой
И двор и улица, но он
Не примечал. Он оглушен
Был чудной, внутренней тревогой

Его стегали, потому
Что он не разбирал дороги
Уж никогда; казалось — он
Не примечал. Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги

Стих 462

Колпак изношенный сымал

Картуз изношенный сымал

Стих 464

И шел сторонкой

И шел сторонкой

Заключение

Остров малый

Остров малый

Стих 469

Или мечтатель посетит

Или чиновник посетит

ПРИМЕЧАНИЯ

[3]) Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению. Жаль только ‹...›

[3]) Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений Oleszkiewicz. Жаль только ‹...›

---

[4] Форма ЦА, «Насмешка Рока над землей», имеющая автоцензурный характер и сохраненная в ПК, заменена в современных изданиях (с 1935 г.) формой «Насмешка неба над землей» согласно БА.

III. ‹ЕЗЕРСКИЙ›

I

Над омраченным Петроградом
Осенний ветер тучи гнал,
Дышало небо влажным хладом,
Нева шумела. Бился вал
О пристань набережной стройной,
Как челобитчик беспокойный
Об дверь судейской; дождь в окно
Стучал печально. Уж темно
Все становилось. В это время
Иван Езерский, мой сосед,
Взошел в свой тесный кабинет...
Однако ж род его и племя,
И чин, и службу, и года
Вам знать не худо, господа.

II

Начнем ab ovo:[1] мой Езерский
Происходил от тех вождей,
Чей дух воинственный и зверский
Был древле ужасом морей.
Одульф, его начальник рода,
Вельми бе грозен воевода,
Гласит Софийский хронограф.
При Ольге сын его Варлаф
Приял крещенье в Цареграде
С рукою греческой княжны;
От них два сына рождены:
Якуб и Дорофей. В засаде

[1] С самого начала; букв. «от яйца» (*лат.*). (*Ред.*).

Убит Якуб; а Дорофей
Родил двенадцать сыновей.

III

Ондрей, по прозвищу Езерский,
Родил Ивана да Илью
И в лавре схимился Печерской.
Отсель фамилию свою
Ведут Езерские. При Калке
Один из них был схвачен в свалке,
А там раздавлен, как комар,
Задами тяжкими татар;
Зато со славой, хоть с уроном,
Другой Езерский, Елизар,
Упился кровию татар
Между Непрядвою и Доном,
Ударя с тыла в кучу их
С дружиной суздальцев своих.

IV

В века старинной нашей славы,
Как и в худые времена,
Крамол и смуты в дни кровавы,
Блестят Езерских имена.
Они и в войске и в совете,
На воеводстве и в ответе
Служили князям и царям.
Из них Езерский Варлаам
Гордыней славился боярской:
За спор то с тем он, то с другим
С большим бесчестьем выводим
Бывал из-за трапезы царской,
Но снова шел под страшный гнев,
И умер, Сицких пересев.

V

Когда ж от Думы величавой
Приял Романов свой венец,
Когда под мирною державой
Русь отдохнула наконец,
А наши вороги смирились,
Тогда Езерские явились
В великой силе при дворе.

При императоре Петре....
Но извините: статься может,
Читатель, я вам досадил:
Наш век вас верно просветил,
Вас спесь дворянская не гложет,
И нужды нет вам никакой
До вашей книги родовой...

VI

Кто б ни был ваш родоначальник,
Мстислав Удалый, иль Ермак,
Или Митюшка целовальник,
Вам все равно — конечно так,
Вы презираете отцами,
Их древней славою, правами
Великодушно и умно,
Вы отреклись от них давно,
Прямого просвещенья ради,
Гордясь, как общей пользы друг,
Ценою собственных заслуг,
Звездой двоюродного дяди,
Иль приглашением на бал
Туда, где дед ваш не бывал.

VII

Я сам — хоть в книжках и словесно
Собратья надо мной трунят —
Я мещанин, как вам известно,
И в этом смысле демократ.
Но каюсь: новый Ходаковский,[2]
Люблю от бабушки московской
Я слушать толки о родне,
Об отдаленной старине.
Могучих предков правнук бедный,
Люблю встречать их имена
В двух-трех строках Карамзина.
От этой слабости безвредной,
Как ни старался, — видит бог, —
Отвыкнуть я никак не мог.

---

[2] Известный любитель древностей. (*Примеч. А. С. Пушкина*).

VIII

Мне жаль, что сих родов боярских
Бледнеет блеск и никнет дух.
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух,
Что их поносит шут Фиглярин,
Что русский ветреный боярин
Теряет грамоты царей
Как старый сбор календарей.
Что исторические звуки
Нам стали чужды — хоть спроста
Из бар мы лезем в tiers-état,[3]
Хоть нищи будут наши внуки,
И что спасибо нам за то
Не скажет, кажется, никто.

IX

Мне жаль, что мы, руке наемной
Дозволя грабить свой доход,
С трудом ярем заботы темной
Влачим в столице круглый год,
Что не живем семьею дружной
В довольстве, в тишине досужной,
Старея близ могил родных
В своих поместьях родовых,
Где в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава;
Что геральдического льва
Демократическим копытом
У нас лягает и осел:
Дух века вот куда зашел!

X

Вот почему, архивы роя,
Я разобрал в досужный час
Всю родословную героя,
О ком затеял свой рассказ
И здесь потомству заповедал.
Езерский сам же твердо ведал,
Что дед его, великий муж,
Имел пятнадцать тысяч душ.

---

[3] Третье сословие (*франц.*) (*Ред.*).

Из них отцу его досталась
Осьмая часть — и та сполна
Была сперва заложена,
Потом в ломбарде продавалась...
А сам он жалованьем жил
И регистратором служил.

XI

Допросом музу беспокоя,
С усмешкой скажет критик мой:
«Куда завидного героя
Избрали вы! Кто ваш герой?»
— А что? Коллежский регистратор.
Какой вы строгий литератор!
Его пою — зачем же нет?
Он мой приятель и сосед.
Державин двух своих соседов
И смерть Мещерского воспел;
Певец Фелицы быть умел
Певцом их свадеб, их обедов
И похорон, сменивших пир,
Хоть этим не смущался мир.

XII

Заметят мне, что есть же разность
Между Державиным и мной,
Что красота и безобразность
Разделены чертой одной,
Что князь Мещерский был сенатор,
А не коллежский регистратор —
Что лучше, ежели поэт
Возьмет возвышенный предмет,
Что нет, к тому же, перевода
Прямым героям; что они
Совсем не чудо в наши дни;
Иль я не этого прихода?
Иль разве меж моих друзей
Двух, трех великих нет людей?

XIII

Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге

Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На черный пень? Спроси его.
Зачем Арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Гордись: таков и ты, поэт,
И для тебя условий нет.

XIV

Исполнен мыслями златыми,
Непонимаемый никем,
Перед распутьями земными
Проходишь ты, уныл и нем.
С толпой не делишь ты ни гнева,
Ни нужд, ни хохота, ни рева,
Ни удивленья, ни труда.
Глупец кричит: *куда? куда?*
Дорога здесь. Но ты не слышишь,
Идешь, куда тебя влекут
Мечты златые; тайный труд
Тебе награда; им ты дышишь,
А плод его бросаешь ты
Толпе, рабыне суеты.

XV

Скажите: *экой вздор*, иль *bravo*,
Иль не скажите ничего —
Я в том стою — имел я право
Избрать соседа моего
В герои повести смиренной,
Хоть человек он не военный,
Не второклассный Дон Жуан,
Не демон — даже не цыган,
А просто гражданин столичный,
Каких встречаем всюду тьму,
Ни по лицу, ни по уму
От нашей братьи не отличный.
Довольно смирный и простой,
А впрочем, малый деловой.

Продолжение в черновой рукописи:

‹XVI›

Во фраке очень устарелом
Он, молча сидя у бюро,
До трех часов в раздумьи зрелом
Чинил и пробовал перо.
Вам должно знать, что мой чиновник
Был сочинитель и любовник;
Свои статьи печатал он
В «Соревнователе». Влюблен
Он был в Мещанской по соседству
В одну Лифляндочку. Она
С своею матерью одна
Жила в домишке, по наследству
Доставшемся недавно ей
От дяди Франца. Дядя сей —

‹XVII›

Но от мещанской родословной
Я вас избавлю — и займусь
Моею повестью любовной
Покамест вновь не занесусь
. . . .

ВАРИАНТЫ

1. ЧЕРНОВЫЕ ТЕКСТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СТРОФ

Первая редакция

Первая строфа

(ПД 840, л. 12; *Акад.*, V, 387—388)

Над П.<етер> Б.<ургом> омраченном
Осенний ветер тучи гнал.
Нева в течении смущенном
Приподымалась — тяжкой вал
Как челобитчик беспокойный
Толкался у ограды стройной
Ее гранитных берегов
Среди ненастных облаков
[Серпа] и звезд не видно было;
Взамен угаснувшей зари
Светились тускло фонари
Дождь капал, ветер выл уныло
Клубя капот сирен ночных
И заглушая часовых

Вторая строфа

Первый вариант

(ПД 840, л. 12 об.; *Акад.*, V, 388)

В своем безмолвном кабинете
В то время Зорин молодой
Сидел один при слабом свете
Прозрачной лампы —

Второй вариант

(ПД 840, л. 13; *Акад.*, V, 388—389)

Порой сей поздней и печальной
(В том доме, где стоял и я)
Один [при] свете свечки сальной
В конурке пятого жилья
Писал чиновник — скоро смело
Перо привычное скрипело
Как видно малый был делец —

Работу кончив наконец
Он стал тихонь<ко> раздеваться
Задул огарок — лег в постель
Под заслуженную шинель —
И стал мечтать...
Но может статься
Захочет знать читатель мой
Кто сей чиновник молодой

Вторая редакция

Первая строфа

(ПД 421, л. 92 об.; *Акад.*, V, 389—390)

Над Петербургом омраченном
Осенний ветер тучи гнал
Нева в теченьи возмущенном
Шумела глухо. Бурный вал
Как бы проситель беспокойный
Плескал в гранит ограды стройной
Ее широких берегов —
Среди ненастных облаков
Луны ни звезд не видно было
[Вдоль темных улиц фонари]
[Светились тускло до зари]
И буйный вихорь выл уныло
Клубя капоты дев ночных —
И заглушая часовых

Вторая строфа

(ПД 421, л. 92; *Акад.*, V, 390—391)

В своем роскошном кабинете
В то время Рулин молодой
Сидел один при бледном свете
Одной лампады — ветра вой
Волненье города глухое
Да бой дождя в окно двойное
Всё мысли усыпляло в нем —
Согретый дремлющим огнем
Он у чуг<унного> камин<а>
Дремал —
Видений сонных перед ним
Менялись тусклые картины

Третья редакция

Первая строфа

(Перебеленный текст)

(ПД 953, л. 60; *Акад.*, V, 391—392)

Над Петербургом омраченным
Осенний ветер тучи гнал;
Нева в теченьи возмущенном
Шумя, неслась. Упрямый вал,
Как бы проситель беспокойный
Плескал в гранит ограды стройной
Ее широких берегов.
Среди бегущих облаков
Вечерних звезд не видно было —
Огонь свети<лся> в фонарях
По улицам взвивался прах
И буйный вихорь выл уныло
Клубя капоты дев ночных
И заглушая часовых.

Вторая строфа

(Перебеленный текст)

(ПД 953, л. 60; *Акад.*, V, 392)

[Порой сей поздней и печальной
В том доме где стоял и я,
Неся огарок свечки сальной
В конурку пятого жилья
Вошел один чиновник бедный
Задумчивый, худой и бледный. —
Вздохнув, свой осмотрел чулан,
Постелю, пыльный чемодан,
И стол, бумагами покрытый,
И шкап со всем его добром;
Нашел в порядке всё, потом,
Дымком своей сигарки сытый,
Разделся сам и лег в постель
Под заслуженную шинель]

Черновая переработка второй строфы

(ПД 953, л. 60 об.; *Акад.*, V, 392—394)

Первый набросок к строфе

[Тогда — на каменной площадке
Песком усыпанных сеней]

Последний слой чернового текста строфы

Взбежав по ступеням отлогим
Гранитной лестницы своей
В то время — Волин ‹?› с видом строгим
Звонил у запертых дверей
И трес замком нетерпеливо.
Дверь отворилась — он бранчиво
Андрею выговор прочел
И в кабинет ворча пошел —
Андрей принес ему две свечи
Цербер по долгу своему
Залаяв прибежал к нему
И положил ему на плечи
Свои две лапы — и потом
Улегся тихо под столом —

Зачеркнутый набросок к третьей строфе

[Разделся он.] — [был озабочен]
[Как тот, у коего просрочен]
[Вексель—]

2. ЧЕРНОВОЙ ТЕКСТ СТРОФ, НЕ ВОШЕДШИХ В РОДОСЛОВИЕ ЕЗЕРСКИХ

(ПД 842, л. 20—21 об.; *Акад.*, V, 398—404)

‹IV (V)›

Во дни крамолы безначальной
В те дни когда и лях и ‹швед›
Одолевал наш край печальный
И гибла Русь от разных бед

Когда в Москве сидели воры
И с ляхом вел переговоры
Предатель умный Салтыков
И средь озлобленных врагов
Посольство русское гладало
И русский князь да мещ‹анин›
Спасали Русь [от двух ‹?›] дружин
[В те дни Езерские немало]
[Сменили мнений] и друзей
[Для] пользы общей (и своей)

‹V (VI)›

Когда ж средь Думы величавой
Приял Романов свой венец
И под отеческой державой
Русь отдохнула наконец
А наши вороги смирились
Тогда Езерские явились
Опять в чинах и при дворе.
При императоре Петре
Один из них был четвертован
За связь с царев‹ичем› — другой
Его племянник молодой
[Прощен] и [милостью окован]
И умер знатен и богат.
Он на голландке был женат

‹VI (VII)›

Петра не стало; государство
Шатнулось, будто под грозой
И усмиренное боярство
Его железн‹ою› рукой
Мятежной предалось надежде
Пусть будет вновь что было прежде
Долой кафтан кургузый — Нет!
Примером нам [да] будет швед —
Не тут-то было. Тень Петрова
Стояла грозно средь бояр
Бессиле‹н›   удар
Что было, не восстало снова —
Россию двинули вперед
Ветрила те ж, средь тех же вод

‹VII (VIII)›

И тут Езерские возились
В связи то с этим то с другим
На счастье Меньшикова злились
Хитрили с злоб‹ным› Трубецким
И Бирон, деспот непреклонный
Смирял их род неугомонный
И Долгорукие князья —
Бывали втайне им друзья —
Матвей Арсеньевич Езерский
Случайный, знатный человек
Был [очень] славен в прош‹лый век›
[Своим] умом и злобой зверской
Имел он сына одного
(Отца героя моего —)

Основной текст неоконченной поэмы (повести или романа) в «онегинских» строфах, называемой редакторским названием «Езерский» по имени ее героя, печатается по беловым автографам ПД 959 и ПД 194; строфы XVI и начало XVII — по черновому автографу ПД 957. Черновые тексты вступительных строф, а также строф, не вошедших в беловой текст родословия Езерских, приводятся нами (не полностью) из рабочих тетрадей и записных книжек Пушкина (ПД 953—958; см.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. Научное описание. Сост. Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. М.—Л., 1937; Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский Дом после 1937 г. Краткое описание. Сост. О. С. Соловьева. М.—Л., 1964). Публикация этих текстов — отдельными отрывками — началась с издания П. В. Анненкова (Соч. Пушкина, т. I, III. СПб., 1855; т. VII, 1857) и продолжалась до «большого» академического издания, в V томе которого (1948) черновики были впервые напечатаны полностью. Следует отметить, что до 1930 г. «Езерский» смешивался то с «Медным Всадником», то с «Родословной моего героя». Как отдельное произведение, под названием «Езерский», беловой текст неоконченной поэмы в 15 строфах был напечатан Н. В. Измайловым в издании: А. С. Пушкин. Т. II. Поэмы. Сказки. Л., 1939 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 255—261. Подробнее см.: *Акад.*, V, 513—515 (указание в последнем абзаце: «Как отдельное произведение∾ впервые» — ошибочно).

IV. РОДОСЛОВНАЯ МОЕГО ГЕРОЯ

(ОТРЫВОК ИЗ САТИРИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ)

Начнем ab ovo.
Мой Езерский
Происходил от тех вождей,
Чей в древни веки парус дерзкий
Поработил брега морей.
Одульф, его начальник рода,
Вельми бе грозен воевода
(Гласит Софийский хронограф).
При Ольге сын его Варлаф
Приял крещенье в Цареграде
С приданым греческой княжны.
От них два сына рождены,
Якуб и Дорофей. В засаде
Убит Якуб, а Дорофей
Родил двенадцать сыновей.

Ондрей, по прозвищу Езерский,
Родил Ивана да Илью
И в лавре схимился Печерской.
Отсель фамилию свою
Ведут Езерские. При Калке
Один из них был схвачен в свалке,
А там раздавлен как комар
Задами тяжкими татар.
Зато со славой, хоть с уроном,
Другой Езерский, Елизар,
Упился кровию татар,
Между Непрядвою и Доном,
Ударя с тыла в табор их
С дружиной суздальцев своих.

В века старинной нашей славы,
Как и в худые времена,

Крамол и смут во дни кровавы
Блестят Езерских имена.
Они и в войске и в совете,
На воеводстве, и в ответе[1]
Служили доблестно царям.
Из них Езерский Варлаам
Гордыней славился боярской;
За спор то с тем он, то с другим,
С большим бесчестьем выводим
Бывал из-за трапезы царской,
Но снова шел под тяжкий гнев
И умер, Сицких *пересев*.[2]

Когда от Думы величавой
Приял Романов свой венец,
Как под отеческой державой
Русь отдохнула наконец,
А наши вороги смирились, —
Тогда Езерские явились
В великой силе при дворе,
При императоре Петре...
Но извините: статься может,
Читатель, вам я досадил;
Ваш ум дух века просветил,
Вас спесь дворянская не гложет,
И нужды нет вам никакой
До вашей книги родовой.

Кто б ни был ваш родоначальник,
Мстислав, князь Курбский, иль Ермак,
Или Митюшка целовальник,
Вам всё равно. Конечно, так:
Вы презираете отцами,
Их славой, честию, правами
Великодушно и умно;
Вы отреклись от них давно,
Прямого просвещенья ради,
Гордясь (как общей пользы друг)
Красою *собственных заслуг*,
Звездой двоюродного дяди,
Иль приглашением на бал
Туда, где дед ваш не бывал.

---

[1] В посольстве. (*Примеч. А. С. Пушкина*).

[2] *Пересесть кого*, старинное выражение, значит занять место выше. (*Примеч. А. С. Пушкина*).

Я сам — хоть в книжках и словесно
Собратья надо мной трунят —
Я мещанин, как вам известно,
И в этом смысле демократ;
Но каюсь: новый Ходаковский,[3]
Люблю от бабушки московской
Я толки слушать о родне,
О толстобрюхой старине.
Мне жаль, что нашей славы звуки
Уже нам чужды; что спроста
Из бар мы лезем в tiers-état
Что нам не впрок пошли науки,
И что спасибо нам за то
Не скажет, кажется, никто.

Мне жаль, что тех родов боярских
Бледнеет блеск и никнет дух;
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух,
Что их поносит и Фиглярин,
Что русский ветреный боярин
Считает грамоты царей
За пыльный сбор календарей,
Что в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава,
Что геральдического льва
Демократическим копытом
Теперь лягает и осел:
Дух века вот куда зашел!

Вот почему, архивы роя,
Я разбирал в досужный час
Всю родословную героя,
О ком затеял свой рассказ,
И здесь потомству заповедал.
Езерский сам же твердо ведал,
Что дед его, великий муж,
Имел двенадцать тысяч душ;
Из них отцу его досталась
Осьмая часть, и та сполна

---

[3] Известный любитель древности, умерший несколько лет тому назад. (*Примеч. А. С. Пушкина*).

Была давно заложена
И ежегодно продавалась;
А сам он жалованьем жил
И регистратором служил.

«Родословная моего героя» печатается по тексту, опубликованному в «Современнике» (т. III, СПб., 1836, с. 152—157). Наборная рукопись не сохранилась. В первопечатном тексте стих 9 второй строфы был искажен цензурой: вместо

Зато со славой, хоть с уроном

напечатано

Зато на Куликовом поле,

в связи с чем уничтожалась рифма. Стих исправляется по беловому тексту «Езерского» (см. с. 87).

«Отрывок» представляет собой переработанное извлечение из незаконченной поэмы, называемой по имени ее героя «Езерский» (строфы II—X).

V. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ПЕТЕРБУРГСКОМ НАВОДНЕНИИ 7 НОЯБРЯ 1824 г.

Исторической основой поэмы Пушкина «Медный Всадник» явилось грандиозное наводнение в Петербурге 7 ноября 1824 г. — стихийное народное бедствие, оставившее неизгладимое трагическое впечатление. Один из современников поэта, А. И. Тургенев, так и называл эту самую короткую из поэм Пушкина — «поэма о наводнении».

Пушкин не был очевидцем «происшествия, описанного в сей повести», но, как поэт-реалист и историк, уже создавший в «Полтаве» новый, синтетический род поэмы, он стремился быть совершенно точным во всех подробностях изображаемого им события. В примечании к своей поэме он ставил в упрек Мицкевичу допущенные последним неточности в описании дня, предшествовавшего петербургскому наводнению, отмечая при этом: «Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта».

В «Предисловии» к поэме Пушкин указал, что «подробности» наводнения заимствованы из тогдашних журналов, и назвал один из своих источников — «известие, составленное В. Н. Берхом». Но несомненно, что кроме этой статьи Пушкин знал немало других материалов из порожденной наводнением огромной литературы всякого рода: материалов печатных, рукописных или устных, в том числе специальных работ, посвященных описанию и исследованию наводнения, подобных книге С. Аллера, газетных и журнальных статей, писем, записок и устных рассказов очевидцев и проч.

Наводнение 1824 г., как и предыдущие, застало город неподготовленным, а городские (точнее, полицейские) власти растерянными, что вызвало и отсутствие организованной помощи погибающим, и много таких жертв, каких можно было бы избежать, как например трагическая гибель жен и детей рабочих казенного чугунного завода (впоследствии Путиловского, теперь Кировского) на глазах у их мужей и отцов, слишком поздно отпущенных с работы и не успевших даже добежать до казарм. В первые дни после наводнения всякие сообщения о нем в печати были запрещены. Лишь спустя шесть дней, 13 ноября, в № 269 правительственной газеты «Русский инвалид, или Военные ведомости» были опубликованы документы о бедствии, постигшем столицу. На первом месте был помещен здесь «высочайший рескрипт» — личное послание Александра I действительному тайному советнику, члену Государственного совета кн. А. Б. Куракину, одному из высших сановников империи, от 11 ноября, в котором объявлялось о мерах «скорой и существенной помощи наиболее разоренным и неимущим», для чего выделялся миллион рублей «из сумм, составленных от сбережений хозяйственным устройством военных поселений». Напечатанное вслед за рескриптом краткое официозное сообщение о наводнении служило указанием, в каком тоне дóлжно было описывать событие и оценивать его последствия.

Появившиеся вслед за этим статьи в ноябрьских и декабрьских номерах газет и журналов написаны по программе, данной «сверху». Во всех них описываются одни и те же эпизоды, приводятся одни и те же рассказы; все они повествуют о подвигах спасения людей, о благополучном избавлении от опасности тех, кого считали уже погибшими, о проявлениях великодушия, о пожертвованиях в пользу пострадавших и т. п.

Из обширной литературы о наводнении, современной событию и, конечно, не полностью известной Пушкину, мы помещаем в настоящем издании, кроме названных выше книг и статей, лишь немногое: статью А. С. Грибоедова, письмо молодой девушки С. М. Салтыковой к подруге, а также отрывок из «Семейной хроники» А. В. Кочубея.

«РУССКИЙ ИНВАЛИД, ИЛИ ВОЕННЫЕ ВЕДОМОСТИ»

13 ноября 1824, № 269.

В прошедшую пятницу, 7-го с<его> м<есяца>, здешняя столица посещена была бедствием, коему уже около 50-ти лет не было примера. Река Нева, которой воды беспрестанно возрастали от сильного морского ветра, вышла из берегов своих в 11-м часу утра. В несколько минут большая часть города была наводнена. Ужас объял жителей. Не прежде, как в 2¼ часа пополудни, вода начала убывать, а в ночь река вступила в обыкновенные берега свои. Невозможно описать все опустошения и потери, произведенные сим наводнением. Все набережные, многие мосты и значительное число публичных и частных зданий более или менее повреждены. Убыток, понесенный здешним купечеством, весьма велик. Жители всех сословий с благородною неустрашимостию подвергали опасности собственную жизнь свою для спасения утопающих и их имущества. Сии черты мужества, великодушия и преданности столь многочисленны, что с каждым почти днем узнаем мы новые (*с. 1075*).

18 ноября 1824, № 273.

В бедственном наводнении 7 ноября более всех других частей С.-Петербурга потерпели: Галерная гавань, Васильевский остров и Петербургская сторона. На Невском проспекте доходила вода до Троицкого переулка. Далее, к Знаменью, на Песках и на Литейной, она не выливалась на улицы. Моховая и Троицкий переулок были крайними ее границами.

Селения около Екатерингофа и казенный чугунный завод ужасным образом потерпели. Там погибло несколько сот человек и весь домашний скот. Почти все деревянные строения, так же как в Галерной гавани, снесены или разрушены водою.

Государь император сам изволил осматривать все места, наиболее пострадавшие <...> (*с. 1089*).

В. Н. БЕРХ

ПОДРОБНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗВЕСТИЕ О ВСЕХ НАВОДНЕНИЯХ, БЫВШИХ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

Статья о наводнении 1824 г., вошедшая в книгу (или, точнее, брошюру) В. Н. Берха «Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в Санктпетербурге» (СПб., в Морской типографии, 1826, с. 59—72),[1] представляет собой перепечатку (с незначительными сокращениями и вставками самого Берха) статьи Ф. В. Булгарина, напечатанной вскоре после наводнения в издававшемся им журнале «Литературные листки».[2]

Василий Николаевич Берх (1781—1834), морской инженер, историк русского флота, издатель «Собрания писем императора Петра I» и автор других трудов по русской истории, многие из которых сохранились в библиотеке Пушкина,[3] считал, очевидно (и не без основания), описание наводнения, составленное Булгариным по свежим следам и почти как рассказ о личных впечатлениях, достаточно полным и содержательным, несмотря на его краткость. Он прямо указал в начале статьи на имя Булгарина как ее автора. Пушкин не желал называть это враждебное ему имя: он ограничился упоминанием лишь фамилии Берха. Но, сопоставляя рассказ Булгарина о наводнении (в особенности о его начальной фазе) с поэмой Пушкина, можно видеть, что поэт широко воспользовался изложением Булгарина, следуя ему не только в изображении начала и развития событий, но и в отдельных выражениях — разумеется, придавая им свою, поэтическую, художественную форму. Сопоставление стихов Пушкина с рассказом Булгарина—Берха было сделано еще В. Я. Брюсовым в его статье 1909 г.[4] Вторично это сделал Б. В. Томашевский в комментариях к «Медному Всаднику» в издании 1955 г.[5] Мы можем поэтому не повторять этих сопоставлений, очевидных для каждого читателя (ср. рассказ Булгарина—Берха со стихами поэмы 97—105, 167—187, 190—202, 210—213, 298—304 и др.).

Однако в изображении последствий наводнения рассказ Булгарина—Берха и поэма Пушкина решительно расходятся. Задачей Булгарина и перепечатавшего его статью Берха (как, впрочем, и авторов других статей) было смягчить картину бедствия, уменьшить количество погибших, показать, как быстро «попечительное правительство», руководствуясь личными указаниями государя, приняло все необходимые меры для помощи пострадавшим, как жители города добровольно и сердечно помогали друг другу, отказываясь извлечь из наводнения какую-либо выгоду в виде повышения цен, и т. д.

Все это казенное благополучие решительно отрицается Пушкиным. Царь, созерцавший с балкона Зимнего дворца «злое бедствие», может только признать свое бессилие; жители центральной части города, пережившие бедствие сравнительно благополучно («чиновный люд», «торгаш отважный»), относятся к жертвам наводнения «с своим бесчувствием холодным» и думают не о помощи им, а о том, как бы «свой убыток важный на ближнем выместить» (стихи 334—343).

Статья Булгарина—Берха печатается в настоящем издании в основном по тексту книги Берха, с изъятием некоторых вставок гидротехнического характера,

---

[1] Книга сохранилась в библиотеке Пушкина; см. ее описание, составленное Б. Л. Модзалевским: Пушкин и его современники, вып. IX—X. СПб., 1910, с. 8, № 26.

[2] Письмо к приятелю о наводнении, бывшем в С.-Петербурге 7 ноября 1824 года. — Литературные листки. Журнал нравов и словесности, 1824, ч. IV, ноябрь, № XXI—XXII, с. 65—81; декабрь, № XXIII—XXIV, с. 175—177.

[3] Пушкин и его современники, вып. IX—X, с. 8—9, № 27—31.

[4] Брюсов В. Мой Пушкин. Ред. Н. К. Пиксанова. М.—Л., 1929, с. 87—88; первоначально в изд.: Пушкин. [Соч.], т. III. Под ред. С. А. Венгерова. Изд. Брокгауза и Ефрона. СПб., 1909, с. 456—472.

[5] Пушкин А. С. Стихотворения, т. I. Ред. Б. В. Томашевского. Л., 1955 (Б-ка поэта. Большая серия. Изд. 2-е), с. 693—694.

принадлежащих самому Берху, и с исправлением явной опечатки, допущенной Булгариным и перешедшей в текст Берха: «порывы юго-восточного ветра» вместо «юго-западного».

О наводнении 1824 года писано было очень много, и хотя происшествие сие еще живо в памяти многих, но предлагаю здесь читателям описание, составленное о сем несчастном приключении Ф. В. Булгариным.[1]

День 6 ноября, предшествовавший наводнению, был самый неприятный. Дождь и проницательный, холодный ветер с самого утра наполняли воздух сыростью. К вечеру ветер усилился, и вода значительно возвысилась в Неве. В 7 часов я уже видел на Адмиралтейской башне сигнальные фонари для предостережения жителей от наводнения. В ночь настала ужасная буря: сильные порывы юго-восточного ветра потрясали кровли и окна, стекла звучали от плесков крупных дождевых капель. Беспечные жители столицы спокойно почивали по дневных трудах и не обращали внимание на буйство стихии. С рассветом мы увидели, что вода чрезвычайно возвысилась в каналах и сильно в них волновалась. Сначала появлялись на улицах только люди, вышедшие из домов своих за делами, но около 10 часов утра, при постепенной прибыли воды, толпы любопытных устремились на берега Невы, которая высоко воздымалась пенистыми волнами и с ужасным шумом и брызгами разбивала их о гранитные берега.

Когда жители Адмиралтейской стороны еще не предвидели несчастия и с любопытством смотрели на сие грозное явление природы, уже низменные места, лежащие по берегам Финского залива и при устье Невы, были затоплены, и жители Галерной гавани, Канонирского острова, Гутуевского, деревень Емельяновки, Тентелевой и казенного чугунного завода, близ Екатерингофа, терпели бедствие. Невозможно описать того ужасного явления, которому были свидетелями люди, бывшие в сие время

[1] Статья Булгарина в «Литературных листках», «Письмо к приятелю» (с подписью «Θ. Б.»), начинается с вступления, не воспроизведенного в статье Берха: «Ты уже известился, без сомнения, посредством журналов о бедствии, постигшем здешнюю столицу. Кроме того, крылатая молва (которая, подобно снежным шарам, катящимся с гор, увеличивается по мере расстояния), вероятно, достигла до тебя в виде исполина. Правда, бедствие наше велико, потери не маловажны, потому что преждевременная смерть одного даже гражданина есть большое несчастие, а разорение одного почтенного семейства есть происшествие горестное, но при всем том я уверен, что словесными рассказами и письменными извещениями весьма многое искажено и преувеличено. Постараюсь представить тебе краткую картину сего бедствия для рассеяния различных слухов. Как очевидному свидетелю ты должен мне верить: я обещаю тебе быть искренним. Сердце твое наполнится горестью при чтении сих строк, но вместе с этим оно оживится благоговением к промыслу всевышнего, смягчившего бедствия наши благостью монарха, мудрыми мерами попечительного правительства и редкими примерами добродетели частных людей. Счастлив народ, который в несчастии испытывает не огорчительное равнодушие, но отеческую и пламенную к себе любовь своего правительства и находит между согражданами великие примеры добродетели! Время изгладит следы бедствия, но добрые дела останутся нетленными в истории, и перенесутся к престолу всевышнего в мольбах благодарных сердец».

на берегу Финского залива и чудесно спасшиеся от погибели. Необозримое пространство вод казалось кипящею пучиною, над которою распростерт был туман от брызгов волн, гонимых противу течения и разбиваемых ревущими вихрями. Белая пена клубилась над водяными громадами, которые, беспрестанно увеличиваясь, наконец яростно устремились на берег.

Множество деревянных строений, подверженных первым ударам и сильному напору огромной массы воды, не могли противустоять, поколебались в своем основании и с треском обрушились. Люди спасались, как могли, в уцелевшие домы, на бревнах, плавающих кровлях, воротах; некоторые лишились жизни при сем случае. Весь домашний скот и пожитки погибли. Вода беспрестанно прибывала, ветер усиливался, и наконец возвышение воды в Финском заливе простерло бедствие на целый город.

Нева, встретив препятствие в своем течении и не могши излиться в море, возросла в берегах своих, наполнила каналы и чрез подземные трубы хлынула в виде фонтанов на улицы. В одно мгновение вода полилась чрез края набережных, из реки и всех каналов, и наводнила улицы. Трудно представить себе смятение и ужас жителей при сем внезапном явлении. Погреба, подвалы и все нижние жилья тотчас наполнились водою. Каждый спасал, что мог, и выносился наверх, оставляя в добычу воде свое имущество. Некоторые, слишком заботливые о спасении вещей и товаров, погибли в погребах. Между тем толпы народа, бывшего на улицах, бросились в домы, другие поспешали в свои жилища, но прибывавшая вода принудила их спасаться, где кто мог. Кареты и дрожки, которые сперва разъезжали по воде, начали всплывать и спасаться на высоких мостах и по чужим дворам.

В первом часу пополудни весь город (кроме Литейной, Каретной и Рожественской частей) залит был водою, везде почти в рост человека, а в некоторых низких местах (как, например, на перекрестке Большой Мещанской и Вознесенской улиц, у Каменного моста) более нежели на полторы сажени. Вид с бельведера дома Котомина был ужасный и необыкновенный. Разъяренные волны свирепствовали на Дворцовой площади, которая с Невою составляла одно огромное озеро, изливавшееся Невским проспектом, как широкою рекою, до самого Аничковского моста. Мойка скрылась от взоров и соединилась, подобно всем каналам, с водами, покрывавшими улицы, по которым неслись леса, бревна, дрова и мебели. Вскоре мертвое молчание водворилось на улицах. Около двух часов появился на Невском проспекте г<осподин> военный генерал-губернатор граф М. А. Милорадович, на 12-весельном катере, для подания помощи и ободрения жителей. Несколько малых лодок проехало по Морской, и большой катер с несколькими людьми различного звания, спасшимися от погибели на берегу Невы, сперва приставал к нашему дому, а после того остановился возле дома Косиковского. На другой день этот катер стоял в Морской улице на мели.

Но бедствие на Адмиралтейской стороне (кроме Коломны) не было столь ужасно, как в вышеупомянутых селениях на берегу Финского за-

лива, в поперечных линиях Васильевского острова близ Смоленского поля, на Петербургской стороне и вообще в местах низких, заселенных деревянными строениями. Там большая часть домов была повреждена, иные смыты до основания, все заборы ниспровергнуты и улицы загромождены лесом, дровами и даже хижинами. На многих улицах, во всех низких частях города, находились изломанные барки, и одно паровое судно огромной величины, с завода г. Берта, очутилось в Коломне, возле сада его высокопреосвященства г. митрополита Римских церквей Сестренцевича-Богуша. На Неве все пловучие мосты сорваны, исключая Самсоньевского и прелестного моста, соединяющего Каменный остров с Петербургскою стороною. Все чугунные и каменные мосты уцелели, но гранитная набережная Невы поколебалась, и многие камни, особенно на пристанях, сдвинуты с места или опрокинуты.

В третьем часу пополудни вода начала сбывать; в 7 часов уже стали ездить в экипажах по улицам, и тротуары во многих местах сделались проходимыми. В ночь улицы совершенно очистились от воды, которая снова подчинилась своим законам течения, оставив плачевные следы своего кратковременного буйства.

Какая ужасная ночь для каждого чувствительного человека, сострадающего о бедствиях своих собратий, а особенно для тех, которые потеряли своих ближних, кровных, друзей! — Сколько беспокойства об участи милых особ, которых судьба до другого дня была неизвестна! Сколько горестных мыслей о потерях в хозяйственном и коммерческом отношениях, потерях, которые в одно мгновение пресекли надежды, основанные на многолетних трудах! — Так, ночь, последующая наводнению, была ужасна, и я не поверю, чтобы хотя один человек в столице спокойно провел ее, не заботясь о себе или об участи своих собратий.

Первые лучи солнца, озарив печальную картину разрушения, были свидетелями благотворения и сострадания. Попечительное правительство тотчас приняло меры к доставлению убежища, пищи и покрова несчастным, лишившимся своих жилищ. Дом г. военного генерал-губернатора, бывший всегда приютом сирых и злополучных, сделался надежным пристанищем всех требовавших скорой помощи. Каждый круг знакомства сделал между собою денежную складку на сей же предмет. Множество благодетельных людей поспешило на места, претерпевшие более прочих от наводнения, и какое ужасное зрелище представилось их взорам! — Разрушенные домы, разбитые суда, истребленные пожитки составляли нестройные обломки, прикрывающие обезображенные трупы: толпы несчастных рыдали над сими развалинами, оплакивая невозвратные свои потери.

Вопли горести и слезы сострадания были первым приветствием жителей столицы. Вера и благость всевышнего, излившаяся из сердца великодушного монарха, принесли первое утешение несчастным. Правительство, не помышляя о своих потерях, заботилось только о призрении нуждающихся. В первые сутки уже не было ни одного человека в столице без пищи и крова. Не дожидались просьб, но предупреждали нужды каждого. Скорость и деятельность мер правительства отвратили последствия сего

пагубного происшествия: нищету и болезни. Остальное исцелили время, благость всевышнего и великодушие монарха.

Государь император пожаловал миллион рублей для раздачи бедным безвозвратно и учредил Комитет о пособии разоренным жителям С.-Петербурга. Для скорейшего исполнения предначертаний правительства назначены были временными военными губернаторами, под начальством г. военного генерал-губернатора графа М. А. Милорадовича: на Васильевском острову генерал-адъютант Бенкендорф; на Петербургской стороне генерал-адъютант граф Комаровский; на Выборгской генерал-адъютант Депрерадович.

Всякое необыкновенное происшествие или явление в природе весьма часто влечет за собою неосновательные толки. Должно заметить, что все почти цветущие торговые города и многие столицы лежат при впадении больших рек в море, ибо, не взирая на то, что подобное местоположение иногда подвергает города опасности кратковременного наводнения, оно есть верный источник их благосостояния. Кроме того, одни ли наводнения причиняют бедствия на земном шаре, и не бывают ли они в местах, даже отдаленных от моря? — Подземные вулканы, землетрясения и различные перевороты в воде и воздухе суть бедствия неотвратимые, против которых должно вооружаться одною только верою в провидение и твердостию духа.[2]

С. АЛЛЕР

ОПИСАНИЕ НАВОДНЕНИЯ, БЫВШЕГО В САНКТПЕТЕРБУРГЕ 7 ЧИСЛА НОЯБРЯ 1824 г.

Объемистая книга Самуила Аллера, вышедшая в свет весной 1826 г. в Петербурге, содержит, помимо краткого описания наводнения 7 ноября 1824 г., перепечатанного в настоящем издании почти полностью, сведения о наводнениях в других странах и городах Европы «с древних времен», статистические данные о петербургском наводнении и его последствиях, рассказы о спасении людей во время наводнения и проч. Вторая половина книги занята официальными документами, правительственными распоряжениями, отчетами о суммах, собранных для помощи постра-

---

[2] Далее в тексте «Литературных листков» следует продолжение, содержащее «таблицу всех наводнений, бывших в Петербурге от построения». Автор, упоминая «о бедствиях сего же рода, постигших другие страны и причинивших там гораздо более вреда», желал доказать, что «наводнения не всегда зависят от приморского местоположения». Эти таблицы, как и рассуждения Булгарина о наводнениях, не вошли в «Известие», составленное В. Н. Берхом, но они характерны как показатель общественной тревоги, возникшей после наводнения 7 ноября, сомнений в целесообразности построения Петербурга (не только укрепленного торгового порта, но и столицы, политического и культурного центра государства) на месте, подверженном разрушительным наводнениям, и упреков за это, обращенных к Петру I.

давшим, и об их использовании, и т. п. Вся книга носит строго официальный, верноподданнический и ханжеский характер. Количество погибших явно преуменьшено — всего 480 человек; ни одного случая гибели людей не вошло в раздел «Происшествий, заслуживающих особенного внимания». Лишь вскользь упоминается о том, что работники казенного чугунного завода, отпущенные по домам в начале наводнения, чтобы подать помощь своим семействам, «принуждены были сами искать спасения своего в верхнем жилье завода и на крышах, откуда должны были с ужасом видеть, как погибали жены и дети их» (с. 15—16); да еще, рассказав о том, как чиновник N. N., сначала с ужасом увидевший разрушенным свой новый дом, потом неожиданно нашел все свое семейство, спасшееся «в старой хижине», автор замечает: «Увы! многие не были столь счастливы: некоторые возвращались в домы свои на Васильевском острову, в Галерной гавани, в Коломне единственно для того, чтобы отдать последний долг своим родным и ближним» (с. 76).

Большой интерес представляет приложенный к книге план Петербурга и его ближайших окрестностей с обозначением — разными оттенками голубой краски — частей города, залитых наводнением, и глубины воды в разных местах.

Знал ли Пушкин книгу Аллера, неизвестно. Но вся его «Петербургская повесть», говорящая о бессилии царя, о «бесчувствии холодном» людей, переживших наводнение, о том, как влачил «свой несчастный век» безумный Евгений, является опровержением той официальной лжи, которой проникнута эта книга.

Описание наводнения в С.-Петербурге и окрестностях оного

Еще 6 числа ноября, особенно к вечеру, сильный юго-западный ветр, воздымавший ужасными порывами своими воду в реках и каналах Петербурга до самых берегов, казалось, предвещал столице грозное бедствие. Но бо́льшая часть жителей оной, как юные воины на поле брани, не испытав еще опасности, оставались спокойными зрителями, тем более что к ночи ветр начал было несколько утихать; несмотря на то, однако ж, зажженные фонари, для означения необыкновенного возвышения воды, с адмиралтейской башни не были снимаемы и пушечные выстрелы слышны были неоднократно в продолжении ночи. 7-‹го› числа рано поутру ветр сильно начал увеличиваться, а в 10 часу превратился в ужасную бурю, которая не токмо срывала крыши с домов и вырывала большие деревья с корнями, но даже обратила естественное течение самой Невы в противную сторону.

В то время было до 6 град‹усов› тепла по Реомюрову термометру; барометр опустился чрезвычайно низко, почти до 27 д‹юймов›, а воздух сделался весьма густ.

В 10 часов вода начала выступать из берегов, и в начале 12 часа наводнились уже две трети города, и только бо́льшая половина Литейной и Московской частей, также Каретная и Рожественская, кроме некоторых прибрежных мест, оставались непонятыми водою.

Таким образом, вода с чрезмерною скоростию возвышалась до 3 часа. Между тем немногие предвидели предстоящее несчастие; иные смотрели с любопытством, как вода из решеток подземных труб била фонтанами, другие, примечая постепенное возвышение оной, вовсе не заботились о спасении собственности и даже жизни своей, пока наконец вдруг

в улицы со всех сторон не хлынула вода, которая заливала экипажи, потопляла нижние жилья домов, ломала заборы, разрушала мостки, крыльца, фонарные столбы и несущимися обломками выбивала не токмо стекла, но даже самые рамы, двери, перилы, ограды и проч. — Тогда всеобщее смятение и ужас объяли жителей. Никто не знал, за что взяться, ибо редкий находился там, где ему надлежало быть. В полдень улицы представляли уже быстрые реки, по коим носились барки, гальоты, гауптвахты, будки, крыши с домов, дрова, всякий хлам, трупы домашнего скота и проч.

Среди порывов ужасной бури повсюду слышны были крик отчаянных людей, ржание коней, мычание коров и вой собак. В сие самое время из средины города придворные конюхи и служители частных людей спешили в брод на возвышенную часть оного для спасения сих животных. Многие, особенно приезжие, извозчики, торгующие крестьяне и прочего звания люди, быв застигнуты внезапным наводнением на улицах и площадях и не зная высшей части города, стремились для спасения себя и лошадей своих туда, где вода по низости места была гораздо выше и где они делались жертвою яростных волн. Домашний скот, преимущественно лошади, находясь на воле, не на привязи, спасался сам, где только мог приметить возвышение; напротив того, бывший в конюшнях и в хлевах, коего не успели из сего заключения освободить, большею частию погиб, особенно оттого, что повсюду полы, не прибитые гвоздями, были силою воды подняты, и несчастные животные проваливались. Во многих домах вторые и третьи этажи представляли конюшни.

Вскоре люди начали ездить по улицам на шлюпках, лодках, катерах и даже плотах для спасения утопавших; но ветр был так силен, что собственная их жизнь была в опасности, и они сами принуждены были искать спасения на дворах, из коих некоторые, будучи окружены большими строениями и находясь в защите от ветра, служили им как бы гаванью.

По разлитии воды Исаакиевский мост, представлявший тогда крутую гору, был силою бури разорван на части, которые понеслись против течения реки в разные стороны, так, что несколько флахшкотов оного, с находившимися в то время на них людьми, взошли на возвышенный берег Адмиралтейства. Большая часть прочих мостов не устояла также против ужасной бури.

Нева разъяренная представляла страшную и плачевную картину. По ней неслись с Васильевского острова к Охте барки с сеном, дровами, угольями, плоты бревен, гальоты, разные суда и обломки строений, на коих погибавшие с распростертыми руками молили о спасении. Даже по некоторым улицам видны были подобные суда с грузом. Плывшие по оным дрова, бревна, доски и прочие строительные материалы покрывали в иных местах всю поверхность воды. Самое же ужаснейшее зрелище было в Галерной гавани и на казенном чугунном заводе. В гавани многие домы могли бы еще устоять против ярости волн и ветра, если б не претерпели величайшего вреда от больших судов, носившихся там с такою

быстротою, что и твердые домы, на кои они находили, мгновенно разрушались, и многие люди, коих жилища таким образом сносились, спасали жизнь свою на тех же самых судах, от которых претерпевали толь ужасное бедствие. Однако ж те домы, кои были под защитою больших деревьев, уцелели наружностию своею более, нежели другие, стоявшие на открытых местах. От купеческой биржи и других торговых мест плыли брусья красного дерева, бочки и тюки с товарами. С Смоленского кладбища, где были разрушены самые твердые памятники с железными оградами, неслись во множестве деревянные кресты с могил и проч.

И так вода прибывала до 2 часов и каждым дюймом увеличивала отчаяние устрашенных жителей, как вдруг барометр неожиданно поднялся до 30 д‹юймов› и вода приостановилась на четверть часа; а в четверть третьего начала вдруг сбывать гораздо с большею скоростию, нежели с какою прибывала ‹...›

Вслед за сим настигла ночная темнота, и в тот вечер невозможно еще было узнать о всех бедствиях сего памятного и рокового дня, кои представлялись жителям не столь ужасными, каковыми они были на самом деле. Едва однако ж уменьшилась несколько вода, как возникло, несмотря на темноту, сообщение по улицам: те, коих вода застигла на дороге или кои принуждены были искать спасения своего в незнакомых домах, отправились еще по пояс в воде к жилищам своим, чтобы обрадовать домашних своих, или пешком, или на таких экипажах, какие только могли найти по дороге. Но что было вернее и безопаснее: идти ли пешком по воде или ехать на чем-нибудь? Улицы были завалены всяким хламом, плававшим по воде, а среди самых мостовых у решеток над подземными трубами сделались прососы, в кои проваливались экипажи с лошадьми; на Васильевском же острове и Петербургской стороне, где только над канавами по улицам находились деревянные тротуары и мостки, была величайшая опасность даже переходить или переезжать из одного дома в другой. Притом не было никакой возможности засветить по улицам фонари: ибо те из них, кои были прикреплены к стенам домов, повредились от ветра, а другие, находившиеся на особых деревянных столбах, были или опрокинуты или даже снесены водою; да и продолжавшийся во все время ветр служил к тому величайшим препятствием.

Вода не прежде, как после полуночи, стекла с улиц, да и то не со всех. К утру сделался мороз. Стужа сия особенно чувствительна была для тех, кои во время наводнения спасались не в жилых строениях, но на чердаках, крышах, деревьях и подобных возвышенных местах, быв лишены пищи и сухой или теплой одежды ‹...›

На другой день рано поутру народ уже толпился по тем улицам, где взорам оного представлялися следы столь разрушительного и ужасного дня. По всем сторонам видны были кружки людей, внимательно и с сокрушением слушавших известия о всех злосчастиях после наводнения.

Вскоре сделалось известным, что наиболее потерпели: бо́льшая часть Васильевского острова, в особенности Галерная гавань, где вода подымалась на 16 футов, Коломна, Екатерингоф с близлежащими островами,

преимущественно Канонерский остров и казенный чугунный завод, также Петербургская сторона, с окружающими оную островами, и Выборгская часть города. Почти во всех сих местах остались только кое-где заборы; строения же, как жилые, так и нежилые, почти все повреждены более или менее, смотря по местному их положению, а некоторые из оных даже совсем не найдены на местах. Конечно, в Адмиралтейских частях и везде, где строение каменное, сие наводнение не имело столь пагубных последствий; однако потопление всего нижнего жилья, разного рода магазинов, лавок, лабазов и погребов, из коих не было возможности в столь короткое время спасти товары и запасы, нанесло несметные потери в торговом и хозяйственном отношении. На одной только Бирже убыло до 300 000 пудов сахару. Соли исчезло не менее сего количества, а хлебного вина более, нежели на полмиллиона рублей. Потеря в поташе хотя велика, но не столь значительна, а пеньки разнесено и подмочено около 600 000 пудов; однако ж значительная часть оной была спасена и весною уже по разным удобным местам высушена. Виноградные вина в бочках не мало повредились; находившиеся же в закупоренных бутылках нисколько не попортились. Мука в кулях повредилась только по поверхности, во внутрь оных вода не прошла; напротив того крупа и овес, подмоченные, сделались совершенно негодными к сохранению, а впоследствии и к употреблению, так, как и все колониальные товары ‹...›

На другой день после наводнения Галерная гавань представляла вид ужаснейших развалин: там большие суда и гальоты лежали во множестве по улицам и дворам; в некоторых местах, где были ряды домов, сделались площади; поперек улиц стояли и лежали снесенные домы и крыши; разными обломками и домашнею утварью была бóльшая часть улиц так завалена, что почти не было возможности пройти. Не менее сего загромождена была дорога оттуда до 9-й линии, где со всех сторон под грудами развалин видны были трупы людей и домашнего скота. Множество животных лежали полумертвыми от усталости после борьбы с волнами. У здания 1-го Кадетского корпуса стояла на улице большая барка с сеном, на площади у Коллегий две такие же и по Большому проспекту, между второю и третьею линиями, две барки с дровами. По всем линиям разбросаны были заборы, палисады, мостки и даже в некоторых брусья красного дерева; берега же Невы были завалены судами, будками и разным хламом. Стоявший на Малой Неве рыбный садок находился на берегу у дома купца Никонова; к балкону сего дома примкнулись два больших транспортных судна, а в переулке у оного стояли два судна, из коих одно было весьма большое. Сельдяной буян, находившийся в 4‹-м› квартале Васильевской части, был силою бури снесен, и часть оного найдена на Петербургской стороне у Воскового завода. Черная речка, близ гавани в особенности, завалена была избами и всякого рода строениями. Даже по Среднему проспекту стояли небольшие домы, занесенные водою, а по Косой линии не было возможности пройти от заваливших оную изб, сараев и прочего строения. В Чекушах, где снесено множество домов, преимущественно повреждены были кожевенные заводы. В иных местах сде-

лалась такая перемена, что трудно было узнать и самую знакомую улицу, даже места жительства своего. Там люди принуждены были спасаться на плотах, кои сколачивали они из обломков строения; многие из них, спасая себя, спасали и других; но некоторые сделались жертвою их предприятия, подавая руку помощи их семействам, соседям и другим несчастным.

На Петербургской стороне вокруг деревянной церкви св. Троицы стояли на суше четыре величайших барки с угольями; площадь перед крепостью была покрыта дровами, судами и всяким лесом во множестве; на улицах найдены большие барки, лодки, заборы и разные обломки от строений, от чего едва было можно вскоре прочистить дорогу. Несколько флахшкотов от моста, соединявшего Каменный остров с Выборгскою стороною, находилось на даче графини Строгановой; берег же от сей дачи к Новой Деревне был покрыт разными судами.

Улица пред Летним садом, да и самый сад, завалены были дровами, бревнами, досками, деревянными крестами с могил; подле сада на возвышение набережной, к коему прикрепляется Троицкий мост, взошли два флахшкота сего моста, а между ими находилась барка. Даже гранитная набережная во многих местах так была повреждена, что самые тяжелые камни, служившие перилами и связанные толстым железом, опрокинуты были или в воду, или на берег; и прекраснейшая железная решетка, приготовленная у Суворовской площади для нового через Неву моста, не уцелела.

В Коломне по Торговой улице стоял на суше пароход, на коем пассажиры ездят в Кронштадт.

Значительно потерпели от сего наводнения и приморские стороны в С.-Петербургском уезде. Многие загородные домы по Петергофской дороге, деревни Тентелева, Емельяновка и Афтова подверглись бедственному положению; крестьяне сих деревень искали спасения своего от бурных волн на деревьях; более же всех потерпел казенный чугунный завод. С самого начала наводнения работники, число коих было весьма велико, получили приказание прекратить работу и возвратиться в жилища их, находившиеся в отдельных от завода казармах; но вода поднялась уже до такой степени, что они никак не могли подойти к своих квартирам и подать помощь своим семействам, а принуждены были сами искать спасения своего в верхнем жилье завода и на крышах, откуда должны были с ужасом видеть, как погибали жены и дети их. Также приморская часть Стрельны, Петергофа и Ораниенбаума потерпела немало; равным образом прибрежные строения по другой стороне взморья, начиная от Систербекской дороги вдоль по Выборгской стороне, как-то деревни: Старая, Новая и Никольская и все фабрики, заводы и другого рода заведения, расположенные по Выборгскому берегу Большой Невки к городу, испытали горестную участь в сей злополучный день.

Вообще по С.-Петербургскому уезду погибло в сие наводнение 224 человека, большею частию людей низкого класса; домов и строений разрушено 114, а повреждено оных наружно 173 и внутренно 14 <...>

Вообще в Петербурге и уезде оного в день наводнения погибло 480 человек, разрушено и снесено домов и строений 462, а повреждено снаружи 2039 и внутри 1642.

В одном только С.-Петербурге погибло лошадей, быков, коров и прочего домашнего скота 3609 голов, которые, по невозможности отвозить за город и закапывать в землю, были сожигаемы в разных местах <...>

Происшествия, заслуживающие особенное внимание

Генерал-адъютант Бенкендорф и флигель-адъютант полковник Герман были в день наводнения дежурными при государе императоре.

Среди порывов бури видимы были несущиеся по Неве суда, на коих люди молили с распростертыми руками о спасении их. Его величество, желав подать тем несчастным руку помощи, высочайше повелеть соизволил генералу Бенкендорфу послать 18-весельный катер Гвардейского экипажа, бывающий всегда на дежурстве близ дворца, для спасения утопавших. Генерал сей, внемля гласу усердия и неустрашимости, для поощрения морской команды, подвергавшейся явной опасности, сам перешел чрез набережную, где вода доходила ему до плеч, сел не без труда в катер, которым командовал мичман Гвардейского экипажа Беляев, и на опаснейшем плавании, продолжавшемся до трех часов ночи, имел счастие спасти многих людей от явной смерти <...>

Примерную дисциплину русского солдата доказал часовой л.-гв. Преображенского полка Михайла Петров, не оставлявший во время наводнения своего поста у Летнего сада, пока не приказал ему того ефрейтор Фома Малышев, подвергавшийся сам опасности для спасения его; ибо должен был брести к нему по пояс в воде и бороться с яростию валов, покрывавших тогда набережную.

Гвардейский гренадер, посланный с заставы с донесением, проходя Сенную, слышит вопль ребенка, плававшего на столе в нижнем этаже. Служивый останавливается, борется несколько времени с обязанностию службы и состраданием; но сие последнее чувство берет над ним верх; он, перекрестясь, кидается в воду и спасает ребенка. Между тем вода прибывает; он, нимало не колеблясь, кидает свой кивер, сажает ребенка на голову и таким образом выносит его из опасности <...>

О предположительных причинах наводнений, постигнувших многие места Европы

<...> Когда же рассвирепевший ветр помчался страшным ураганом по морям Немецкому и Балтийскому и погнал воды сих морей пред собою, возвышая их горами у берегов и стесняя в заливах, проливах и реках, в оные текущих, тогда и страны приморские претерпели наводнение, и тем ужаснейшее, что оно последовало быстро, неожиданно.

<...> Но самое великое бедствие произвел сей необыкновенный феномен на восточной оконечности Финского залива. Финляндия, подверженная всей ярости сего ветра, ибо на нее было главное стремление его, защитилась от наводнения высоким положением своим; некоторые только прибрежные острова претерпели оное; но низкая площадь Петербурга испытала всю его свирепость. Воды Балтийского моря, сжатые в Финском заливе, стеснились в устье Невы и, сильно возвысившись, остановили ее течение, обратили ее в противную сторону, потекли вверх по воде невской, и мгновенное потопление Петербурга было следствием сей борьбы вод. Жители гибнувшей столицы были удивлены стремительностию, с какою вода возвышалась в улицах, и, соразмеряя быстроту сего возвышения с силою и направлением свирепствовавшего ветра, видели ясно, что он один только был причиною бедствия их. Как скоро переменилось его направление, тотчас и вода остановилась на одном горизонте и скоро пошла на убыль. Если бы столь жестокий ветр, какой тогда свирепствовал в Петербурге, остался еще несколько часов в прежнем направлении своем, то единому богу известно, какая гибель могла бы постичь столицу сию. Но милосердный бог услышал вопли несчастных и укрощением ветра положил предел сим бедствиям <...>

А. С. ГРИБОЕДОВ

ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ПЕТЕРБУРГСКОГО НАВОДНЕНИЯ

Статья А. С. Грибоедова, написанная им в Петербурге, по свежим следам событий, очевидцем которых он был, предназначалась для помещения в сборнике, посвященном наводнению, задуманном Булгариным и Гречем. Сборник не вышел, по-видимому, вследствие запрещения печатать статьи вне указанных цензурою официозных рамок (см.: Русская старина, 1874, т. II, с. 673). Подлинник статьи, теперь неизвестно где находящийся, впоследствии вошел в число грибоедовских материалов, собранных Д. А. Смирновым, и был напечатан им в журнале «Русское слово» (1859, № 5, с. 69—74). В нашем издании статья публикуется по тексту «Русского слова».

С 1 июня 1824 по конец мая 1825 г. Грибоедов жил в Петербурге, на Торговой улице, за Театральной площадью, т. е., как он сам говорил, в Коломне, на низменной окраине города, и поэтому видел наводнение во всей его ярости, видел и описал больше гибнущих и погибших людей, нежели спасшихся. Можно, как кажется, высказать предположение, что Грибоедов, в марте—апреле 1828 г. встречаясь в Петербурге с Пушкиным, давал ему читать свою статью о наводнении; по крайней мере только в ней Пушкин мог прочесть о том, что «в эту роковую минуту государь явился на балконе».

Среди многочисленных описаний петербургского наводнения, известных по позднейшим (большей частью) воспоминаниям очевидцев — П. А. Каратыгина (начало 1870-х годов), А. В. Кочубея, А. Е. Розена и проч., статья А. С. Грибоедова несомненно дает самое неприкрашенное и откровенное изображение этой народной трагедии.

Я проснулся за час перед полднем; говорят, что вода чрезвычайно велика, давно уже три раза выпалили с крепости, затопила всю нашу Коломну. Подхожу к окошку и вижу быстрый поток; волны пришибают к возвышенным тротуарам; скоро их захлестнуло; еще несколько минут, и черные пристенные столбики исчезли в грозной новорожденной реке. Она посекундно прибывала. Я закричал, чтобы выносили что понужнее в верхние жилья (это было на Торговой, в доме В. В. Погодина). Люди, несмотря на очевидпую опасность, полагали, что до нас не скоро дойдет; бегаю, распоряжаю — и вот уже из-под полу выступают ручьи, в одно мгновенье все мои комнаты потоплены; вынесли, что могли, в приспешную, которая на полтора аршина выше остальных покоев; еще полчаса — а тут воды со всех сторон нахлынули. люди с частию вещей перебрались на чердак, сам я нашел убежище во 2-м ярусе у N. П. — Его спокойствие меня не обмануло: отцу семейства не хотелось показать домашним, чего надлежало страшиться от свирепой, беспощадной стихии. В окна вид ужасный: где за час пролегала оживленная, проезжая улица, катились ярые волны с ревом и с пеною, вихри не умолкали. К Театральной площади, от конца Торговой и со взморья, горизонт приметно понижается; оттуда бугры и холмы один на другом ложились в виде неудержимого водоската.

Свирепые ветры дули прямо по протяжению улицы, порывом коих скоро воздымается бурная река. Она мгновенно мелким дождем прыщет в воздухе и выше растет и быстрее мчится. Между тем в людях мертвое молчание; конопать и двойные рамы не допускают слышать дальних отголосков, а вблизи ни одного звука ежедневного человеческого; ни одна лодка не появилась, чтобы воскресить упадшую надежду. Первая — гобвахта какая-то, сорванная с места, пронеслась к Кашину мосту, который тоже был сломлен и опрокинут; лошадь с дрожками долго боролась со смертию, наконец уступила напору и увлечена была из виду вон; потом поплыли беспрерывно связи, отломки от строений, дрова, бревна и доски — от судов ли разбитых, от домов ли разрушенных, различить было невозможно. Вид стеснен был противустоящими домами; я через смежную квартиру П. побежал и взобрался под самую кровлю, раскрыл все слуховые окна. Ветер сильнейший, и в панораме пространное зрелище бедствий. С правой стороны (стоя задом к Торговой) поперечный рукав на место улицы между Офицерской и Торговой; далее часть площади в виде широкого залива, прямо и слева Офицерская и Английский проспект и множество перекрестков, где водоворот сносил громады мостовых развалин; они плотно спирались, их с тротуаров вскоре отбивало; в самой отдаленности хаос, океан, смутное смешение хлябей, которые повсюду обтекали видимую часть города, а в соседних дворах примечал я, как вода приступала к дровяным запасам, разбирала по частям, по кускам и их, и бочки, ушаты, повозки и уносила в общую пучину, где ветры

не давали им запружать каналы; все изломанное в щепки неслось, влеклось неудержимым, неотразимым стремлением. Гибнущих людей я не видел, но, сошедши несколько ступеней, узнал, что пятнадцать детей, цепляясь, перелезли по кровлям и еще неопрокинутым загородам, спасались в людскую, к хозяину дома, в форточку, также одна <девушка>,[1] которая на этот раз одарена была необыкновенною упругостию членов. Все это осиротело. Где отцы их, матери!! Возвратясь в залу к С., я уже нашел по сравнению с прежним наблюдением, что вода нижние этажи иные совершенно залила, а в других поднялась до вторых косяков 3-хстекольных больших окончин, вообще до 4-х аршин уличной поверхности. Был третий час пополудни; погода не утихала, но иногда солнце освещало влажное пространство, потом снова повлекалось тучами. Между тем вода с четверть часа остановилась на той же высоте, вдали появились два катера, наконец волны улеглись и потоп не далее простер смерть и опустошение; вода начала сбывать.

Между тем (и это узнали мы после) сама Нева против дворца и Адмиралтейства горами скопившихся вод сдвинула и расчленила огромные мосты Исаакиевский, Троицкий и иные. Вихри буйно ими играли по широкому разливу, суда гибли и с ними люди, иные истощавшие последние силы поверх зыбей, другие на деревах бульвара висели над клокочущей бездною. В эту роковую минуту государь явился на балконе. Из окружавших его один сбросил с себя мундир, сбежал вниз, по горло вошел в воду, потом на катере поплыл спасать несчастных. Это был генерал-адъютант Бенкендорф. Он многих избавил от потопления, но вскоре исчез из виду, и во весь этот день о нем не было вести. Граф Милорадович в начале наводнения пронесся к Екатерингофу, но его поутру не было, и колеса его кареты, как пароходные крылья, рыли бездну, и он едва мог добраться до дворца, откудова, взявши катер, спас нескольких.

Все по сю сторону Фонтанки до Литейной и Владимирской было наводнено. Невский преспект превращен был в бурный пролив; все запасы в подвалах погибли; из нижних магазинов выписные изделия быстро поплыли к Аничкову мосту; набережные различных каналов исчезали, и все каналы соединились в одно. Столетние деревья в Летнему саду лежали грядами, исторгнутые, вверх корнями. Ограда ломбарда на Мещан-

---

[1] Слово «девушка» прочитано предположительно. (*Ред.*).

ской и другие, кирпичные и деревянные, подмытые в основании, обрушивались с треском и грохотом.

На другой день поутру я пошел осматривать следствия стихийного разрушения. Кашин и Поцелуев мосты были сдвинуты с места. Я поворотил вдоль Пряжки. Набережные железные перилы и гранитные пилястры лежали лоском. Храповицкий ‹мост› отторгнут от мостовых укреплений, неспособный к проезду. Я перешел через него, и возле дома графини Бобринской середи улицы очутился мост с Галерного канала; на Большой Галерной раздутые трупы коров и лошадей. Я воротился опять к Храповицкому мосту и вдоль Пряжки и ее изрытой набережной дошел до другого моста, который накануне отправило вдоль по Офицерской. Бертов мост тоже исчез. По пловучему лесу и по наваленным поленам, погружаясь в воду то одною ногою, то другою, добрался я до Матиловых тоней. Вид открыт был на Васильевский остров. Тут, в окрестности, не существовало уже нескольких сот домов; один, и то безобразная груда, в которой фундамент и крыша — все было перемешано; я подивился, как и это уцелело. Это не здешние; отсюдова строения бог ведает куда унесло, а это прибило сюда с Ивановской гавани. — Между тем подошло несколько любопытных; иные, завлеченные сильным спиртовым запахом, начали разбирать кровельные доски; под ними скот домашний и люди мертвые и всякие вещи. Далее нельзя было идти по развалинам; я приговорил ялик и пустился в Неву; мы поплыли в Галерную гавань; но сильный ветер прибил меня к Сальным буянам, где на возвышенном гранитном берегу стояло двухмачтовое чухонское судно, необыкновенной силою так высоко взмощенное; кругом поврежденные огромные суда, издалека туда заброшенные. Я взобрался вверх; тут огромное кирпичное здание, вся его лицевая сторона была в нескольких местах проломлена, как бы десятком стенобитных орудий; бочки с салом разметало повсюду; у ног моих черепки, луковица, капуста и толстая связанная кипа бумаг с надписью: «№ 16, февр. 20. Дела казенные».

Возвращаясь по Мясной, во втором доме от Екатерингофского проспекта заглянул я в нижние окна. Три покойника лежали уже, обвитые простиралами, на трех столах. Я вошел во внутренний двор — ни души живой. Проникнул в тот покой, где были усопшие, раскрыл лица двоих: пожилая женщина и девочка с открытыми глазами, с оскаленными белыми зубами; ни малейшего признака насильственной смерти. До третьего тела я не мог добраться от ужаснейшей наносной грязи. Не знаю, трупы ли это утопленников, или скончавшихся иною смертию. На Торговой, недалеко от моей квартиры, стоял пароход на суше.

Необыкновенные события придают духу сильную внешнюю деятельность; я не мог оставаться на месте и поехал на Английскую набережную. Большая часть ее загромождена была частями развалившихся судов и их груза. На дрожках нельзя было пробраться; перешед с половину версты,

я воротился; вид стольких различных предметов, беспорядочно разметанных, становился однообразным; повсюду странная смесь раздробленных <...>[2]

Я наскоро собрал некоторые черты, поразившие меня наиболее в картине гнева рассвирепевшей природы и гибели человеков. Тут не было места ни краскам витийственности, от рассуждений я также воздерживался: дать им волю, значило бы поставить собственную личность на место великого события. Другие могут добавить несовершенство моего сказания тем, что сами знают; г<оспо>да Греч и Булгарин берутся его дополнить тем, что окажется истинно замечательным, при втором издании этой тетрадки, если первое скоро разойдется и меня здесь уже не будет.

Теперь прошло несколько времени со дня грозного происшествия. Река возвратилась в предписанные ей пределы; душевные силы не так скоро могут прийти в спокойное равновесие. Но бедствия народа уже получают возможное уврачевание; впечатления ужаса мало-помалу ослабевают, и я на сем останавливаюсь. В общественных скорбях утешен мыслию, что посредством сих листков друзья мои в отдаленной Грузии узнают о моем сохранении в минувшей опасности, и где ныне нахожусь и чему был очевидцем.

С. М. САЛТЫКОВА (ДЕЛЬВИГ)

ПИСЬМО К А. Н. СЕМЕНОВОЙ

Извлечение из письма Софьи Михайловны Салтыковой (1806—1888), вскоре (30 октября 1825 г.) ставшей женою А. А. Дельвига, печатается по тексту публикации в сборнике статей Б. Л. Модзалевского, изданном посмертно: Модзалевский Б. Л. Пушкин. — В кн.: Труды Пушкинского Дома АН СССР. Л., 1929, с. 136—139. Письмо это вошло в статью «Пушкин, Дельвиг и их петербургские друзья в письмах С. М. Дельвиг».[1] Отец ее, М. А. Салтыков (1767—1851), был высокопросвещенным человеком, близким еще в 1810-х годах к кругу передовых литераторов, составивших общество «Арзамас». Письма его дочери обращены к ее пансионской подруге А. Н. Семеновой, жившей в Оренбурге и вскоре вышедшей за известного впоследствии натуралиста и путешественника Г. С. Карелина. Подлинники писем С. М. Салтыковой-Дельвиг (числом 127, за 1824—1837 гг.) находятся

---

[2] Недописано. (*Ред.*).

[1] О С. М. Дельвиг (Салтыковой) см. также: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1975, с. 128.

в Пушкинском Доме. Все они, в том числе и публикуемое нами, написаны по-французски. Мы приводим его в переводе Б. Л. Модзалевского.

Рассказ С. М. Салтыковой о наводнении интересен своей непосредственностью, как впечатления очевидца. Приведенное в письме число погибших — 14 тысяч человек — конечно, преувеличено, но, быть может, ближе к истине, чем официальная цифра (у Аллера и др.) — 480—505. Рассказ о моряке Луковкине, жившем на Гутуевском острове и по возвращении домой со службы после наводнения не нашедшем «ни жены, ни детей, ни крова, ни единого следа своего жилища», мог стать известным Пушкину в годы его постоянного общения с Дельвигом и его женой (1827—1830) и дать материал к сюжету «Медного Всадника».

16 ноября 1824 г. Петербург.

Прошло восемь дней с тех пор, как я получила твое письмо от 18 октября за № 11. Перед тем как отвечать тебе, необходимо сообщить тебе грустную новость, которая в скором времени станет известна и всей России. 7-го ноября, в тот самый день, как я получила твое письмо, в городе и в окрестностях было страшное наводнение. Еще в течение ночи слышны были пушечные выстрелы, которые извещали население о необходимости принять меры против воды, которую сильный морской ветер заставлял выступать из берегов; но это не было еще так серьезно и угрожало только лицам, живущим близ Невы или Фонтанки и в первом этаже. Однако к утру ветер так усилился, что люди не могли больше выходить, боясь потерять шляпы; он еще усилился к 10-ти часам, и наконец три четверти города было залито водой; люди, ехавшие на дрожках, принуждены были вставать, чтобы не слишком промокнуть. На улицах было видно множество народа, бегущего и кричащего. Сначала это забавляло, но так длилось недолго: с каждой секундой опасность становилась все сильнее, наконец, в три часа дня появились волны почти на всех улицах; барки очутились на Невском, лавки, магазины были залиты водой; воцарился ужаснейший хаос, мосты были снесены, сломаны; были несчастные, которые тонули, не успевши спастись или не могши это сделать, так как невозможно было войти ни в один дом: вода достигала до 2-го этажа, в особенности у Фонтанки и у Невы. Но самая ужасная картина была на Васильевском острове, в Коломне и в Галерной гавани, где дома были снесены в Кронштадт; говорят, что их осталось очень мало. Даже на Моховой была вода, я ее видела собственными глазами; приходилось ездить на лодках. Конные караульные отряды потеряли множество лучших лошадей; ты, может быть, слышала про Королева, богатого купца, имевшего чудную лавку под английским магазином; он потерял на 100 000 руб. товару, а многие другие так и всё потеряли <...>

Некоторые из наших знакомых потеряли людей, вещи, лошадей, коров, а бедный Норов, со своей деревянной ногой, которому было так трудно спастись, потерял более чем на две тысячи рублей; для него это много, так как он имеет всего 4 или 5 тысяч в год. Нужно было видеть город на следующий день: сколько опустошения, сколько несчастных! Насчитывают 14 000 человек погибших и гораздо большее число совер-

шенно разорившихся и не имеющих даже крова. Каменный остров и вообще все острова в жалком положении. Екатерингоф, который стоил столько денег и про который говорили, что он так хорошо устроен, никуда теперь не годится. Казна понесла много потерь лошадьми, лесом и т. д. На другой и на третий день видны были барки, оставшиеся на улицах, у Зимнего дворца, на Царицыном лугу и пр. Парапеты испорчены, мосты сломаны; одним словом, Петербург представляет собой грустное зрелище, повсюду видны лишь похороны. Со Смоленского кладбища нанесло множество крестов к Летнему саду — на улицах лежали мертвые тела на другой день.

Государь дал миллион на несчастных, но сказал, что прибавит еще через некоторое время; и в самом деле, этого нехватит, так как потери ужасные; он много плакал над этим бедствием и хорошо наградил генерала Бенкендорфа, рисковавшего жизнью для спасения 9 несчастных, готовых погибнуть, что ему и удалось; один моряк 16-ти лет тоже отличился блистательным подвигом, за что получил Владимирский крест. Государь был тронут, увидав его поступок, и не замедлил тут же дать ему крест, который он взял у одного из своих флигель-адъютантов, находившегося тогда около него. Рассказывают много раздирающих сцен; между прочим, про некоего Луковкина, моряка, имевшего дом на Гутуевском острове — совсем близко от залива и, следовательно, на очень опасном месте. Была у него жена и трое детей, за которых он очень беспокоился в этот день, так как был дежурным и не мог вернуться до вечера. Наконец, когда он пришел домой, то не нашел ни жены, ни детей, ни крова, ни единого следа своего жилища — каково его состояние!

Граф Шереметев дал 50 000 руб. бедным пострадавшим; графиня Орлова — 150 000, великая княгиня Мария, которая теперь здесь, 15 000, но всего этого мало; нужно, чтобы вся Россия оказала помощь несчастным жителям Петербурга. Несомненно, что наводнение хуже всякого пожара; говорят, никогда не было ничего подобного, это будет целая эпоха в нашей истории, это вроде землетрясения, против которого нельзя принять никаких мер <...> Спектакли закрыты на месяц по приказу государя, который сказал: «Теперь не время веселиться». Всюду говорят только о наводнении; все это уже навязло в ушах, так в конце концов надоедает слушать все одно и то же. Нужна была бы целая тетрадь, чтобы описать тебе все, что случилось в этот ужасный день <...>

А. В. КОЧУБЕЙ

ЗАПИСКИ. (СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА) [1]

«Записки. (Семейная хроника)» Аркадия Васильевича Кочубея (1790—1873 или 1878), участника походов 1813—1815 гг., затем чиновника, орловского губернатора и впоследствии сенатора, были написаны им в 1860-х или даже в начале 1870-х годов. Однако их педантическая точность в изложении служебных или семейных событий позволяет думать, что он вел и более ранние памятные записи, к числу которых, возможно, принадлежат и введенные в настоящее издание «анекдоты» о петербургском наводнении. Первый из них — о сенаторе гр. Толстом — известен и в записи П. А. Вяземского;[2] он вошел в первую черновую рукопись «Медного Всадника», а также в Болдинскую беловую (БА). В последней он зачеркнут и в Цензурный автограф (ЦА) уже не вошел. Форма его, очень близкая в обеих записях (Вяземского и Кочубея) и в тексте Пушкина, показывает, что анекдот был широко известен и бытовал уже в устоявшейся стилистической обработке.

Второй анекдот — о спасении некоего Яковлева, просидевшего во время наводнения верхом на спине мраморного льва на крыльце дома кн. А. Я. Лобанова-Ростовского, — точно соответствует трагическому эпизоду поэмы, когда Евгений в отчаянии проводит много часов «на звере мраморном верхом...» (стихи 220—250 «Медного Всадника»). Очевидно, и этот рассказ был распространен в городе, и Пушкин, узнав его от друзей — очевидцев наводнения, воспользовался им как материалом для своей поэмы.

‹...› Мы приехали в Петербург за несколько дней до наводнения.

Настало 7 ноября 1824 года, день столь памятный для Петербурга ‹...› Вставши поутру с постели и подошед к окну, я увидал, что посредине улицы начала показываться вода. В это время возвратился из Гостиного двора мой дворецкий, ходивший за разными покупками, и объявил нам, что дует сильный западный ветер и вода в каналах уже значительно поднялась.

‹...› Между тем наводнение увеличивалось, и в скором времени на Большой Морской улице показалась шлюпка, на которой ехал военный генерал-губернатор граф Милорадович.

По поводу появления этой шлюпки случился интересный анекдот с графом Варфоломеем Васильевичем Толстым, живущим в Большой Морской. Граф Толстой имел привычку вставать очень поздно. В это достопамятное утро, поднявшись с постели и накинув на себя халат, он еще полузаспанный подошел к окну, и первый предмет, бросившийся ему в глаза, была шлюпка с сидящим в ней графом Милорадовичем. Увидев шлюпку, он изумился и испугался; протирая себе глаза, он начал звать своего камердинера. Тот прибежал к нему, и граф, указывая на окно, спросил его:

— Что ты видишь? — Генерал-губернатор едет на шлюпке, — отвечал тот. — Толстой перекрестился и сказал: — Ну, слава богу, а я думал, что сошел с ума.

---

[1] Печатается по тексту: Семейная хроника. Записки А. В. Кочубея. 1790—1873 СПб., 1890, с. 203—205.

[2] Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. VIII. СПб., 1883, с. 126—127.

Другой случай в день наводнения был с каким-то Яковлевым: он прогуливался по городу, и когда вода начала уже прибывать, спешил домой; но, подойдя к дому князя Лобанова (теперешнему военному министерству), он с ужасом увидел, что вода препятствует ему идти далее. Для спасения жизни Яковлев решился влезть на одного из львов, стоявших у этого дома, и там просидел все время наводнения.

Ветер и буря продолжались до восьми или девяти часов вечера.

Как только вода начала спадать, мы тотчас же послали узнать о здоровье братьев моих и тетушки Натальи Кирилловны Загряжской. Оказалось, что братья, для того чтобы спасти своих лошадей, принуждены были ввести их во второй этаж, положив в окно доску. Сами же они в этот достопамятный день остались совершенно без обеда ‹...›

На другой день мы с женой поехали осматривать разрушения, причиненные наводнением: зрелище было плачевное. На Царицыном лугу мы увидели несколько барок, занесенных на эту площадь водою. В Миллионной встретили мы государя Александра Павловича, который казался очень встревоженным ‹...›

В Петербурге все очень скоро забывается, и через несколько дней после наводнения жизнь опять приняла свое течение. По вечерам мы посещали общество и театр ‹...›

VI. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОН ПОЭМЫ

Ряд произведений русских и западных авторов — поэтов, публицистов, мыслителей конца XVIII и первой трети XIX в., в той или иной мере отразившихся на идейном (точнее, историко-философском) содержании и художественной системе «Медного Всадника», составляет то, что можно определить как «литературный фон» поэмы. Некоторые из этих авторов названы самим Пушкиным в примечаниях к «Петербургской повести»: Мицкевич, П. А. Вяземский, Альгаротти; особое место занимают В. Г. Рубан, упомянутый в тех же примечаниях в связи с Мицкевичем, и Д. И. Хвостов, которому посвящено три с половиной стиха в тексте поэмы. Но кроме этих, указанных самим поэтом авторов, нужно назвать еще несколько имен: А. Н. Радищев, К. Н. Батюшков, Н. И. Гнедич, Жозеф де Местр, С. П. Шевырев.

Произведения Ломоносова, Державина и других поэтов XVIII в., посвященные Петру Великому — преобразователю России и основателю Петербурга, не требуют специальных пояснений. Они были хорошо известны Пушкину с лицейских и даже с детских лет и возглавляли всю поэтическую традицию XVIII в. Широкий и внимательный анализ материалов, связывающих поэму Пушкина с поэзией XVIII в., дал Л. В. Пумпянский в исследовании, озаглавленом «„Медный Всадник" и поэтическая традиция XVIII века».[1]

О восьмистишии В. Г. Рубана, посвященном перевозке в Петербург «Гром-камня», предназначенного стать пьедесталом памятнику Петра — «Медному Всаднику», см. в наших примечаниях к поэме (с. 270), так же как и о графе Хвостове, «воспевшем», по выражению Пушкина, «бессмертными стихами» петербургское наводнение (с. 268—269).

Из числа художественных произведений, оказавших то или иное воздействие на мысль, построение, образность «Петербургской повести» Пушкина, мы рассмотрим здесь несколько подробнее лишь те, которые в силу различных соображений в настоящем издании не публикуются.

Указывая во втором примечании к «Медному Всаднику» на «стихи кн. Вяземского к графине З***», Пушкин ссылался на его стихотворение, напечатанное под заглавием «Разговор 7 апреля 1832 года (Графине Е. М. Завадовской)» в изданном А. Ф. Смирдиным сборнике «Новоселье» (СПб., 1833). Пушкин имел здесь в виду прежде всего третью строфу стихотворения Вяземского:

Я Петербург люблю с его красою стройной,
С блестящим поясом роскошных островов,
С прозрачной ночью — дня соперницей беззнойной,
И свежей зеленью младых его садов,

а также повторяющиеся в следующей строфе слова:

Я Петербург люблю...

[1] Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, вып. 4—5. М.—Л., 1939, с. 91—124.

Эти стихи могли подсказать Пушкину лирические обращения к Петербургу («Люблю тебя, Петра творенье. . .» и т. д.), повторяющиеся пять раз во Вступлении к поэме.

К литературному фону «Медного Всадника» можно с известным основанием причислить и описание летней белой ночи над Невою в идиллии Н. И. Гнедича «Рыбаки», написанной в 1821 г. и напечатанной в следующем году (Сын отечества, 1822, ч. LXXVI, № 8). Пушкин привел 28 стихов из этого описания (в ранней, позднее переработанной Гнедичем редакции) в примечании 8 к строфе XLVII первой главы «Евгения Онегина» (в первом полном издании романа, вышедшем в свет около 23 марта 1833 г.) с такими вступительными словами: «Читатели помнят прелестное описание петербургской ночи в идиллии Гнедича».[2] Это описание могло вспомниться поэту и при создании стихов 48—58 «Медного Всадника».

Реминисценцией отрывка из той же идиллии Гнедича, в котором говорится о «высоком тереме» «на Неве»:

Из камня, где львы у порога стоят как живые, —

являются, вероятно, стихи 220—224 «Медного Всадника», изображающие дом «на площади Петровой»,

Где над возвышенным крыльцом
С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые.

Из литературного наследия Жозефа де Местра наибольшее значение для нашей темы имеет книга «Санктпетербургские вечера, или Беседы о временно́м правительстве Провидения», вышедшая в Париже в 1821 г., уже после смерти автора. В библиотеке Пушкина сохранилось ее второе издание, 1831 г.,[3] однако это не значит, что Пушкин не мог читать ее раньше. Есть все основания думать, что он познакомился с трудом де Местра вскоре по выходе его первого издания, живя в Кишиневе в 1821—1823 гг.[4] Об этой «знаменитой книге», первое же издание которой вызвало «громкую полемику не в одной лишь Франции», академик М. П. Алексеев пишет: «„Петербургские вечера“ де Местра представляют собою, как известно, серию философских диалогов (числом 11), которые ведут между собою в Петербурге в 1809 г. три лица: сам автор, петербургский сенатор и молодой французский эмигрант, бежавший из Франции „во время революционной бури“. Первый диалог развертывается во время прогулки по Неве; автор начинает свою книгу живописной панорамой Петербурга в теплую белую ночь, открывающейся собеседникам с лодки, медленно скользящей по глади реки. Многое должно было увлечь и Пушкина в этой с подлинным литературным блеском написанной картине ‹. . .› Де Местр подробно описывает Неву, полноводно текущую в лоне великолепного города ‹. . .› Медленно плывет лодка по Неве, и собеседники внимают красоте пейзажа и тишине ночи. . . Но вот возникает перед ними видная с Невы „конная статуя Петра I, возвышающаяся на краю необъятной Исаакиевской площади“. . .». И далее: «Читая эти вступительные страницы к знаменитой книге де Местра, трудно отделаться от впечатления, что какие-то нити протягиваются

---

[2] *Акад.*, VI, 191—192; ср.: Гнедич Н. И. Стихотворения. Л., 1956 (Б-ка поэта. Большая серия. Изд. 2-е), с. 199—200.

[3] Les Soirées de Saint-Pétersbourg, ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence... Par M. le Comte J. de Maistre... Seconde édition. Lyon. 1831. См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина. — В кн.: Пушкин и его современники, вып. IX—X. СПб., 1910, с. 279, № 1123.

[4] Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1972, с. 203—207.

от них к чеканным строфам „Медного Всадника“; и для Пушкина, и для де Местра „кумир с простертою рукою“, бронзовый облик того,

...чьей волей роковой
Под морем город основался...

стал художественным предлогом для больших историософских обобщений, для решения, хотя и в совершенно противоположном де Местру смысле, проблемы добра и зла в сфере государственных и личных отношений».[5]

Об интересе Пушкина к сочинениям де Местра свидетельствуют отзыв его в «Литературной газете» об одном эпизоде из «Петербургских вечеров» — «Портрет палача» и письмо поэта к А. И. Тургеневу, где он касается католических симпатий Чаадаева и его «предтечей» — «Мейстера» (т. е. де Местра) и прочих.[6] В библиотеке Пушкина сохранилась также другая книга де Местра — «О папе» («Du pape»), привезти которую он просил А. И. Тургенева, уезжавшего за границу.[7]

Отмеченное М. П. Алексеевым отражение в «Медном Всаднике» вступительных картин белой ночи на Неве из «Петербургских вечеров» очень убедительно, хотя де Местр Пушкиным здесь не назван. Однако гуманистическая сущность пушкинской поэмы, сочувствие автора к своему «ничтожному герою» и его восстанию против «строителя чудотворного» — все это враждебно реакционным, ультра-абсолютистским убеждениям де Местра, вождя католической и легитимистской реакции в Европе.[8]

А. Н. РАДИЩЕВ

ПИСЬМО К ДРУГУ (1782)

Статья Радищева «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания своего», посвященная открытию памятника Петру Первому в Петербурге, датирована самим автором 8 августа 1782 г., т. е. написана на другой день после торжества.

Напечатана же она была Радищевым через восемь лет после создания, в 1790 г., и тем же способом, как и «Путешествие из Петербурга в Москву», — в собственной типографии автора. После ареста Радищева «Письмо» было приобщено к «делу»; Екатерина II расценивала его как документ, показывающий, что «давно мысль его (Радищева, — *Н. И.*) готовилась по взятому пути, а французская революция его решила себя определить в России первым подвизателем».[1]

Отобранные экземпляры «Письма» были уничтожены вместе с экземплярами «Путешествия». В посмертное собрание сочинений Радищева (1807—1811), выпущенное его сыновьями, «Письмо к другу» не вошло, и его первое издание (1790), по словам собирателя и исследователя редких книг Н. П. Смирнова-Сокольского, представляет «одну из редчайших книг во всей „радищевиане“. В настоящее время книги этой известно не более 6—7 экземпляров».[2]

---

[5] Там же, с. 204—205.
[6] *Акад.*, XI, 94; XIV, 191, 205.
[7] Пушкин и его современники, вып. IX—X, с. 228, № 896.
[8] См.: Нольман М. Л. Полемическое начало в поэме «Медный Всадник». — Учен. зап. Костромского гос. пед. ин-та, 1966, вып. 13. Вопрос этот, однако, нуждается еще в дальнейшем исследовании.
[1] См.: Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. I. М.—Л., 1938, с. 461.
[2] Смирнов-Сокольский Ник. Рассказы о книгах. М., 1959, с. 92—94.

Читал ли Пушкин это раннее сочинение Радищева — документально не известно. Но, зная пристальный интерес его в 30-х годах к творчеству Радищева и сопоставляя мысли, высказанные в «Письме», с историко-философской концепцией «Медного Всадника», следует признать знакомство с ним поэта очень вероятным, если не несомненным, и во всяком случае включить «Письмо» Радищева в литературный фон «Петербургской повести» Пушкина.

В своем «Письме» Радищев, отдавая дань заслугам Петра — «мужа необыкновенного, название великого заслужившего правильно», вспоминает и о том, что тот был «властный самодержавец, который истребил последние признаки дикой вольности своего отечества»: «И я скажу, что мог бы Петр славнее быть, вознося себя сам и вознося отечество свое, утверждая вольность частную». В этих сентенциях Радищева Пушкин мог (если читал «Письмо») найти подтверждение историко-философским положениям, легшим в основу его поэмы о Петре Великом.

Санктпетербург. 8 августа 1782-го года.

Вчера происходило здесь с великолепием посвящение монумента, Петру Первому в честь воздвигнутого, то есть открытие его статуи, работы г. Фальконета <...>

В день, назначенный для торжества, во втором уже часу пополудни, толпы народа стекалися к тому месту, где зреть желали лице обновителя своего и просветителя. Полк<и> гвардии Преображенский и Семеновский, бывшие некогда сотоварищи опасностей Петровых и его побед, также и другие полки гвардии, тут бывшие под предводительством начальников своих, окружили места позорища, артиллерия, кирасирский Новотроицкий полк и Киевский пехотный заняли места на близлежащих улицах. Все было готово, тысячи зрителей на сделанных для того возвышениях и толпа народа, рассеянного по всем близлежащим местам и кровлям, ожидали с нетерпением зрети образ того, которого предки их в живых ненавидели, а по смерти оплакивали. Истинно бо есть и непреложно: достоинство заслуги и добродетель привлекают ненависть нередко и самих тех, кои причины не имеют их ненавидеть; когда же вина и предлог ненависти исчезает, то и она не отрицает им должного, и слава Великого Мужа утверждается по смерти. Соорудившая монумент славы Петра императрица Екатерина, сев на суда у летнего своего дома, прибыла к пристани, вышед на берег, шествовала на уготованное при сенате ей место, между строя воев своих. Едва вступить она успела на оное, как бывшая вокруг статуи заслона, помалу и неприметно как, опустилася. И се явился паки взорам нашим седящ на коне борзом в древней отцов своих одежде Муж, основание града сего положивший и первый, который на невских и финских водах воздвиг российский флаг, доселе не существовавший. Явился он взорам любезных чад своих сто лет спустя, когда впервые тропещущая его рука, младенцу ему сущу, прияла скипетр обширныя России, пределы коея он расширил столь славно <...>

<...> Пушечная пальба со стоящих на реке судов, с крепости и адмиралтейства и троекратный беглый огонь возвещали отсутственным явление образа, приведшего силы пространныя России в действие. Стоявшие в строю полки ударили поход, отдавая честь, и с преклонными знаменами

шли мимо подавшего им первый пример слепого повиновения воинской подчиненности, показывая учредителю своему плоды его трудов, при продолжающейся военных судов пальбе, которые сардамскому плотнику в честь украсилися многочисленными флагами. Сей день ознаменован прощением разных преступников и медалию, сделанною в честь обновителя России.

Статуя представляет мощного всадника на коне борзом, стремящемся на гору крутую, коея вершины он уже достиг, раздавив змею, в пути лежащую и жалом своим быстрое ристание коня и всадника остановить покусившуюся. Узда простая, звериная кожа вместо седла, подпругою придерживаемая, суть вся конская сбруя. Всадник без стремян, в полукафтанье, кушаком препоясан, облеченный багрянипею, имеющ главу, лаврами венчанную, и десницу простертую. Из сего довольно можешь усмотреть мысли изваятеля. Если б ты здесь был, любезный друг, если бы ты сам видел сей образ, ты, зная и правилы искусства, ты, упражняяся сам в искусстве, сему собратном, ты лучше бы мог судить о нем. Но позволь отгадать мне мысли творца образа Петрова. Крутизна горы суть препятствия, кои Петр имел, производя в действо свои намерения; змея, в пути лежащая, коварство и злоба, искавшие кончины его за введение новых нравов; древняя одежда, звериная кожа и весь простой убор коня и всадника суть простые и грубые нравы и непросвещение, кои Петр нашел в народе, который он преобразовать возвамерился; глава, лаврами венчанная, — победитель бо был прежде, нежели законодатель; вид мужественный и мощный и крепость преобразователя; простертая рука покровительствующая, как ее называет Дидеро, и взор веселый суть внутренное уверение достигшия цели, и рука простертая являет, что крепкия муж, преодолев все стремлению его противившиеся пороки, покров свой дает всем, чадами его называющимся. Вот, любезный друг, слабое изображение того, что, взирая на образ Петров, я чувствую. Прости, буде я ошибаюся в моих суждениях о искусстве, коего правила мне мало известны. Надпись сделана на камне самая простая: *Петру Первому, Екатерина Вторая, Лета 1782-го.*

Петр по общему признанию наречен великим, а сенатом — отцом отечества. Но за что он может великим назваться? Александр, разоритель полусвета, назван великим; Константин, омывыйся в крови сыновней, назван великим; Карл, первый возобновитель Римския империи, назван великим; Лев, папа римский, покровитель наук и художеств, назван великим; Козма Медицис, герцог Тосканский, назван великим; Генрих, добрый Генрих IV, король французский, назван великим; Людвиг XIV, тщеславный и кичливый Людвиг, король французский, назван великим; Фридрих II, король прусский, еще при жизни своей назван великим. Все сии владетели, о множестве других не упоминая, коих ласкательство великими называет, получили сие название для того, что исступили из числа людей обыкновенных услугами к отечеству, хотя великие имели пороки. Частный человек гораздо скорее может получить название великого, отличаяся какой-либо добродетелию или качеством, но правителю

народов мало для приобретения сего лестного названия иметь добродетели или качества частных людей. Предметы, над коими разум и дух его обращается, суть многочисленны. Посредственный царь исполнением одной из должностей своего сана был бы, может быть, великий муж в частном положении; но он будет худой государь, если для одной пренебрежет многие добродетели. И так вопреки женевскому гражданину[1] познаем в Петре мужа необыкновенного, название великого заслужившего правильно.

И хотя бы Петр не отличился различными учреждениями, к народной пользе относящимися, хотя бы он не был победитель Карла XII, то мог бы и для того великим назваться, что дал первый стремление столь обширной громаде, которая, яко первенственное вещество, была без действия. — Да не уничижуся в мысли твоей, любезный друг, превознося хвалами столь властного самодержавца, который истребил последние признаки дикой вольности своего отечества. Он мертв, а мертвому льстити не можно! И я скажу, что мог бы Петр славнее быть, возносяся сам и вознося отечество свое, утверждая вольность частную; но если имеем примеры, что цари оставляли сан свой, дабы жить в покое, что происходило не от великодушия, но от сытости своего сана, то нет и до скончания мира примера, может быть, не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своея власти, седяй на престоле.

К. Н. БАТЮШКОВ

ПРОГУЛКА В АКАДЕМИЮ ХУДОЖЕСТВ

Статья К. Н. Батюшкова «Прогулка в Академию художеств» написана в 1814 г., вскоре по возвращении его в Петербург из заграничного похода, и опубликована, с подзаголовком «Письмо старого московского жителя к приятелю в деревне его Н.», в декабрьских номерах журнала «Сын отечества».[1]

Статья вошла в первое издание сочинений Батюшкова — «Опыты в стихах и в прозе» (1817), и Пушкин не мог тогда же не познакомиться с ней. Основным содержанием статьи являются описание выставки картин и скульптуры в залах Академии художеств и суждения о них автора, в которых Батюшков, по позднейшей оценке Белинского, «является страстным любителем искусства, человеком, одаренным истинно артистическою душою».[2] Но к созданию «Медного Всадника» имеют отношение не суждения Батюшкова о выставке, а вступительная часть статьи — размышления о том, «что было на этом месте до построения Петербурга?»,

---

[1] Ж.-Ж. Руссо, отрицавшему в своем «Общественном договоре» не только заслуги Петра, но и способность русского народа к созданию гражданского порядка и восприятию культуры. (*Ред.*).

[1] Сын отечества, 1814, ч. 18, № XLIX, 3 декабря, с. 121—123; № L, 10 декабря, с. 161—176; № LI, 17 декабря, с. 201—215.

[2] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1955, с. 254.

и образ Петра, который «в первый раз обозревал берега дикой Невы». Все это в переработанном и сжатом виде нашло отражение в стихах 1—38 Вступления к «Медному Всаднику».

Известное значение для изображения в поэме Пушкина памятника Петру и для спора о нем Пушкина с Мицкевичем имеет дальнейший отрывок статьи Батюшкова, посвященный сопоставлению двух античных конных статуй — консула Бальбуса и императора Марка Аврелия — с монументом Петра, двух коней римских монументов с фальконетовым конем.

Статья Батюшкова представляется наиболее близким к поэме Пушкина элементом ее литературного фона, отразившимся в построении Вступления к ней и, в известной мере, в ее историко-философском содержании, и эта близость отмечена в критике уже давно.[3]

Ты требуешь от меня, мой старый друг, продолжения моих прогулок по Петербургу. Повинуюсь тебе.

На этот раз я буду говорить об Академии художеств, которая после двадцатилетнего нашего отсутствия из Петербурга столько переменилась... ‹...› Я начну мой рассказ сначала, как начинает обыкновенно болтливая старость. Слушай.

Вчерашний день поутру, сидя у окна моего с Винкельманом[1] в руке, я предался сладостному мечтанию, в котором тебе не могу дать совершенно отчета; книга и читанное мною было совершенно забыто. Помню только, что, взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув на великолепную набережную, на которую благодаря привычке жители петербургские смотрят холодным оком, любуясь бесчисленным народом, который волновался под моими окнами, сим чудесным смешением всех наций, в котором я отличал англичан и азиатцев, французов и калмыков, русских и финнов, я сделал себе следующий вопрос: что было на этом месте до построения Петербурга? Может быть, сосновая роща, сырой, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникою; ближе к берегу — лачуга рыбака, кругом которой развешены были мрежи, невода и весь грубый снаряд скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый Финн...

За ланью быстрой и рогатой,
Прицелясь к ней стрелой пернатой.[2]

Здесь все было безмолвно. Редко человеческий голос пробуждал молчание пустыни дикой, мрачной, а ныне?.. Я взглянул невольно на Тро-

---

[3] См., в частности, примечания В. И. Саитова к «Прогулке в Академию художеств» в кн.: Батюшков К. Н. Соч. Под ред. Л. Н. Майкова. Т. II. СПб., 1885, с. 435 («мечтания автора письма о Петре Великом ‹...› внушили Пушкину его знаменитое Вступление к „Медному Всаднику“»). Обстоятельный анализ статьи Батюшкова дан в кн.: Фридман Н. В. Проза Батюшкова. М., 1965, с. 106—113, 159—165 («выразительный образ Петра ‹...› во многом предвосхитил соответствующий образ в пушкинском „Медном Всаднике“» — с. 108).

[1] Винкельман (1717—1768) — немецкий историк античного искусства. (*Ред.*).

[2] Цитата из поэмы И. И. Дмитриева «Ермак». (*Ред.*).

ицкий мост, потом на хижину великого монарха, к которой по справедливости можно применить известный стих:

Souvent un faible gland recèle un chêne immense![3]

И воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные! Из крепости Нюсканц еще гремели шведские пушки; устье Невы еще было покрыто неприятелем, и частые ружейные выстрелы раздавались по болотным берегам, когда великая мысль родилась в уме великого человека. Здесь будет город, сказал он, чудо света. Сюда призову все художества, все искусства. Здесь художества, искусства, гражданские установления и законы победят самую природу. Сказал — и Петербург возник из дикого болота.

С каким удовольствием я воображал себе монарха, обозревающего начальные работы; здесь вал крепости, там магазины, фабрики, Адмиралтейство. В ожидании обедни в праздничный день или в день торжества победы государь часто сиживал на новом вале с планом города в руках, против крепостных ворот, украшенных изваянием апостола Петра из грубого дерева. Именем святого должен был назваться город, и на жестяной доске, прибитой под его изваянием, изображался славный в летописях мира 1703 год римскими цифрами. На ближнем бастионе развевался желтый флаг с большим черным орлом, который заключал в когтях своих четыре моря, подвластные России. Здесь толпились вокруг монарха иностранные корабельщики, матросы, художники, ученые, полководцы, воины; меж ними простой рождением, великий умом, любимец царский Меншиков, великодушный Долгорукий, храбрый и деятельный Шереметев и вся фаланга героев, которые создали с Петром величие Русского царства...

Таким образом, погруженный в мое мечтание, я не приметил, что двери комнаты отворились и сын моего старого приятеля Н., молодой, весьма искусный художник, приветствовал меня с добрым утром.

«Я пришел нарочно за вами, — сказал он, — сегодня Академия художеств открыта для любопытных, и я готов быть вашим путеводителем, вашим чичероне, если угодно! Вы увидите много хорошего, полюбуетесь некоторыми произведениями русского резца и кисти; о других теперь ни слова. Посмотрите, — продолжал он, открывая окно, — какое прекрасное время! Весь город гуляет, и мы с толпой гуляющих неприметным образом пройдем в Академию».

«С удовольствием, — отвечал я молодому человеку, — около двадцати лет я не видал Академии, и как здесь все идет исполинскими шагами к совершенству, то надеюсь, что и художества приведут меня в приятное изумление. Вот мой посох, моя шляпа — пойдем!».

---

[3] Часто слабый желудь таит в себе громадный дуб! (*франц.*). Неточная цитата из поэмы Делиля (Delille, 1738—1813) «Воображение» («Imagination»). (*Ред.*).

И в самом деле, время было прекрасное. Ни малейший ветерок не струил поверхности величественной, первой реки в мире, и я приветствовал мысленно богиню Невы словами поэта:

Обтекай спокойно, плавно,
Горделивая Нева,
Государей зданье славно
И тенисты острова.[4]

Великолепные здания, позлащенные утренним солнцем, ярко отражались в чистом зеркале Невы, и мы оба единогласно воскликнули: «Какой город! Какая река!».

«Единственный город! — повторил молодой человек. — Сколько предметов для кисти художника! Умей только выбирать. И как жаль, что мои товарищи мало пользуются собственным богатством. Живописцы перспективы охотнее пишут виды из Италии и других земель, нежели сии очаровательные предметы. Я часто с горестию смотрел, как в трескучие морозы они трудятся над пламенным небом Неаполя, тиранят свое воображение и часто — взоры наши. Пейзаж должен быть портрет. Если он не совершенно похож на природу, то что в нем? Надобно расстаться с Петербургом, — продолжал он, — надобно расстаться на некоторое время, надобно видеть древние столицы — ветхий Париж, закопченный Лондон, чтоб почувствовать цену Петербурга. Смотрите — какое единство! Как все части отвечают целому! Какая красота зданий, какой вкус, и в целом какое разнообразие, происходящее от смешения воды со зданиями. Взгляните на решетку Летнего сада, которая отражается зеленью высоких лип, вязов и дубов! Какая легкость и стройность в ее рисунке! Я видел славную решетку Тюльерийского замка, отягченную, раздавленную, так сказать, украшениями — пиками, касками, трофеями. Она безобразна в сравнении с этой».

Энтузиазм, с которым говорил молодой художник, мне весьма понравился. Я пожал у него руку и сказал ему: «Из тебя будет художник!». Не знаю, понял ли он мои пророческие слова, но, посмотрев на меня с улыбкою удовольствия, продолжал: «Взгляните теперь на набережную, на сии огромные дворцы — один другого величественнее! на сии домы — один другого красивее! Посмотрите на Васильевский остров, образующий треугольник, украшенный биржею, ростральными колоннами и гранитною набережною, с прекрасными спусками и лестницами к воде. Как величественна и красива эта часть города! Вот произведение, достойное покойного Томона, сего неутомимого иностранца, который посвятил нам свои дарования и столько способствовал к украшению Северной Пальмиры! Теперь от биржи с каким удовольствием взор мой следует вдоль берегов и теряется в туманном отдалении между двух набережных, единственных в мире!».

«Так, мой друг, — воскликнул я, — сколько чудес мы видим перед собою, и чудес, созданных в столь короткое время, в столетие — в одно

[4] Первая строфа стихотворения М. Н. Муравьева «Богине Невы». (*Ред.*).

столетие! Хвала и честь великому основателю сего города! Хвала и честь его преемникам, которые довершили едва начатое им среди войн, внутренних и внешних раздоров. Хвала и честь Александру, который более всех, в течение своего царствования, украсил столицу Севера! И в какие времена? Когда бремя и участь целой Европы лежала на его сердце, когда враг поглощал землю русскую, когда меч и пламень безумца пожирал то, что созидали веки!..».

Разговаривая таким образом, мы подходили к Адмиралтейству. Помню, скажешь ты, помню эту безобразную длинную фабрику, окруженную подъемными мостами, рвами глубокими, но нечистыми, заваленными досками и бревнами. Остановись, почтенный мой приятель! Кто не был двадцать лет в Петербурге, тот его, конечно, не узнает. Тот увидит новый город, новых людей, новые обычаи, новые нравы. Вот что я повторяю тебе ежедневно в моих записках. И здесь то же превращение. Адмиралтейство, перестроенное Захаровым, превратилось в прекрасное здание и составляет теперь украшение города. Прихотливые знатоки недовольны старым шпицем, который не соответствует, по словам их, новой колоннаде, но зато колоннада и новые павильоны, или отдельные флигели, прелестны. Вокруг сего здания расположен сей прекрасный бульвар, обсаженный липами, которые все принялись и защищают от солнечных лучей. Прелестное, единственное гульбище, с которого можно видеть все, что Петербург имеет величественного и прекрасного: Неву, Зимний дворец, великолепные домы Дворцовой площади, образующей полукружие, Невский проспект, Исаакиевскую площадь, Конногвардейский манеж, который напоминает Партенон, прелестное строение г. Гваренги Сенат, монумент Петра I и снова Неву с ее набережными! <. . .>

Разговаривая <. . .> мы приближались к Академии <. . .>

Мы вошли в ротонду, установленную гипсовыми слепками с антиков. «Вот консул Бальбус, — сказал мне наш спутник, указывая на большого всадника. — Подлинник статуи найден в Геркулануме». — Но эта лошадь вовсе не красива, — заметил Старожилов молодому артисту, качая головою.

«Вы правы, — отвечал он, — конь не весьма статен, короток, высок на ногах, шея толстая, голова с выпуклыми щеками, поворот ушей неприятный. То же самое заметите в другой зале у славного коня Марка Аврелия. Художники новейшие с бо́льшим искусством изображают коней. У нас перед глазами Фальконетово произведение, сей чудесный конь, живой, пламенный, статный и столь смело поставленный, что один иностранец, пораженный смелостию мысли, сказал мне, указывая на коня Фальконетова: „Он скачет, как Россия!“. Но я не смею мыслить вслух о коне Бальбуса, боясь, чтобы меня не подслушали некоторые упрямые любители древности. Вы себе представить не можете, что теряет в их мнении молодой художник, свободно мыслящий о некоторых условных красотах в изящных художествах ... Пойдемте далее» <. . .>

С. П. ШЕВЫРЕВ

ПЕТРОГРАД

За три года до создания Пушкиным «Медного Всадника», в 1830 г., в «Московском вестнике» появилось стихотворение С. П. Шевырева «Петроград»,[1] предмет которого — спор между морской стихией и Петром, строителем города, задуманного и созданного его гением, — спор, в котором победителем остается Петр, чьею волею

родится чудо-град
Из неплодных топей блата.

Автор, позднее утвердившийся на правом крыле славянофильства, разделявший реакционные установки «официальной народности», здесь, в стихотворении «Петроград», говорил о прогрессивном, просветительском значении основания Петром города:

Для моей России он
Просвещенья будет оком.

В тяжелых и даже архаических стихах Шевырева затрагиваются некоторые из проблем, занимавших позднее Пушкина в «Медном Всаднике»: гений Петра, побеждающий водную стихию и воздвигающий «чудо-град» там, где были только «зыбкие блата»; этим городом открывается связь между Россией и Европой, ее науками и искусствами; «мстительное море» «помнит древнюю вражду» и «шлет на град потоп и горе» — наводнение 1824 г.; наконец, упоминается и памятник Петра-победителя, который взлетел на коне «на обломок диких гор», торжествуя свою победу... При всей художественной несоизмеримости поэмы Пушкина и стихотворения Шевырева знаменательна эта общность проблематики обоих произведений, имеющая, очевидно, глубокие корни. Однако же видеть в стихотворении Шевырева «источник» «Медного Всадника», как это делают некоторые комментаторы, безусловно, нет никаких оснований.

Море спорило с Петром:
«Не построишь Петрограда;
Покачу я шведской гром,
Кораблей крылатых стадо.
Хлынет вспять моя Нева,
Ополченная водами:
За отъятые права
Отомщу ее волнами.

Что тебе мои поля,
Вечно полные волнений?
Велика твоя земля,
Не озреть твоих владений!».
Глухо Петр внимал речам:
Море злилось и шумело,
По синеющим устам
Пена белая кипела.

---

[1] Московский вестник, 1830, ч. 1, № 1, с. 3—6. См.: Шевырев С. П. Стихотворения. Ред. М. Аронсона. Л., 1939 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 70—72. Стихотворение написано 28 июля (9 августа) 1829 г. в Италии.

Речь Петра гремит в ответ:
«Сдайся, дерзостное море!
Нет, — так пусть узнает свет:
Кто из нас могучей в споре?
Станет град же, наречён
По строителе высоком:
Для моей России он
Просвещенья будет оком.

По хребтам твоих же вод,
Благодарна, изумленна,
Плод наук мне принесет
В пользу чад моих вселенна, —
И с твоих же берегов
Да узрят народы славу
Руси бодрственных сынов
И окрепшую державу».

Рек могучий — и речам
Море вторило сурово,
Пена билась по устам,
Но сбылось Петрово слово.
Чу!.. в Рифей стучит булат!
Истекают реки злата,
И родится чудо-град
Из неплодных топей блата.

Тяжкой движется стопой
Исполин — гранит упорный
И приемлет вид живой,
Млату бодрому покорный.
И в основу зыбких блат
Улеглися миллионы:
Всходят храмы из громад
И чертоги и колонны.

Шпиц, прорезав недра туч,
С башни вспыхнул величавый,
Как ниспадший солнца луч
Или луч Петровой славы.
Что чернеет лоно вод?
Что шумят валы морские?
То дары Петру несет
Побежденная стихия.

Прилетели корабли.
Вышли чуждые народы
И России принесли
Дань наук и плод свободы.
Отряхнув она с очей
Мрак невежественной ночи,
К свету утренних лучей
Отверзает бодры очи.

Помнит древнюю вражду,
Помнит мстительное море,
И да мщенья примет мзду,
Шлет на град потоп и горе.
Ополчается Нева,
Но от твердого гранита,
Не отъяв свои права,
Удаляется сердита.

На отломок диких гор
На коне взлетел строитель;
На добычу острый взор
Устремляет победитель;
Зоркий страж своих работ
Взором сдерживает море
И насмешливо зовет:
«Кто ж из нас могучей в споре?».

АДАМ МИЦКЕВИЧ

ОЛЕШКЕВИЧ. ПАМЯТНИК ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Важнейшим произведением современной поэзии, отразившимся в «Медном Всаднике», является «Отрывок», или «Добавление» («Ustęp»), к III части поэмы Адама Мицкевича «Дзяды» («Dziady», т. е. «Поминки» или «Предки»). Для проблематики и образности пушкинской поэмы произведение его польского друга имеет первостепенное значение, вызвав — с тех пор как «Отрывок» Мицкевича вошел в круг интересов пушкиноведения — обширную и противоречивую литературу, в которой многие вопросы до сих пор остаются спорными.

Стихотворения, входящие в «Отрывок» («Ustęp»), были написаны Мицкевичем, как и вся III часть «Дзядов», в 1832 г. и в том же году напечатаны в IV томе парижского издания «Стихотворений Адама Мицкевича» (Poezye Adama Mickiewicza, t. IV. Pariż, 1832).

Это издание в полном составе, в том числе и IV том, запрещенный ко ввозу в Россию, было доставлено Пушкину его приятелем С. А. Соболевским, вернув-

шимся в Петербург из заграничного путешествия 22 июля 1833 г.[1] Оно сохранилось в библиотеке Пушкина.[2]

Первые три тома, в основном уже известные Пушкину по предшествующим изданиям, остались неразрезанными; но IV том, новый и особо для него интересный, разрезан весь.

Том этот, кроме основных текстов отдельных сцен и частей «Дзядов» — драматической лирико-философской и сатирической поэмы, написанной в разное время отдельными частями и не законченной Мицкевичем, содержит «Ustęp», завершающий собой III часть. «Ustęp» состоит из семи стихотворений, напечатанных в следующем порядке: «Droga do Rossyi» («Дорога в Россию»), «Przedmescia stolicy» («Предместья», или «Пригороды столицы»), «Petersburg» («Петербург»), «Pomnik Piotra Wielkiego» («Памятник Петра Великого»), «Przegląd wojska» («Смотр войскам»), «Oleszkiewicz» («Олешкевич») и заключительное посвящение» «Do Przyjaciol Moskali» («Русским друзьям»).

Просмотрев книгу, Пушкин обратил самое пристальное внимание на «Петербургский» цикл — «Ustęp», представляющий гневное и беспощадное обличение русского самодержавия, воплощенного в царской столице — Петербурге и в памятнике ее основателя — Петра Великого. Поэт стал переписывать наиболее поразившие его стихотворения в одну из своих рабочих тетрадей — ту, где уже были записаны строфы начатой им поэмы о бедном чиновнике Езерском.[3]

Первым из семи стихотворений «Отрывка» было переписано Пушкиным предпоследнее по печатному порядку — «Олешкевич». Перед текстом заглавия: «Oleszkiewicz. Dzien przed powodzią Peterzburską, 1824» («Олешкевич. День перед петербургским наводнением 1824 ‹г.›») — Пушкин надписал заголовок, какого нет и не могло быть в книге, привезенной ему Соболевским: «Z Mickiewicza» («Из Мицкевича»). Листы тетради, предназначенные для переписки стихотворения, согнуты вдоль пополам, и текст, занявший 11 страниц, переписан на наружных сторонах каждого согнутого листа, между тем как внутренние половины оставлены чистыми. Нельзя сомневаться в том, что Пушкин хотел выполнить русский построчный перевод стихотворения и даже напечатать его — быть может, переложив стихами, — в приложении к «Медному Всаднику».

Закончив переписывание «Олешкевича», поэт скопировал стихотворение, заключающее собою «Ustęp», — «Русским друзьям», представлявшее для него особый, общественный и личный интерес, и после него начал третье — «Памятник Петра Великого», также тесно связанное и с личными воспоминаниями, и с проблематикой «Медного Всадника», но, переписав из него почти половину (31 стих из 66), прекратил работу над ним.[4]

Время работы Пушкина над перепиской стихотворений Мицкевича в точности неизвестно.

По мнению М. А. Цявловского, разделяемому многими другими комментаторами, Пушкин взял книгу Мицкевича «в поездку в Оренбургскую губернию. На обратном пути оттуда, в Болдине ‹...› Пушкин занимался Мицкевичем. Из семи стихотворений цикла „Петербург“ Пушкин списал в свою тетрадь три для того, чтобы их тут же переводить».[5]

---

[1] См.: Пушкин и его современники, вып. XXXI—XXXII. Л., 1927, с. 41.

[2] Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. — В кн.: Пушкин и его современники, вып. IX—X. СПб., 1910, с. 288—289, № 1167.

[3] Тетрадь ПД 842 (ЛБ 2373). Записи эти были впервые упомянуты В. Е. Якушкиным в его описании, см.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Румянцевском музее в Москве. — Русская старина, 1884, т. XLIII, август, с. 329; ср.: *Рукою Пушкина*, с. 535—551.

[4] Подробный анализ переписанных Пушкиным текстов дан М. А. Цявловским, по транскрипции Т. Г. Цявловской, при публикации (первой и единственной) пушкинской рукописи, см.: *Рукою Пушкина*, с. 530.

[5] *Рукою Пушкина*, с. 550; Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 185.

Но возможно и другое предположение. В октябре и начале ноября 1833 г. в Болдине Пушкин, всецело занятый «Медным Всадником», «Историей Пугачева» и другими творческими трудами, не мог иметь времени для копирования стихов Мицкевича; он только сослался на два его стихотворения — «Олешкевич» и «Памятник Петра Великого» — в примечаниях к своей поэме. Ясно понимая, что «Ustęp», не только полностью, но и в отдельных отрывках, не будет дозволен цензурою, он по окончании работы над «Медным Всадником» едва ли продолжал думать о переводе стихотворений польского поэта. С другой стороны, получив издание «Дзядов» от Соболевского и бегло ознакомившись с ним, Пушкин тотчас должен был понять и почувствовать соотношение «Петербургского» цикла Мицкевича со своим собственным замыслом, ощутить противоположность их концепций, требующую ответа, и он тотчас, в ожидании разрешения Бенкендорфа на поездку в пугачевские места, мог обратиться к Мицкевичу: стал переписывать стихотворения, входящие в «Ustęp», начав с наиболее интересующих его и относящихся к его замыслу. Отъезд поэта в заволжское путешествие (17 августа 1833 г.), очевидно, не дал ему возможности продолжать переписывание стихотворений Мицкевича, тем более не мог он приступить к их переводу. Но отражения стихотворений польского поэта, а главное его концепции, с которой спорит Пушкин, видны с самого начала его работы над Вступлением «Медного Всадника», т. е. все это обдумано еще до приезда в Болдино. IV том парижского издания стихотворений («Poezye») Мицкевича, привезенный Соболевским, был взят им с собой, так же как и рабочая тетрадь с незаконченной копией трех стихотворений из «Ustęp». Но, по нашему мнению, после окончания «Медного Всадника» работа над ними уже не продолжалась.

В настоящем издании приводятся тексты двух стихотворений, переписанных Пушкиным в рабочей тетради ПД 842, в русском построчном переводе, выполненном профессором Н. К. Гудзием в начале 1930-х годов для М. А. Цявловского.[6] Вторая половина стихотворения «Памятник Петра Великого» (стихи 32—66), не переписанная Пушкиным и отсутствующая в переводе Н. К. Гудзия, приводится в стихотворном переводе В. Левика.[7]

Олешкевич

ДЕНЬ НАКАНУНЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО НАВОДНЕНИЯ 1824

Когда небо пламенеет от лютого мороза,
Оно вдруг посинеет, почернеет пятнами —
Подобно замерзшему лицу мертвеца,
Которое, отогревшись в комнате перед печью,
Но набравшись тепла, а не жизни,
Вместо дыхания отдает запахом гниенья.
Повеял теплый ветер. Столбы дыма,
Воздушная громада, как призрак царей,
Рухнули и упали на землю,
И по улицам реками плавал дым,
Смешанный с теплым и влажным туманом.
Снег начал таять и, прежде чем минул вечер,
Заливал мостовые стигийской болотной рекой.
Сани исчезли, коляски и колымаги

---

[6] См.: *Рукою Пушкина*, с. 544—549; Цявловский М. А. Статьи о Пушкине, с. 174—175.

[7] Мицкевич Адам. Собр. соч. в 5-ти т., т. 3. М., 1952, с. 267 и 281—284 (там же на с. 253—286 даны переводы всех стихотворений, входящих в «Ustęp», а на с. 289—292 — объяснения Мицкевича к ним).

Сняты с полозьев, гремят по мостовой колеса;
Но в сумерках, в дыму и в тумане
Глаз неспособен различить экипажи;
Видны они только по блеску фонарей,
Похожих на блудящие болотные огоньки.

Шли молодые путники по берегу
Огромной Невы. Они любят ходить в сумерки:
Не встретятся с чиновниками
И в глухом месте не наткнутся на шпиона.
Шли они, разговаривая на чужом языке;
Порой они тихо напевают какую-нибудь чужую песню.
Порой остановятся и оглянутся:
Не слушает ли кто-нибудь? Но не встретили никого.
Напевая, блуждали вдоль русла Невы,
Которое тянется, как альпийская стена,
И задержались там, где между гранитом
Высечен путь к реке.
Оттуда внизу увидели издалека
На берегу человека с фонариком.
Это не был шпион, так как он только следил за чем-то в воде.
И не перевозчик: кто ж плавает по льду?
И не рыбак, потому что ничего не имел в руках.
Кроме фонарика и связки бумаг.
Подошли ближе; он, не поворачивая головы,
Вытянул веревку, погруженную в воду,
Вытянул, сосчитал узлы и записал;
Казалось, он измерял глубину воды.
Отблеск фонарика, отражающийся ото льда,
Освещает его таинственные книги
И лицо, склонившееся над свечой,
Желтое, как облако над заходящим солнцем,
Красивое, благородное, строгое лицо.
Он так внимательно читал свою книгу,
Что, слыша посторонние шаги и разговор
Тут же, над собой, не спросил, кто это,
И только по легкому движению руки
Было видно, что он просит, требует молчания.
Было что-то такое необычное в движении руки,
Что хотя путники тут же над ним остановились,
Глядя, перешептываясь и посмеиваясь в душе,
Но все умолкли, не смея ему мешать.
Один посмотрел в его лицо, узнал и крикнул:
«Это он!». — «Кто ж он?..». — «Поляк, художник,
Но его правильнее называть кудесником,

Потому что он давно отвык от красок и кисти
И только Библию и Кабалу изучает
И, говорят, даже разговаривает с духами».
Художник между тем поднялся, сложил свои бумаги
И сказал, как бы говоря с самим собой:
«Кто доживет до утра, тот будет свидетелем великих чудес,
То будет второе, но не последнее испытание:
Господь потрясет ступени ассирийского трона,
Господь потрясет основание Вавилона,
Но третьего не приведи, господи, увидеть!».
Сказал и, оставив путников у реки,
Сам с фонариком медленно пошел по лестнице
И вскоре исчез за оградой площадки.
Никто не понял, что значит эта речь,
Одни удивленные, другие рассмешенные,
Все воскликнули: «Наш кудесник чудачит!».
И, постояв еще минуту в темноте
И видя, что ночь уж поздняя, холодная и бурная,
Каждый поторопился домой.
Лишь один не ушел, а взбежал на лестницу
И побежал по площадке. Он не видел человека,
Только издали приметил его фонарик,
Который светил издалека, как прозрачная звезда.
Хотя он не взглянул в лицо художника,
Хоть не расслышал, что о нем говорили,
Но звук голоса, таинственная речь
Так его потрясли... Тотчас припомнил,
Что он слыхал этот голос, и пустился, что было силы,
Незнакомой дорогой, в ночной темноте.
Свет быстро несомого фонарика мигал,
Всё уменьшался и, потонув в ночной мгле,
Казалось, потухал, но вдруг остановился
Среди пустынной широкой площади.
Путник удвоил шаги, догнал.
На площади лежала большая груда камней.
На одном из них он увидел художника.
Стоял тот неподвижно, в ночной темноте,
С обнаженной головой, подняв плечи,
С протянутой вверх правой рукой.
И видно было по направлению фонаря,
Что вглядывается он в стены царского дворца.
В одном окне, в самом углу,
Горел свет; этот свет он наблюдал
И шептал, глядя в небо, как будто молясь богу,
Потом заговорил вслух сам с собой:
«Ты не спишь, царь. Кругом глухая ночь,

Двор уж спит, а ты, царь, не спишь.
Милосердный бог еще посылает тебе духа,
Он в предчувствиях предостерегает тебя о возмездии,
Но царь хочет заснуть, он насильно закрывает глаза.
Заснет глубоко... Бывало, сколько раз
Предостерегал его ангел-хранитель
Сильнее, настойчивее в сонных грезах...
Он раньше не был так дурен: он был человеком,
Но постепенно стал тираном,
Божьи ангелы его покинули, а он с летами
Всё больше становился добычей дьявола.
Последнее напутствие, то тихое предчувствие
Он прогонит прочь, как злое наваждение,
А на другой день льстецы вознесут его гордыню
Всё выше и выше, пока его не растопчет дьявол...
Эти жалкие подданные, живущие в лачугах,
Прежде всего будут покараны за него.
Потому что молния, когда она поражает неживое,
Начинает сверху, с горы и башни;
Когда же бьет людей, то начинает снизу
И поражает прежде всего наименее виновных.
Заснули в пьянстве, ссорах или в наслаждениях,
Проснутся утром — несчастные мертвые черепные чашки.
Спите спокойно, как неразумные животные,
Пока божий гнев не спугнет вас, как охотник,
Сокрушающий всё, что встречает в лесу,
Добираясь до логовища дикого кабана!
Слышу!.. там!.. вихри... уже подняли головы
С полярных льдов, как морские чудовища,
Уже сделали себе крылья из тучи,
Сели на волны, сняли с них оковы.
Слышу!.. уж морская пучина разнуздана.
Уже вздымает влажную шею под облака,
Уже... еще лишь одна цепь удерживает.
Но скоро ее раскуют... слышу удары молотов...».
Сказал и, заметив, что кто-то его сбоку слушает,
Задул свечу и исчез во мраке.
Блеснул и скрылся, как предчувствие беды,
Которое неожиданно взволнует сердце
И пройдет — страшное и непостижимое.

Памятник Петра Великого

Вечером, в ненастье стояли двое юношей
Под одним плащом, взявшись за руки.
Один был странник, пришелец с запада,
Неведомая жертва царского гнета,
Другой — поэт русского народа,
Прославленный на всем севере своими песнями.
Они недолго, но близко были знакомы
И через несколько дней уже стали друзьями.
Их души, возвышаясь над земными препонами,
Были подобны двум породнившимся альпийским скалам,
Хоть и навеки разделенным водной стремниной;
Они едва слышат шум своего врага,
Сближаясь друг с другом поднебесными вершинами.
Странник о чем-то думал перед колоссом Петра,
А русский поэт так промолвил тихим голосом:
«Первому из царей, вершителю чудес,
Вторая царица соорудила памятник.
Уж царь, отлитый в образе великана,
Сел на медный хребет буцефала,
И искал места, куда бы он мог въехать на коне,
Но Петр на собственной земле не может стать,
В отечестве ему не хватает простора;
За пьедесталом для него послано за море,
Послано вырвать на финляндском побережьи
Глыбу гранита; она, по приказу государыни,
Плывет по морю и бежит по земле
И падает в городе навзничь перед царицей.
Уж пьедестал готов; летит медный царь,
Царь-кнутодержец в тоге римлянина;
Конь вскакивает на стену гранита,
Останавливается на самом краю и поднимается на дыбы.[1]
Нет, Марк Аврелий в Риме не таков.
Народа друг, любимец легионов,
Средь подданных не ведал он врагов,
Доносчиков изгнал он и шпионов.
Им был смирён домашний мародер,
Он варварам на Рейне и Пактоле
Сумел не раз кровавый дать отпор, —
И вот он с миром едет в Капитолий.
Сулят народам счастье и покой
Его глаза. В них мысли вдохновенье.

---

[1] Далее следует текст в переводе В. Левика.

Величественно поднятой рукой
Всем гражданам он шлет благословенье.
Другой рукой узду он натянул,
И конь ему покорен своенравный,
И, кажется, восторгов слышен гул:
„Вернулся цезарь, наш отец державный!"
И цезарь едет медленно вперед,
Чтоб одарить улыбкой весь народ,
Скакун косится огненным зрачком
На гордый Рим, ликующий кругом.
И видит он, как люди гостю рады,
Он не сомнет их бешеным скачком,
Он не заставит их просить пощады.
И дети близко могут зреть отца,
И мнится — ждет бессмертье мудреца,
И нет ему на том пути преграды.

Царь Петр коня не укротил уздой,
Во весь опор летит скакун литой,
Топча людей, куда-то буйно рвется,
Сметая все, не зная, где предел.
Одним прыжком на край скалы взлетел,
Вот-вот он рухнет вниз и разобьется.
Но век прошел — стоит он, как стоял.
Так водопад из недр гранитных скал
Исторгнется и, скованный морозом,
Висит над бездной, обратившись в лед. —
Но если солнце вольности блеснет
И с запада весна придет к России —
Что станет с водопадом тирании?».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Н. В. ИЗМАЙЛОВ

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК» А. С. ПУШКИНА ИСТОРИЯ ЗАМЫСЛА И СОЗДАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ИЗУЧЕНИЯ

1

Последняя поэма Пушкина — «Петербургская повесть» «Медный Всадник», — написанная в болдинскую осень 1833 г., в период полной творческой зрелости, является его вершинным, самым совершенным произведением в ряду поэм, да и во всем его поэтическом творчестве, — вершинным как по совершенству и законченности художественной системы, так и по обширности и сложности содержания, по глубине и значительности проблематики, вложенной в него историко-философской мысли.

Вместе с тем творческие материалы, т. е. рукописи поэмы, черновые и беловые, сохранились в почти исчерпывающей полноте (кроме нескольких не дошедших до нас отрывков), что дает возможность проследить всю историю ее создания — от первого до последнего слова, изучить во всех деталях развитие творческой мысли Пушкина в работе над поэмой, от ее зарождения до завершения. Этому способствует и то, что весь рукописный материал, относящийся к «Медному Всаднику», опубликован под редакцией С. М. Бонди и Н. В. Измайлова в академическом издании сочинений Пушкина,[1] так же как и рукописи другого, относящегося к нему предшествующего произведения, т. е. черновые и беловые автографы неоконченной повести в «онегинских» строфах, называемой по фамилии ее героя «Езерский».[2]

---

[1] *Акад.*, V, 131—150 (текст), 436—499 (варианты), 516—519 (примечания), 521 (Дополнение). См. также XVII (Справочный) том (с. 44—45), где даются поправки и дополнения к V тому, в котором по техническим причинам допущены важные пропуски в текстах «Медного Всадника» (ср.: V, 488 и след.).

[2] *Акад.*, V, 95—103 (текст), 387—419 (варианты). К рассмотрению «Езерского» и его связи с «Медным Всадником» мы обратимся ниже.

Достаточно хорошо известны — а отчасти указаны самим поэтом — художественные, исторические, философские и иные русские, французские, польские произведения, на которых основано и с которыми связано создание поэмы — ее литературный фон (в самом широком смысле этого слова), так же как и ее бытовой и биографический фон, ее связи с жизнью Пушкина, с его переживаниями, размышлениями и воззрениями.

Все это дает возможность на твердых и широких основаниях построить строго документированную историю замысла и создания «Медного Всадника» и установить его место в творческом пути Пушкина, его связи с предшествующим и окружающим творчеством поэта, его значение в истории русской поэзии и, шире, в истории русской литературы.

Но это еще не все. Очевидная для каждого внимательного читателя, а тем более для каждого критика и исследователя сложность и глубина идейного содержания «Медного Всадника», его историко-философской проблематики, неразрывно связанной с его художественной системой, вызывала начиная с Белинского и вызывает до сих пор, в течение почти 130 лет и особенно в последние полстолетия, разные попытки раскрыть «тайну» поэмы, проникнуть в ее сущность и построить ту или иную концепцию ее проблематики. Эти попытки многочисленны и разнообразны, появляются одна за другой; одни авторы следуют за Белинским и развивают его понимание, другие — стремятся дать нечто новое и своеобразное. Каждая попытка отражает и тот исторический момент, в который она выдвигается, и мировоззрение ее автора, и его методологические принципы. Во многих из таких попыток можно найти более или менее удачные построения, сопоставления и соображения. Но чем больше возникает в пушкиноведении новых теорий, тем чаще приходится с сожалением убеждаться, что ни одна из них не приближает нас к цели — к такому пониманию изумительной пушкинской поэмы, которое бы наиболее глубоко, обоснованно и объективно выражало ее сокровенную философскую сущность и давало бы исчерпывающее истолкование образной системы «Петербургской повести». В самые последние годы появляются рецидивы безудержного субъективизма, полного произвола в толковании «Медного Всадника», и эти печальные рецидивы выдаются за последнее слово литературоведческой методологии, способствующей «научным открытиям» и открывающей новые «истины»...

Мы ограничимся пока этими беглыми замечаниями, каждое из которых будет развернуто далее, по ходу изложения. Обратимся теперь к рассмотрению истории замысла и создания «Медного Всадника», начиная с истоков, с тех исторических явлений, которые вызвали возникновение замысла и основных образов, определяющих сюжет поэмы.

В поэме, или «Петербургской повести», как очень точно назвал ее в подзаголовке сам Пушкин, два основных персонажа, два героя, определяющих две сплетенные между собою и сталкивающиеся идейно-тематические линии: первый из героев — Петр Великий, «могучий властелин судьбы», «строитель чудотворный», создатель города «под морем», продолжающий как личность жить и после смерти в памятнике, давшем

поэме ее заглавие; другой — Евгений, мелкий чиновник из обедневшего дворянского рода, опустившийся до мещанского уровня, «ничтожный герой», вошедший в 30-х годах в творческий кругозор Пушкина из окружающего быта. Эти два, казалось бы, неизмеримо далеко стоящих друг от друга героя оказываются связанными событием, самая возможность которого вызвана «волей роковой» «державца полумира», — петербургским наводнением 7 ноября 1824 г., погубившим не только счастие, но и самую жизнь Евгения. Угроза, брошенная «кумиру» безумцем в момент внезапного и «страшного» прояснения мыслей, и вызванный ею мгновенный гнев «грозного царя» составляют кульминацию поэмы. Вокруг этого момента вращаются уже второе столетие все разнообразные попытки ее истолкования. Но наводнение, по-видимому, является тем моментом, от которого нужно начинать творческую историю «Медного Всадника».

Когда произошло петербургское наводнение 7 ноября 1824 г. — сильнейшее наводнение в истории города, Пушкин жил третий месяц (с 9 августа) в Михайловском, сосланный из Одессы «в далекий северный уезд», и был глубоко взволнован происшедшим в самом конце октября тяжелым столкновением с отцом — столкновением, грозившим ему, быть может, новой административной карой.[3]

Когда и каким образом узнал он о наводнении, сказать трудно. Всего вероятнее, первые (официальные) сообщения о нем — рескрипт Александра I князю А. Б. Куракину от 11 ноября и краткий рассказ о происшедшем «бедствии» — Пушкин прочитал в № 269 газеты «Русский инвалид» от 13 ноября 1824 г.: до этого момента никакие сведения о наводнении в печати не допускались.[4] Возможно, однако, что он узнал о «потопе» и раньше, из письма петербургской приятельницы сестры — Е. М. Ивелич, написанного, по-видимому, тотчас после наводнения, но полученного в Михайловском уже после отъезда Ольги Сергеевны и распечатанного поэтом.[5]

---

[3] См. письма Пушкина к Жуковскому от 31 октября и 29 ноября 1824 г. (*Акад.*, XIII, 116 и 124; *Письма*, т. I, с. 94—95, 101—102 и примеч., с. 356—359, 372). Следствием столкновения явился отъезд в Петербург, по приказанию отца, Л. С. Пушкина (около 3—5 ноября) и О. С. Пушкиной (около 10—12 ноября) (см.: *Летопись*, т. I, с. 531 и 532), а вслед за ними — и родителей, С. Л. и Н. О. Пушкиных (около 17—18 ноября; см.: *Летопись*, т. I, с. 536).

[4] См. выше, с. 103—104; см. также: *Летопись*, т. I, с. 534. Газета «Русский инвалид, или Военные ведомости» была почти единственным тогда ежедневным периодическим изданием, кроме «С.-Петербургских ведомостей», до начала издания (в 1825 г.) «Северной пчелы». Газета, вероятно, получалась в Михайловском, судя по упоминанию о ней в письме Пушкина к брату от 4 декабря 1824 г. (*Акад.*, XIII, 127).

[5] Письмо это не сохранилось. Мы знаем о нем из письма поэта к Л. С. Пушкину без даты, содержащего первые впечатления Пушкина о «потопе», где он пишет: «Скажи сестре, что я получил письмо к ней от <...> гр. Ивеличевой и распечатал, полагая, что оно столько же ответ мне, как и ей — объявление о потопе, о Колосовой...» (*Акад.*, XIII, 123).

Как бы то ни было, в том мрачно-отчаянном настроении, в котором Пушкин был в то время, когда умолял Жуковского спасти его «хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем» (XIII, 116), он отнесся к «потопу» желчно-иронически, видя в нем заслуженную кару «проклятому Петербургу» и выражая беспокойство лишь о судьбе «Северных цветов» Дельвига и винных погребов. В одном недатированном письме к брату, Л. С. Пушкину, он писал: «Что погреба? признаюсь, и по них сердце болит. Не найдется ли между вами Ноя, для насаждения винограда? На святой Руси не штука ходить нагишом, а хамы смеются. Впрочем это все вздор» (*Акад.*, XIII, 122).[6] Первые известия о наводнении дали ему повод к фривольной шутке на французском языке, обращенной к петербургским дамам,[7] и вызвали мрачное заключение: «Я очень рад этому потопу, потому что зол. У вас будет голод, слышишь ли?». Закончив и запечатав письмо, поэт снова его распечатал, чтобы приписать поручение брату, касающееся, по-видимому, состояния винного погреба в Михайловском: «Ах, милый, богатая мысль! распечатал нарочно. Верно есть *бочки*, per fas et nefas (законным или незаконным образом (*лат.*), — *Н. И.*), продающиеся в Петербурге — купи, что можно будет, подешевле и получше. Этот потоп — оказия».

Несколько позднее, очевидно прочитав более подробные описания наводнения в петербургских газетах и в письмах родных и друзей, услышав рассказы очевидцев, в частности Михайлы Калашникова, Пушкин изменил свое первоначальное мнение[8] и 4 декабря писал брату: «Закрытие феатра и запрещение балов — мера благоразумная.[9] Благопристойность того требовала. Конечно, народ не участвует в увеселениях высшего класса, но во время общественного бедствия не должно дразнить его обидной роскошью. Лавочники, видя освещение бельэтажа, могли бы разбить зеркальные окна, и был бы убыток. Ты видишь, что я беспристрастен. Желал бы я похвалить и прочие меры правительства, да газеты говорят об одном розданном миллионе. Велико дело миллион, но соль, но хлеб, но овес, но вино? об этом зимою не грех бы подумать хоть в одиночку, хоть комитетом. Этот потоп с ума мне нейдет, он вовсе не

---

[6] Письмо датировано в *Акад.*: «Начало 20-х чисел ноября 1824 г.». Вероятно, эта датировка неточна, и письмо можно датировать несколькими днями ранее, даже серединой (15—20) ноября, как это сделано Б. Л. Модзалевским (*Письма*, т. I, с. 98).

[7] Та же шутка повторена и в другом письме к Л. С. Пушкину, написанном около 20 декабря 1824 г. (*Акад.*, XIII, 131).

[8] Следует еще добавить, что петербургская квартира Пушкиных, находившаяся на окраине, в низменной Коломне, на набережной Фонтанки, близ Калинкина моста, где жил и он сам в 1817—1820 гг., по-видимому пострадала от наводнения, на что указывают поручения брату в том же письме относительно приказчика Калашникова, возвращавшегося из Петербурга в Михайловское: «Отправь с Михайлом все, что уцелело от Александрийского пожара» (так Пушкин называет наводнение; речь идет, вероятно, о книгах, частично пострадавших от воды).

[9] То и другое было сделано без специального объявления от начальства. Театральные представления возобновились лишь через месяц, в начале декабря.

так забавен, как с первого взгляда кажется. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из онегинских денег.[10] Но прошу без всякого шума, ни словесного, ни письменного. Ничуть не забавно стоять в Инвалиде на ряду с идиллическим коллежским асессором Панаевым»[11] (*Акад.*, XIII, 127).

Слова о «лавочниках», которые могли бы «разбить зеркальные окна», отчего «был бы убыток», т. е. о низших слоях петербургского населения, возмущенных и озлобленных поведением «высшего класса» «во время общественного бедствия», представляют собой несомненно в зародышевом состоянии мысль, которая, бесконечно углубленная и развитая, станет позднее основою «Медного Всадника».

Последним непосредственным откликом Пушкина на петербургское наводнение явилась его дружеская эпиграмма, написанная уже в апреле 1825 г. и обращенная к А. А. Бестужеву, одному из издателей декабристского альманаха «Полярная звезда».[12] Эпиграмма была вызвана тем, что альманах на 1825 г., тираж которого, весь уже отпечатанный, погиб в наводнение, был перепечатан заново и вышел в свет 21 марта 1825 г. Пушкин пародически перелицевал библейское сказание о всемирном потопе, применив к альманаху образ Ноева ковчега, приставшего к суше на горе Арарат (здесь замененной Парнасом). И как Ной взял в ковчег, для их спасения, по семи пар «чистых» и «нечистых» животных, так и в альманахе были объединены «и люди и скоты» — авторы, очень различные по дарованиям, по личному и литературному достоинству, по направлению: с одной стороны, сам Пушкин (поместивший в «спасенной» «Полярной звезде» отрывки из поэм «Цыганы» и «Братья разбойники» и кишиневское — 1821 г. — послание к Н. С. Алексееву), братья Бестужевы, Рылеев, Жуковский, Вяземский, Баратынский, Гнедич, Грибоедов, Крылов, Козлов, Ф. Глинка, Плетнев, Языков; с другой — Булгарин и Сенковский, ряд посредственных или бездарных сочинителей, как Иванчин-Писарев, Масальский, Ободовский, Раич и др.

Нет сомнения, что впечатление от «петербургского потопа» и вызванные им размышления, определение его как «общественное бедствие», ударившее всей своею тяжестью по «народу», по беднейшему слою населения столицы, — все это глубоко запало в сознание и чувство поэта, запало, чтобы через девять лет отразиться в «Медном Всаднике».

Вероятно, вскоре после возвращения из ссылки в Москву, а потом в Петербург он приобрел вышедшую в 1826 г. книгу историка В. Н. Берха «Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в Санктпетербурге», упомянутую как важнейший и первый источник сведений

---

[10] Т. е. из денег, полученных от книгопродавца Слёнина за издание первой главы «Евгения Онегина», в тот момент еще не вышедшей.

[11] В «Русском инвалиде» печатались почти в каждом номере списки жертвователей в пользу пострадавших от наводнения.

[12] «Напрасно ахнула Европа...» (*Акад.*, II, 386 и 1159). Датировано первой половиной апреля 1825 г.

для «любопытных» в «Предисловии» к «Петербургской повести». Берх в своей книге перепечатал (с сокращениями) статью Булгарина, помещенную в «Литературных листках» в качестве рассказа очевидца. Ссылаться прямо на Булгарина в своей поэме Пушкин, очевидно, не хотел, и перепечатка Берха давала ему к этому законную возможность; он ограничился глухой ссылкой на «тогдашние журналы», из которых заимствованы «подробности наводнения», тем самым отводя от себя возможные упреки в неточностях, в том, что он, не быв свидетелем «потопа», вымышляет его подробности.

Книга Берха несомненно была взята с собой Пушкиным в путешествие 1833 г. по «пугачевским» местам и находилась перед его глазами во время работы над поэмой в Болдине. Очевидно, описание петербургского наводнения как основа сюжета будущей «Петербургской повести» было им задумано давно, во всяком случае еще в Петербурге, до поездки в Оренбург, а может быть и гораздо раньше, вскоре после самого «происшествия» 1824 г. Напомним еще один факт, который должен был оживить в сознании Пушкина мысль о наводнении и даже помочь наглядно представить его.

В самый момент отправления Пушкина в путешествие, 17 августа 1833 г., когда он, выехав с дачи на Черной речке, должен был переправиться через Неву, он стал очевидцем начинавшегося наводнения, которое едва не заставило его вернуться назад и отложить поездку. Об этом мы читаем в его письме к Н. Н. Пушкиной от 20 августа из Торжка: «Милая женка, вот тебе подробная моя Одисея. Ты помнишь, что от тебя уехал я в самую бурю. Приключения мои начались у Троицкого мосту.[13] Нева так была высока, что мост стоял дыбом; веревка была протянута, и полиция не пускала экипажей. Чуть было не воротился я на Черную речку. Однако переправился через Неву выше, и выехал из Петербурга. Погода была ужасная. Деревья по Царскосельскому проспекту так и валялись, я насчитал их с пятьдесят. В лужицах была буря. Болота волновались белыми волнами <...> Что-то было с вами, Петербургскими жителями? Не было ли у вас нового наводнения? что, если и это я прогулял? досадно было бы» (*Акад.*, XV, 71—72). Наводнения в Петербурге в тот день не произошло вследствие перемены ветра, но в те часы, когда Пушкин видел вздувавшуюся Неву, существовало опасение, что будет бедствие не меньшее, чем в 1824 г.[14] Важны, однако, пристальное внимание поэта к подъему воды в реке и его опасение, его досада от мысли, что он и это наводнение «прогулял». Это еще один показатель того, что тема наводнения уже определилась в его творческом сознании задолго до начала работы над «Медным Всадником».

---

[13] Теперь Кировский мост; при жизни Пушкина Троицкий мост, как и прочие мосты на Неве, был наплавным, т. е. понтонным, и при осенних и весенних ледоходах, при подъемах воды, отводился к берегу. См. примечание к стиху 140 поэмы (с. 267).

[14] См.: *Письма*, т. III, с. 597—598.

2

Две темы, или, вернее, две проблемы, среди многих прочих занимают важнейшее место в творчестве Пушкина — поэта, романиста, историка, мыслителя и публициста в последнее десятилетие его деятельности, с 1826 г. по конец его жизни. Первая из них, которую можно назвать «петровской темой», посвящена — в разных аспектах и разных формах — личности и деятельности Петра Великого. Вторая, условно определяемая нами как «тема (и проблема) ничтожного героя», возникает позднее, около 1830 г., и касается нового, еще не бывалого в русской литературе явления — героев из деклассированных дворян и даже разночинцев и мещан, сменяющих прежних романтических героев.

Та и другая темы имеют ряд точек соприкосновения, и обе они входят в идейно-художественную проблематику последней поэмы Пушкина «Медный Всадник». Поэтому прежде чем обратиться к анализу творческой истории «Петербургской повести», необходимо коснуться обоих этих вопросов — петровской темы и темы «ничтожного героя» в творчестве поэта. Начнем с петровской темы.[1]

Образ Петра Великого с его сподвижниками и его эпохою вошел с ранних лет жизни Пушкина в круг его родовых и даже семейных воспоминаний, и притом с двух сторон. С отцовской стороны это были рассказы о предках Пушкиных Петровского времени, из которых один (Федор Матвеевич) был казнен в 1697 г. за участие в стрелецком заговоре против Петра («С Петром мой пращур не поладил И был за то повешен им» — «Моя родословная», 1830). С материнской стороны прадедом поэта был знаменитый Ибрагим (Абрам) Петрович Ганнибал, «Арап Петра Великого», «царю наперсник, а не раб»; рассказы о нем Пушкин мог слышать от людей, лично его знавших, а с его сыном Петром Абрамовичем встречался после окончания Лицея (1817) и во время ссылки в Михайловское (1824) в усадьбе Ганнибалов Петровское.

Однако же в творчество Пушкина петровская тема вошла лишь с конца 1826 г.

Причины этому многообразны. В лицейские годы интерес к Петру был заслонен современными событиями — Отечественной войной 1812 г. и европейскими походами. В то же время петровская тема в литературе была скомпрометирована в глазах Пушкина, следовавшего в этом за «арзамасцами», рядом эпигонских классицистических поэм — Романа Сладковского («Петр Великий», 1803), С. А. Ширинского-Шихматова («Петр

---

[1] Вопрос об отношении Пушкина к личности и деятельности Петра Первого, об отражениях Петра в творчестве поэта не подвергался монографическому исследованию в советском пушкиноведении. О статьях И. Л. Фейнберга, собранных в его книге «Незавершенные работы Пушкина» (М., 1955 и ряд позднейших, дополненных изданий), см. ниже. Работа французского исследователя В. Арменжона «Пушкин и Петр Великий» (Arminjon Victor. Pouschkine et Pierre le Grand. Paris, 1971), добросовестная и обстоятельная, во многом, однако, опирается на устарелые взгляды «вульгарных социологов» и содержит спорные положения.

Великий, лирическое песнопение в осьми песнях», 1810), Александра Грузинцева («Петриада, поэма эпическая», 1812; изд. 2-е, 1817) и др.

Вышедшая в свет в 1818 г. «История государства Российского» Карамзина определила надолго тематику поэзии декабристского направления. Отразилась она и в творчестве Пушкина начиная с VI песни «Руслана и Людмилы», продолжаясь в оставшихся незавершенными поэме и трагедии о Вадиме Новгородском и завершаясь «Борисом Годуновым», законченным 7 ноября 1825 г., почти накануне восстания декабристов — события, вызвавшего глубокое отражение в мировоззрении и творчестве поэта.

Если, однако, за все время, предшествующее возвращению Пушкина из ссылки, имя Петра I упоминается в его стихотворениях и поэмах всего четыре раза, да и то вскользь или шутливо, то это не значит, что личность и деятельность Петра были вне его интересов и размышлений. Напомним его поездку с И. П. Липранди в январе 1824 г. из Одессы в Бендеры и Варницу — в места, связанные с судьбою Карла XII и Мазепы после их полтавского поражения, где Пушкин напрасно искал могилу изменника-гетмана, что нашло позднее отражение в III песни «Полтавы».

Несколько ранее поэт записывает в Кишиневе свои замечательные размышления о личности и значении Петра сравнительно с его ничтожными преемниками и с самою Екатериной II, датированные 2 августа 1822 г. и представляющие собою статью полуисторического и полупамфлетного характера. «По смерти Петра I, — начинается статья, — движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного <...> Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностию подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения...» и т. д. Итак, здесь и далее Петр — «сильный человек», «северный исполин», человек «необыкновенной души», который «искренно любил просвещение» и «гений» которого «вырывался за пределы своего века». Но вместе с тем он — «самовластный государь», вокруг которого «история представляет <...> всеобщее рабство»; «все состояния, окованные без разбора, были равны пред его дубинкою. Все дрожало, все безмолвно повиновалось». И наконец такое общее заключение: «Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон» (*Акад.*, XI, 24 и 288—289).

В этих лапидарных, отчеканенных определениях уже в сущности заключен в эмбриональной форме позднейший двойственный, а точнее, двусторонний и глубоко диалектический взгляд поэта на личность и деятельность Петра,— взгляд, высшим, самым глубоким и совершенным выражением которого явится десятилетие спустя «Медный Всадник».

События 14 декабря 1825 г. и последовавшие за разгромом восстания следствие, суд и приговор над дворянами-декабристами, наконец, возвращение поэта из ссылки и свидание его 8 сентября 1826 г. с Николаем I заставили Пушкина многое пересмотреть в его воззрениях на прошлое

и настоящее России. Историзм, всегда свойственный Пушкину и составлявший основу его общественно-философских взглядов, выражался у него прежде всего в стремлении отыскать причинные связи между современностью и той эпохой, которая легла в ее основу,— эпохой Петра I. В этот момент «властитель слабый и лукавый» (как позднее назвал поэт Александра I) сменился новым царем, «суровым и могучим» (как назвал он Николая I в стихах, посвященных 25-летию Лицея, 19 октября 1836 г.). «Необъятная сила правительства, основанная на силе вещей» — по формуле, введенной Пушкиным в составленную им по распоряжению Николая записку «О народном воспитании» (1826),— воплощалась для него в новой власти, и с этой властью, по убеждению возвращенного из ссылки поэта, надо было устанавливать взаимоотношения. Образцом же отношений между самодержавным монархом и его избранными подданными, ближайшими помощниками и советниками, был Петр Великий. В этом смысле человеческий образ его был намечен еще Ломоносовым в неоконченной поэме «Петр Великий» и во многих одах, а сформулирован кратко и выразительно Державиным в оде «Вельможа» (1794):

Оставя скипетр, трон, чертог,
Быв странником, в пыли и в поте,
Великий Петр, как некий бог,
Блистал величеством в работе:
Почтен и в рубище герой!

Этой формулировкой, расширив ее и углубив, воспользовался Пушкин в своего рода программном стихотворении, написанном 22 декабря 1826 г. и нейтрально озаглавленном «Стансы» («В надежде славы и добра»), где он, сопоставляя нового царя с его пращуром Петром, указывал Николаю I путь, которому тот должен следовать. Напомним известные строки, посвященные Петру. Несмотря на «мятежи и казни», «мрачившие» «начало славных дней Петра»,

...правдой он привлек сердца
<...> нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.

(*Акад.*, III, 40)

«Буйные стрельцы» — реакционные бунтари, восстававшие против Петра ради сохранения старины; Долгорукой — князь Яков Федорович, мудрый и смелый советник, поучающий царя, направлявший его деятельность. Таким советником хотел быть и сам поэт в отношении Николая.

В «Стансах» дается положительное изображение Петра — «вечного работника» на троне, который «смело сеял просвещенье» и «не презирал страны родной». В этих словах нет противоречия с тем, что писал Пушкин в исторических замечаниях 1822 г.: Петр, суровый, беспощадный и решительный в своей преобразовательской деятельности, мог «презирать человечество», т. е. не считаться с судьбами конкретных людей, даже с их гибелью во имя своих далеких целей, но он «не презирал страны

родной» — исторического, государственного и национального целого России, потому что вся его жизнь и деятельность были посвящены вдохновенному строительству во имя «предназначенья», т. е. будущего страны. В этих словах можно усмотреть и намек на Александра I, презиравшего свой народ и свою страну.

Заключительная строфа стихотворения является прямым наставлением новому царю:

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

(*Акад.*, III, 40)

Признание Пушкиным «семейного сходства» между Николаем I и Петром отражает, очевидно, не только распространенное тогда и ставшее потом официозным комплиментарное сопоставление, но и его собственное, еще не остывшее впечатление от встречи и беседы с царем 8 сентября 1826 г. Впоследствии, когда существенно изменился взгляд поэта на Николая I, он внес в свой дневник под 21 мая 1834 г., слова, которые якобы «кто-то» (возможно, он сам) сказал о царе: «Il y a beaucoup de praporchique en lui, et un peu du Pierre le Grand» («В нем много от прапорщика и немножко от Петра Великого») (*Акад.*, XII, 330).

Напоминание о «незлобной памяти» Петра, соединенной с твердостью, относится, конечно, к осужденным декабристам. Оно должно было указать царю на необходимость смягчения их участи, на то, что царь не должен быть мстительным. Это тот лейтмотив, который проходит потом через ряд произведений поэта, связанных с образом Петра. Способность царя-преобразователя не только наказывать виновных, но и великодушно прощать их отмечается много раз в «Истории Петра I» и является темой программного стихотворения «Пир Петра Первого», которым открывается I том пушкинского журнала «Современник» (1836).

Начиная со «Стансов» петровская тема широко и прочно входит в творчество Пушкина, охватывая почти все его жанры (кроме драматургии) — лирику, поэмы, прозаический роман, публицистику и критику, мемуары, историческое исследование, и занимает его мысли буквально до последних часов перед роковой дуэлью с Дантесом.

Первым по времени и одним из важнейших по значению среди этих разнородных произведений является исторический роман, над которым Пушкин работал летом 1827 г. в Михайловском, — роман, получивший от редактора посмертного издания — Жуковского очень точное и удачное название — «Арап Петра Великого».[2] В нем Пушкин подошел к петровской теме с родовой, даже семейной точки зрения. Воспоминания о зна-

---

[2] Другое заглавие романа, сообщаемое С. Н. Карамзиной, — «Ибрагим — царский арап», — представляло, вероятно, первоначальный проект Жуковского. См.: Пушкин в письмах Карамзиных. М.—Л., 1960, с. 202, 315, 408.

менитом и своеобразном предке Абраме (Ибрагиме) Петровиче Ганнибале, почти забытые в Кишиневе и Одессе, оживились с приездом в новую ссылку — в Михайловское. Здесь поэт получил от двоюродного деда Петра Абрамовича Ганнибала и сохранил у себя немецкую биографию своего прадеда Ганнибала, которую он частично перевел на русский язык.[3] В стихотворении, обращенном к Н. М. Языкову с приглашением приехать в Михайловское, он писал, вспоминая о том времени, когда там жил, уже после смерти Петра I, удалившийся от дел Абрам Ганнибал:

В деревне, где Петра питомец,
Царей, цариц любимый раб
И их забытый однодомец
Скрывался прадед мой арап
. . . .
Я жду тебя...

(*Акад.*, II, 322—323

Все это, а также очерки А. О. Корниловича о быте Петровской эпохи, напечатанные в альманахе «Русская старина» (1825), и знакомство с некоторыми источниками по истории жизни и царствования Петра, начиная с «Деяний Петра Великого» И. И. Голикова (1788), обусловили замысел романа о Петре и его «питомце», предке поэта, как исторического романа семейно-бытового плана, в духе романов Вальтера Скотта, где, по определению Пушкина, читатель знакомится «с прошедшим временем <...> современно, домашним образом» (*Акад.*, XII, 195). Петр, играющий в романе важную роль, движущую сюжет, изображен как простой и добросердечный человек (который, однако, может быть и деспотическим распорядителем чужих личных судеб), как любезный хозяин, хороший семьянин, не герой-полководец, но разносторонний мирный деятель, руководитель «огромной мастеровой» (какой представлялась молодому арапу Россия), «где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенному порядку, делает свое дело» (*Акад.*, VIII, 13). При этом сглажены темные, отрицательные стороны той трудной эпохи, когда Россия, лишь недавно вышедшая победительницей из долгой войны, едва приступала к мирному строительству, требовавшему многих жертв от народа и осложненному борьбой Петра с явными и скрытыми противниками его преобразований, даже в собственном семействе.

Роман Пушкина о его предке не был закончен. Поэт бросил его, даже не развернув еще сюжетной линии, посвященной личной судьбе арапа — его женитьбе и его семейной драме, связанной, очевидно, с появляющимся в начале последней главы молодым петровским офицером, сыном стрельца Валерианом, которого любит невеста арапа, боярышня Наталья Ржевская. Но намечающаяся в будущем неизбежная драма между арапом и его женой, драма, источником которой являются по существу политические расчеты и деспотическая воля Петра, уже не могла быть

---

[3] См.: *Рукою Пушкина*, с. 34—59.

связана с царем непосредственно. Роль его в романе исчерпывалась тем, что успел сказать о нем поэт, тем более что описанные им события происходят всего года за два до смерти Петра. Что же касается биографической линии сюжета, связанной с Ганнибалом, то она далеко отошла от исторической правды — даже в тех пределах, в каких была известна Пушкину. Продолжая историко-биографический роман об арапе, ему пришлось бы описывать эпоху, наступившую после смерти Петра при его «ничтожных наследниках», в годы дворцовых переворотов и служебных неудач Ганнибала, а это едва ли могло входить в планы поэта. Своего рода тупик, который ощутил Пушкин при реализации своего замысла, и стал, по-видимому, главной причиной незавершенности романа.

Через несколько месяцев после того как был оставлен роман об арапе Петра Великого, Пушкин 5 апреля 1828 г. начал другое произведение, посвященное петровской теме, — историческую поэму «Полтава».

Созданию поэмы предшествовало глубокое изучение как первоисточников, так и современной литературы (поэмы Байрона «Мазепа», Рылеева «Войнаровский», Мицкевича «Конрад Валленрод», повесть Е. Аладьина «Кочубей»).

Некоторые исторические труды и документальные материалы, касающиеся войны между Петром I и Карлом XII (1700—1721), с ее кульминацией — Полтавской победой Петра (1709), а также измены украинского гетмана Мазепы, были известны Пушкину давно, еще с 1824 г. С другими он ознакомился, когда писал роман об арапе Петра Великого и позднее, обдумывая свою поэму.[4]

«Полтава» была задумана и исполнена как поэма нового типа, сочетающая в себе историко-героическую тему с романической (или новеллистической). Она названа «Полтавой» (а не «Мазепой», как называли ее вплоть до выхода в свет и даже позже в литературных кругах и журналах), отчасти затем, чтобы не напоминать о поэме Байрона «Мазепа», из которой взят Пушкиным эпиграф, а главное — чтобы указать на основную идейно-художественную линию поэмы — линию историческую, завершающуюся Полтавской победой Петра. Самый эпиграф к «Полтаве», заимствованный из поэмы Байрона, не имеющей с пушкинской поэмой ничего общего, указывает на ту же главную линию. В переводе с английского подлинника этот эпиграф читается: «Мощь и слава войны, вероломные, как и люди, их суетные поклонники, перешли на сторону торжествующего царя» (*Акад.*, V, 16, 524).

Сам Петр появляется лишь в III песни поэмы, утром перед Полтавским боем. Но его участие в событиях, его могучий дух чувствуются с самого ее начала, и замысел поэта вскрывается уже в тех вступительных строфах, которыми «Полтава» открывалась в черновой рукописи по первоначальному плану (см.: *Акад.*, V, 175—181 (черновик); ср. с. 23 — окончательный текст, после изменения плана).

---

[4] См.: Измайлов Н. В. Пушкин в работе над «Полтавой». — В кн.: Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1976, с. 10—34.

В III песни поэмы образ Петра, гения-полководца, героя, бестрепетно идущего на «зело опасное дело» — решающее генеральное сражение, потому что он уверен и в своих войсках и в своих помощниках, господствует над всем окружающим. Его образ резко противопоставлен образу другого прославленного героя — Карла XII, которого случайное ранение, вызванное дерзкой и бесцельной отвагой, лишает воли.

В двух следующих одна за другой и противостоящих картинах[5] с огромной силой показаны оба противника: Петр I — истинный герой, полководец, вождь и создатель нового Русского государства, «свыше вдохновенный», уверенный в победе, и герой-авантюрист, Карл XII, боевая слава которого была гибельной для его собственного народа и померкла при неудаче. Героизация Петра составляет основную и блестяще решенную поэтом задачу. Но героизм Петра сказывается не только в бою, но и после победы: он — человек, «памятью незлобный», самая победа делает его дружелюбным к побежденным врагам, он сожалеет лишь о том,

Зачем король не меж гостей,
Зачем изменник не на плахе.

И снова здесь противопоставление пирующего со своими «славными пленниками» победителя и бегущих «в глуши степей нагих», связанных общей судьбою побежденного короля и спасающего от плахи свою жизнь гетмана.

Заключение поэмы дает общую оценку судьбы и значения основных исторических героев поэмы — и Петра, и его врагов:

Прошло сто лет — и что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?

Мерилом для суждения о том, что «осталось» от Петра и Карла, Мазепы и Кочубея, служат совершенные ими дела, оцененные историей, и народная память о них. Ни шведский король, ни Мазепа, ни «дочь преступница» казненного Кочубея не сохранились в памяти народа, не оставили по себе ничего исторически ценного, и остался в веках один подлинный герой — полтавский победитель, борец за будущее своего государства и народа:

В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе,
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.

(*Акад.*, V, 63)

Таким образом, в двух важнейших произведениях, посвященных Пушкиным Петру Великому в 20-х годах, — в романе о Петре, мирном строителе новой столицы, любящем семьянине, заботливом «свате» своего крестника-арапа, и в поэме, где он является национальным героем, грозным и великодушным полководцем-победителем, — Петр изображен

---

[5] «Полтава», песнь III, стихи 180—193 и 204—228 (*Акад.*, V, 56—57).

с двух разных сторон. Но в обоих он идеализирован и в обоих, несмотря на их историческую и художественную правдивость, изображен односторонне и, следовательно, неполно. Петр, каким он был во всей его сложности и противоречивости как человек и исторический деятель, не мог быть дан ни в том, ни в другом произведении. И еще работая над ними, поэт-историк думает уже об ином пути для познания и изображения героя, ставшего ему близким и любимым, — о создании истории Петра.

Мысль написать историю жизни и царствования Петра Великого зародилась у Пушкина, по-видимому, еще в то время, когда он обдумывал и писал роман о своем прадеде Абраме Ганнибале. Об этом свидетельствует запись в дневнике А. Н. Вульфа от 16 сентября 1827 г., где приведены слова Пушкина в разговоре с Вульфом: «Я непременно напишу историю Петра I ...».[6] К осуществлению этого намерения он приступил, однако, значительно позже, когда в 1831 г. подал А. Х. Бенкендорфу записку с изложением своих пожеланий относительно возможности работы по редактированию «политического и литературного журнала». К этому он добавлял: «Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках <...> Могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III» (*Акад.*, XIV, 256). По докладу А. Х. Бенкендорфа, Николай I, уже знавший о желании Пушкина из разговора с ним при встрече в Царском Селе, дал свое согласие, что и было помечено Бенкендорфом на записке Пушкина.[7] Но еще прежде, чем начать заниматься в Государственном архиве материалами о Петре, поэт в начале 1832 г. выхлопотал себе разрешение ознакомиться с рукописями, касающимися Петра, в библиотеке Вольтера, хранившейся тогда в Эрмитаже и доступной лишь с позволения царя. В следующем, 1833 г. он привлек к работе над материалами о Петре в московских архивах М. П. Погодина. Все это свидетельствует о том серьезном значении, какое придавал Пушкин своему историческому труду, и о том, как тщательно он к нему готовился.

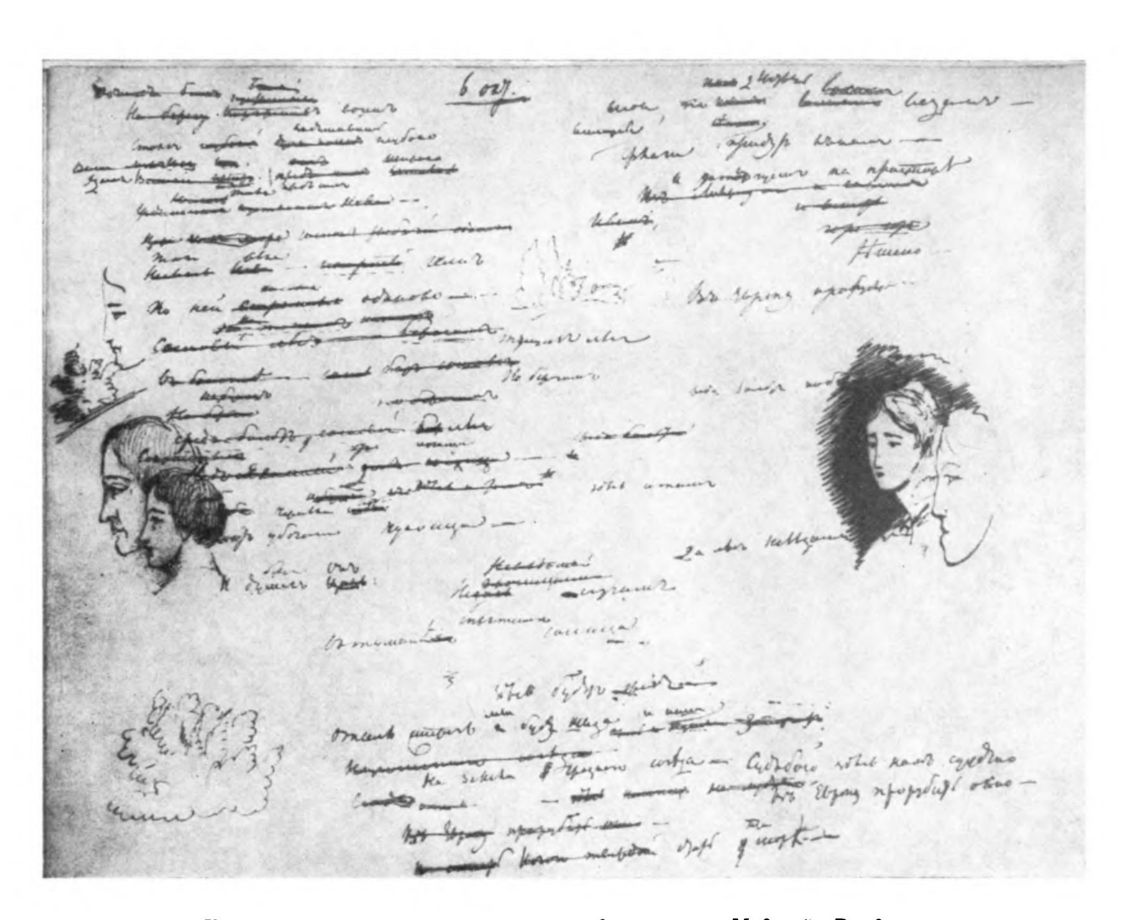
В то время, однако, когда Пушкин продолжал обдумывать «Историю Петра» и собирать материалы, перед ним в январе 1833 г. возникла новая тема, вскоре захватившая его целиком, — тема восстания Емельяна Пугачева, притом осуществляемая в двояком виде: как историческое исследование и как роман об офицере-пугачевце — будущая «Капитанская дочка».[8] Эти два больших замысла, и прежде всего историческое исследование, без которого не мог быть написан роман, отвлекли его надолго от петровской темы: сначала изучением архивных материалов о Пуга-

---

[6] Вульф А. Н. Из дневника. — В кн.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. I. М., 1974, с. 416.

[7] *Акад.*, XIV, 382; *Рукою Пушкина*, с. 838—843; *Письма*, т. III, с. 359—363.

[8] См. статью Н. Н. Петруниной «У истоков „Капитанской дочки"» в кн.: Петрунина Н. Н., Фридлендер Г. М. Над страницами Пушкина. Л., 1974.



Начало первого чернового автографа поэмы «Медный Всадник»
(рукопись ПД 845, л. 7 об.).



Сенатская площадь.

Гравюра Б. Патерсена. 1806 г.

чевском восстании, затем составлением первой редакции текста «Истории Пугачева», наконец, путешествием в места, охваченные восстанием в 1773—1774 гг. На обратном пути из Оренбурга и Уральска, приехав 1 октября 1833 г. в Болдино, он тотчас принялся за обработку всего написанного, а также собранного в поездке материала, одновременно занимаясь, как будет показано ниже, многими другими творческими замыслами, в первую очередь поэмой «Медный Всадник».

Но к «Истории Петра» он смог вернуться еще нескоро: весь 1834 год был занят подготовкой к печати и печатанием «Истории Пугачевского бунта» (как по приказанию Николая I была названа «История Пугачева»). И все это время, отнюдь не покидая мыслей об «Истории Петра», он лишь спорадически возвращался к ней. Книга о Пугачеве была выпущена в свет в самом конце 1834 г., и только после этого поэт смог вполне вернуться к труду, который он считал главным делом своей жизни, — к «Истории Петра Первого». Этим историческим исследованием заняты почти исключительно последние годы жизни Пушкина — 1835, 1836 и даже начало 1837-го, до последнего дня накануне дуэли, как о том свидетельствуют дневники и письма его друзей.

По смерти поэта обширную рукопись его незавершенного труда о Петре пытался издать Жуковский. Но эта попытка натолкнулась на запрещение Николая I, «по причине многих неприличных выражений на счет Петра Великого», содержавшихся в труде Пушкина, просмотренном царем. После этого рукопись много лет оставалась неизданной, кроме извлечений, вошедших в «Материалы» Анненкова и в дополнительный том сочинений Пушкина.[9] Отдельные отрывки публиковались по копиям Анненкова и позже (см.: *Акад.*, X, 483—486). Но самая рукопись была надолго забыта и даже затеряна, и лишь в 1917 г. обнаружена случайно и уже не в полном составе в одном из подмосковных имений, принадлежавших внукам поэта. В начале 1920-х годов найденная рукопись поступила в Академию наук, но напечатана полностью была лишь в 1938 г. в X томе академического издания (под редакцией П. С. Попова). Так, более чем через столетие после гибели ее творца пушкинская история Петра I увидала свет и стало возможным ее всестороннее исследование, которое и было выполнено в последние годы И. Л. Фейнбергом.[10]

Исследование И. Л. Фейнберга показало, что рукопись Пушкина, хотя и не завершенная и далеко еще не готовая к печати, является не механическим рядом выписок из «Деяний Петра Великого» Голикова, расположенных в летописно-хронологическом порядке, но глубоко продуманным трудом, проникнутым единой концепцией, многие части кото-

---

[9] Соч. Пушкина, изд. П. В. Анненкова. Т. I. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855, с. 405—412; т. VII. Дополнительный. Ч. II. СПб., 1857, с. 7—28.

[10] Фейнберг Илья. Незавершенные работы Пушкина. Изд. 1-е. М., 1955 (раздел «Истории Петра I»; см. также следующие издания).

рого изложены той сжатой, ясной и полновесной прозой, какая характерна для Пушкина в его исторических и художественных произведениях, подобных «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке».

Концепция эта заключается в признании двойственного, даже противоречивого характера и значения деятельности Петра. Зачатки подобного диалектического понимания обнаруживались уже в «заметках» по истории XVIII в., датированных 2 августа 1822 г.; проявляется оно и в двух произведениях конца 20-х годов, изображающих Петра с двух разных сторон — как хозяина «мастеровой» в «Арапе Петра Великого» и как полководца-победителя в «Полтаве».

Значение Северной войны, кульминацией которой явилась победа под Полтавой, сжато сформулировано Пушкиным в «Предисловии» к первому изданию (1829) поэмы, названной именем победы, которую ценою огромных усилий одержал Петр: «Полтавская битва есть одно из самых важных и самых счастливых происшествий царствования Петра Великого. Она избавила его от опаснейшего врага; утвердила русское владычество на юге; обеспечила новые заведения на севере, и доказала государству успех и необходимость преобразования, совершаемого царем» (*Акад.*, V, 335).

Эта сжатая «деловая» формула была позднее развернута и облечена в художественную, афористическую форму в статье, писавшейся, по-видимому, в 1834 г., т. е. уже после «Медного Всадника», но до начала основной работы над «Историей Петра», и называемой не очень точно, но согласно заголовку в черновой рукописи, «О ничтожестве литературы русской». Вот эта очень известная и многократно цитировавшаяся формулировка:

«Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, — при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы». И далее, соответственно общей задаче статьи о происхождении русской литературы: «Петр не успел довершить многое, начатое им. Он умер в поре мужества, во всей силе творческой своей деятельности. Он бросил на словесность взор рассеянный, но проницательный <...> Новая словесность, плод новообразованного общества, скоро должна была родиться» (*Акад.*, XI, 269). В черновых рукописях этому рассуждению соответствует краткий план: «Петр создал войско — флот — науки — законы, но не мог создать словесности, которая рождается сама собою, от своих собственных начал» (*Акад.*, XI, 495); за словами о том, что Петр умер «во всей силе своей творческой деятельности, еще только в полножны вложив победительный свой меч», следует: «Он умер, но движение, приданное мощною его рукою, долго продолжалось в огромных составах государства. Даже меры *революционные*, предпринятые им по необходимости, в минуту преобразования, и которые не успел он отменить, надолго еще возымели силу закона» (*Акад.*, XI, 497—498). И далее: «Петр Первый был нетерпелив. Став главою *новых*

идей, он, может быть, дал слишком крутой оборот огромным колесам государства» (*Акад.*, XI, 501).

К такой сложной, двойственной оценке деятельности Петра приходит Пушкин (повторяя местами почти дословно мысль, выраженную в замечаниях 1822 г.) в подготовлявшемся исследовании о развитии новой русской литературы с начала XVIII в. под влиянием французской как следствии петровских преобразований, сближения России с Европой, от которой веками она была отчуждена.

Итак, Петр — реформатор, деятельность которого в ее основных линиях направлена на пользу России, на укрепление ее государственной мощи, на осуществление далеко идущих задач; но Петр и деспот, крутой самодержец, разрушающий все старое, все народное, все то, в чем он видит помеху своим преобразованиям. «В общем презрении ко всему старому, народному ‹была› включена и народная поэзия, столь живо проявившаяся в грустных песнях, в сказках и летописях» (*Акад.*, XI, 501). В своем нетерпении Петр не считался с тяжелыми последствиями тех или иных реформ. В частности, таким вредным последствием «революционных» мер, предпринятых Петром, Пушкин считал разрушение старинного служилого дворянства, место которого стало занимать «дворянство, даруемое [чином] порядком службы, мимо верховной власти» (*Акад.*, XI, 498).

В этих кратких, но глубоко продуманных замечаниях, вошедших в статью 1834 г., содержится та концепция, которую Пушкин последовательно проводит в «Истории Петра Первого».

Действительно, почти на всем протяжении сохранившегося текста «Истории» наряду с изложением событий царствования Петра, т. е. деятельности его за каждый год, показывающей великого государственного деятеля с мощным творческим умом, всецело преданного интересам и будущности своей страны, своего государства — государства прежде всего, перечисляются и указы за те же годы, в которых тот же Петр нередко предстает как деспот, жестокий и беспощадный. И эту черту, эту двойственность Пушкин тщательно отмечает, давая оценки подобным распоряжениям. Так, в июньские дни 1718 г., когда заканчивалось «дело» царевича Алексея, который 26 июня «умер отравленный», Петр «20-го ‹июня› запрещает бедным просить милостыню (см. о том указ жестокий как обыкновенно)» (*Акад.*, X, 247). Через два месяца, 18 августа, «Петр объявил еще один из тиранских указов: под смертною казнию запрещено писать *запершись*. Недоносителю объявлена равная казнь» (это связано с тем, что «следствие над соучастниками Алексея еще продолжалось») (там же). Приведя ряд указов 1722 г., касающихся содержания армии за счет подушного оклада крестьян, и среди них, казалось бы, безвредное постановление о том, что «предоставляется на волю помещиков строить новые усадьбы для солдат или разместить их по избам», Пушкин делает к этим словам примечание: «Но и тут закорючки и варварства», со ссылкой на «Деяния» Голикова (*Акад.*, X, 259). Хроника событий 1722 г. начинается словами: «Петр был гневен.

Несмотря на все его указы, дворяне не явились на смотр в декабре. Он 11 янв.‹аря› издал указ, превосходящий варварством все прежние, в нем подтверждал он свое повеление и изобретает новые штрафы. *Нетчики* поставлены *вне закона*» (*Акад*., X, 257).

Не продолжая этот ряд почти ежегодных «тиранских», «варварских», «жестоких» указов, приведем исключительный по силе и значительности текст, как бы подводящий итог всем подобным актам и делающий из них общий вывод (текст этот относится к 1721 г., автограф его утрачен и сохранился лишь в составе цензурных выписок 1840 г., как предназначенный к исключению при издании): «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плод ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего, — вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика.

NB. Это внести в *Историю Петра,* обдумав».[11]

Безвременная смерть не позволила Пушкину исполнить последнее намерение. Но и кратко изложенный вывод, говорящий о двух сторонах деятельности Петра, выражает вполне его мысль, его концепцию петровского царствования — великого и созидательного для вступающего в новую эпоху государства, тяжкого и даже мучительного для тех широких слоев населения, которые должны были на себе выносить всю тяжесть новой империи, включая сюда не только крестьян и прочие «податные» сословия, но, в представлении Пушкина, и известную часть старинного дворянства, униженного и в конце концов разоренного петровскими преобразованиями, выдвинувшими новых людей. Об этом писал Пушкин еще в 1830 г., изображая себя в «Моей родословной» как обломка «родов дряхлеющих» (или «униженных»), как потомка «бояр старинных» и как «мелкого мещанина». То же явление представляют собой герои его поэм 30-х годов — Иван Езерский и Евгений в «Медном Всаднике». Для понимания последнего произведения нельзя не иметь в виду приведенную выше сентенцию, выражающую с полной отчетливостью двоякое восприятие Пушкиным личности и деятельности Петра — великого созидателя и одновременно беспощадного деспота, который, по словам молодого Пушкина, высказанным за много лет до работы над «Историей Петра», «презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон».

---

[11] Цитируется по тексту, пересмотренному и исправленному по архивному подлиннику И. Л. Фейнбергом, см.: Фейнберг Илья. Незавершенные работы Пушкина. Изд. 3-е. М., 1962, с. 58—59. См. также: Пушкин А. С. Собр. соч. в 10-ти т., т. 8. М., Гос. изд-во «Худож. лит.», 1962, с. 323 («История Петра I» напечатана под редакцией И. Л. Фейнберга).

8

В конце 1820-х годов стал намечаться в творчестве Пушкина поворот к новой тематике и новым героям — тем, кого он позднее назвал очень точно «ничтожными». Этому повороту способствовали многие причины: и приближающийся конец «Евгения Онегина», окончание работы над романом без завершения судеб его героев, и неприемлемые для поэта требования пристрастной критики, чтобы он посвятил себя официозно-патриотическому одописанию в честь «героев» персидской и турецкой войн, которых он считал лжегероями, называя их иронически «русскими Камиллами, Аннибалами» (*Акад.*, V, 371). На современных лжегероев указывал поэт и в наброске плана к неоконченной повести в стихах «Езерский» (о которой речь будет ниже), защищаясь от нападок критики: «Зачем ничтожных героев? Что делать — я видел Ипс‹иланти›, Паске‹вича›, Ермолова» (*Акад.*, V, 410).

В том же «Езерском», развивая мысль о праве поэта свободно избирать себе героя, он отвергает всех героев романтического типа, в том числе и байроновских, а также героев своих собственных произведений, включая Евгения Онегина:

Свищите мне, кричите bravo,
Не буду слушать ничего.
Я в том стою — имею право
Избрать соседа моего
В герои нового романа,
Хоть не похож он на цыгана,
Хоть он совсем не басурман,
Не второклассный Дон-Жуан,
Гонитель дам и кровопийца
С разочарованной душой,
С полудевичьей ‹?› красотой,
Не демон, даже не убийца,
Не чернокнижник молодой,
А малой добрый и простой.

(*Акад.*, V, 411—412)

Последние десять стихов этой строфы имеют и другую редакцию:

В герои повести смиренной,
Хоть человек он не военный,
Не бунтовщик, не басурман,
Не демон, даже не цыган,
А просто гражданин столичный,
Каких встречаем всюду тьму,
Ни по лицу, ни по уму
От нашей братьи не отличный,
Опрятный, смирный и простой,
А впрочем, малой деловой.

(*Акад.*, V, 412)

Из этих слов мы можем составить себе понятие о том, чем является в представлении Пушкина его «ничтожный герой»: это человек ничем не выдающийся, принадлежащий всецело толпе других, подобных ему,

в противоположность резко очерченным, красочным и необычным, царящим над толпою героям романтической поэзии и даже светской повести или романа. Подчеркнута ординарность «ничтожного героя» — ординарность и в личном, и в общественном отношениях: с «ничтожным героем» в литературу — впервые с такой отчетливостью социальных черт — вводится герой (или, точнее, персонаж), принадлежащий к среднему, даже низшему общественному слою (не говорим, разумеется, о героях из крестьянской среды, появляющихся в «Дубровском» — романе, насыщенном элементами социальной борьбы, — которых отнюдь нельзя назвать «ничтожными», и о крестьянах в «Истории села Горюхина», изображенных с точки зрения не автора, а И. П. Белкина).

В болдинскую осень 1830 г. «ничтожный герой» (далеко не всегда принадлежащий толпе и не всегда ничтожный психологически) широко входит в творчество Пушкина — в стихотворной повести «Домик в Коломне» и в «Повестях Белкина».

Само название первой из них — «Домик в Коломне» — уже указывает на социальную «ничтожность» ее персонажей. Коломна пушкинского времени — это захолустная окраина Петербурга, населенная по набережной Фонтанки средничиновничьими и среднедворянскими семьями, а далее, в переулках вокруг Покровской площади, мещанскими и мелкочиновничьими. Пушкин хорошо знал этот район и его население — как известно, здесь он жил со своей семьей в годы от окончания Лицея до высылки на юг (1817—1820). «Бедная старушка», вдова «с одною дочерью», вероятно вдова мелкого чиновника, живущая на пенсию, — это типичные обитательницы Коломны.

Дочка, «простая, добрая моя Параша», в которой «смиренье <...> изображалось нежно», когда она «тихо и прилежно» молилась в церкви, представляется на первый взгляд очень обыкновенной и неинтересной, особенно по сравнению с молящейся в той же церкви гордой и надменной графиней, перед которой Параша «казалась, бедная, еще бедней». Но именно эта «ничтожная» Параша оказывается героиней романической интриги, обрывающейся внезапно, но достаточно ясно показывающей, как независима и решительна в своих действиях эта «смиренная» девушка. Вся повесть проникнута авторской иронией и вместе с тем авторским сочувствием к своим героям. Мало понятый современниками, «Домик в Коломне» впоследствии оказал громадное влияние на жанр русской стихотворной повести, передав ей и свою строфику — октаву, созданную Пушкиным.[1]

Написанные одновременно с «Домиком в Коломне» «Повести Белкина» дают несравненно более широкую картину русской жизни разных общественных слоев — от богатых и даже знатных помещичьих семей до

---

[1] См.: Томашевский Б. В. Поэтическое наследие Пушкина. (Лирика и поэмы). — В кн.: Пушкин — родоначальник новой русской литературы. М.—Л., 1941, с. 297—305. Вторично опубликовано: Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 2. М.—Л., 1961, с. 393—404.

мелких чиновников и городских ремесленников. «Ничтожным героем» является прежде всего по существу сам Иван Петрович Белкин, продолжатель типа Митрофана Простакова из «Недоросля» Фонвизина и незадачливый сочинитель, пробующий себя безуспешно в разных родах литературы. Следует заметить, что в «изданных» им повестях, якобы рассказанных ему разными лицами (титулярным советником А. Г. Н., подполковником И. Л. П., приказчиком Б. В., девицею К. И. Т. — *Акад.*, VIII, 61), нет никаких черт, характерных для их рассказчиков, или признаков работы над ними Белкина: все они написаны одним автором — Пушкиным, стиль, культура и мысли которого характерны для всего цикла. Некоторые «белкинские» черты присутствуют лишь в рассказчике «Выстрела», однако не во вступительной части повести, не в рассказах Сильвио и графа, но в почтительном, даже униженном обращении с графом самого рассказчика — мелкого помещика, вышедшего в отставку из гусарских офицеров. Однако выбор фиктивных рассказчиков характерен для нового, антиромантического направления Пушкина.

Действующие лица в «Повестях Белкина» принадлежат к двум разновидностям «ничтожных героев». Одни из них «ничтожны» по своему социальному положению. Таковы гробовой мастер Адриан Прохоров и гости на празднике у Готлиба Шульца — словом, все персонажи «Гробовщика»; таков Самсон Вырин, станционный смотритель, «сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда» (*Акад.*, VIII, 97); таков и «бедный армейский прапорщик», романтически настроенный Владимир, первый из двух героев «Метели»; таков, по-видимому, и Сильвио, мрачный герой «Выстрела». Почти каждому из них противопоставлен иной герой — житейски счастливый, удачливый, но лично, психологически «ничтожный» — граф в «Выстреле», Бурмин в «Метели», Минский в «Станционном смотрителе». Таков же (без противопоставления) и Алексей Берестов в «Барышне-крестьянке» — «мрачный и разочарованный» романтический герой по внешности, простой и добрый малый в действительности; в сущности, не плохой, но «ничтожный» по духовному содержанию (правда, «романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумия» — *Акад.*, VIII, 123; эта мысль не может не внушить к нему сочувствия, хотя осуществить ее ему не приходится). Безусловно, подлинным героем выступает отец Дуни, станционный смотритель, пытающийся спасти от вероятной гибели свою дочь, но эту попытку разрушает непреодолимое неравенство общественных положений, и, следовательно, сил, и он гибнет, став жертвой этого неравенства и своего бессилия. Особняком психологически стоит Сильвио, отнюдь не «ничтожный» как личность, хотя и «ничтожный» социально, и противопоставленный «счастливому», знатному и богатому графу, «ничтожному», однако, как личность, в духовном смысле.

Намерение Пушкина в «Повестях Белкина» — брать вполне традиционные литературные сюжеты и показывать, как могут разрешаться такие

ситуации, если их строить не по литературным схемам, а в зависимости от неожиданных и не укладывающихся в схемы поворотов, происходящих в действительной жизни.

Осуществить такое творческое намерение можно было только изобразив в качестве героев новелл простых людей, живущих в обыденных условиях, какими являются все персонажи «Повестей Белкина»; но именно этих простых и «ничтожных» с виду людей ставит порою судьба, т. е. сама жизнь, в необычайные, чаще всего трагические положения или, наоборот, приводит к неожиданной и «счастливой» развязке («Метель», «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель»; в последней повести трагическим героем и жертвой становится в отличие от традиционной литературной схемы не дочь, а отец, тогда как дочь, по-видимому, находит свое, казалось бы невозможное, счастье).

В том, что «Повести Белкина» внесли в русскую литературу разнообразные типы «ничтожных героев» — простых людей, судьбы которых складываются не по традиционным литературным схемам, а так, как складывается сама жизнь с ее неожиданными поворотами, заключается их громадное, не только литературное, но и историческое значение: «Повести Белкина» вместе с «Домиком в Коломне» явились выражением новых тенденций русской общественной жизни.

Вместе с тем помимо «ничтожных героев», подобных Параше из «Домика в Коломне», станционного смотрителя Самсона Вырина, гробовщика, немца-сапожника и прочих персонажей «Повестей Белкина», Пушкин вводит и другой, особый тип «ничтожного героя» — тип обедневшего деклассированного дворянина, потомка знатного рода, опустившегося до положения мелкого чиновника, «регистратора», равного по чину и общественному положению станционному смотрителю и живущего жалованьем.

В сатирическом стихотворении «Моя родословная», написанном той же болдинской осенью 1830 г., что и «Домик в Коломне» и «Повести Белкина», сам поэт, обедневший потомок «бояр старинных», называет себя «русским мещанином» и бросает резкий вызов «новой знати», которая «чем новее, тем знатней», — новым родам, выдвинувшимся в придворной службе, во время дворцовых переворотов и составившим новую аристократию. В эти годы, в конце 20-х и в начале 30-х, Пушкин много думал о судьбе старинного, допетровского русского дворянства — о родах, не принадлежавших к придворной или сановной аристократии, но и не мелкопоместных, вроде И. П. Белкина; о родах, утративших свое былое историческое положение и участие в судьбах государства, свое материальное состояние. В этом среднем слое русского дворянства поэт видел передовых людей своего времени, носителей культуры, тот слой, из которого вышло подавляющее большинство русских писателей и поэтов и — что еще важнее — большинство участников тайных обществ, декабристов, казненных или сосланных после событий 14 декабря. Об этом свидетельствует позднейшая запись в дневнике Пушкина, от 22 декабря 1834 г., о разговоре его с вел. кн. Михаилом Павловичем, касавшемся положения

старинного дворянства: «Что касается до tiers-état» (третьего сословия, — *Н. И.*), что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристократии и со всеми притязаниями на власть и богатство? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много...» (*Акад.*, XII, 334—335).

Образ «ничтожного героя», коллежского регистратора из обнищавшего дворянского рода был создан Пушкиным в 1832—1833 гг. в лице Езерского, героя неоконченной сатирической поэмы, носящей в изданиях сочинений Пушкина начиная с 1939 г. заглавие по его фамилии. На ней нам и следует подробнее остановиться.

Неоконченная поэма, называемая «Езерский»,[2] впервые обратила на себя внимание П. В. Анненкова, который в «Материалах для биографии Пушкина» посвятил ей несколько замечаний, связывая ее с «Медным Всадником»: «Медный Всадник», писал биограф, «составлял вторую половину большой поэмы, задуманной Пушкиным ранее 1833 года и им не оконченной. От первой ее половины остался отрывок, известный под названием „Родословная моего героя“, напечатанный еще при жизни автора в Современнике 1836, том III ‹...› Как отрывок, так и поэма («Медный Всадник», — *Н. И.*) родились вместе или, лучше, составляли одно целое до тех пор, пока Пушкин, по своим соображениям, не разбил их надвое. Свидетельство рукописей в этом отношении не оставляет ни малейшего сомнения. „Родословная моего героя“ начинается там описанием бурного вечера над Петербургом, которое впоследствии, дополненное и измененное, перешло в поэму ‹...› Расчленив таким образом на два состава поэму свою, Пушкин преимущественно занялся отделкой второго звена, забыв первое или оставив его только при том, что было уже для него сделано ‹...› Сообразив все сказанное, читатель легко соединит в уме своем отрывок, известный под именем „Родословная моего героя“, с поэмой „Медный Всадник“. Нет сомнения, что пополненные таким образом один другим, оба произведения представляются воображению в особенной целости, которой теперь им недостает. Из соединения их возникает идея об обширной поэме, имеющей уже очертания и сущность настоящей эпопеи».[3]

В этих словах есть верные замечания о связи вступительных строк Первой части «Медного Всадника» с первой строфой поэмы «Езерский» (которую Анненков упорно называет «Родословной моего героя») — оба произведения начинаются описанием «бурного вечера над Петербургом». Но совершенно ошибочна основная мысль Анненкова — о первоначальном единстве обоих произведений, которые якобы только потом Пушкин, «по

[2] Этим именем назвал ее Жуковский, надписав его карандашом на обложке, куда он вложил беловую рукопись поэмы (см. ПД 959, бывш. ЛБ 2375).

[3] Соч. Пушкина, изд. П. В. Анненкова. Т. I. СПб., 1855, с. 381—386.

своим соображениям», разбил «на два состава», но которые каждый читатель «легко соединит в уме своем» и восстановит «в особенной целости».

Трудно понять, как Анненков, опытный читатель и тонкий исследователь пушкинских текстов, мог сделать такую ошибку, не заметив главного, очевидного различия между «Езерским» и «Медным Всадником»: первый написан «онегинскими» 14-стишными строфами, точно определенная рифмовка которых везде строго выдержана; второй — таким же 4-стопным ямбом, но астрофичным и с вольной, непрерывной рифмовкой. Между тем мысль Анненкова о начальном единстве обоих произведений глубоко вошла в сознание всех последующих пушкинистов, текстологов-публикаторов, работавших над ними и извлекавших из рукописей новые и новые, не связанные между собою отрывки, — П. И. Бартенева, П. А. Ефремова, П. О. Морозова, Л. И. Поливанова, Н. О. Лернера и др., включительно до В. Я. Брюсова, много занимавшегося «Медным Всадником».

Последний во вступительной статье к поэме, помещенной в «венгеровском» издании сочинений Пушкина,[4] отвергая предположение Анненкова о том, что «Медный Всадник» «составлял вторую половину большой поэмы», задуманной Пушкиным ранее 1833 г. и им не конченной, выдвигает другое построение, по существу, однако, очень близкое к тому, что предполагал Анненков. «Что касается „Родословной моего героя“, — читаем мы в статье Брюсова, — то свидетельство рукописей не оставляет сомнения в ее происхождении. Это — часть „Медного Всадника“, выделенная из его состава и обработанная как отдельное целое».[5] И далее, говоря «о работе, затраченной Пушкиным на „Медного Всадника“», Брюсов продолжает: «Достаточно сказать, что начало первой части известно нам в *шести*, вполне обработанных редакциях»; в качестве примера он приводит первую строфу одной из редакций вступления в «Езерскому», содержащую описание ненастного осеннего вечера в Петербурге.[6]

Неразличение двух произведений — «Медного Всадника» и «Езерского» (а также «Родословной моего героя») — существовало в пушкиноведении до 1930 г., когда автору настоящей статьи удалось, после пересмотра всех рукописей, относящихся к «зачинам» обеих поэм, разъяснить соотношения между «Езерским» и «Медным Всадником» и наметить последовательность работы поэта над тем и другим.[7]

---

[4] Пушкин. [Соч.], т. III. Под ред. С. А. Венгерова. Изд. Брокгауза—Ефрона. СПб., 1909, с. 456—472. Перепечатано в кн.: Брюсов Валерий. Мой Пушкин. Статьи, исследования, наблюдения. Ред. Н. К. Пиксанова. М.—Л., 1929, с. 63—94.

[5] Брюсов Валерий. Мой Пушкин, с. 82—83.

[6] См. выше, текст на с. 95 (автограф ПД 953, л. 60); ср.: *Акад.*, V, 391—392.

[7] Измайлов Н. В. Из истории замысла и создания «Медного Всадника». — В кн.: Пушкин и его современники, вып. XXXVIII—XXXIX. Л., 1930, с. 169—190. Некоторые гипотетические построения автора, в особенности датировка начала работы Пушкина над «Езерским» осенью 1830 г., вызвали справедливую критику, заставившую автора от них отказаться.

Эту работу дополнил, уточнил, в ряде случаев исправил С. М. Бонди в комментариях к черновым текстам «Езерского» и «Медного Всадника», содержащимся в так называемом «альбоме без переплета» — рукописи ПД 845.[8]

Наконец, полное текстологическое исследование, основанное на тщательном изучении, анализе и классификации черновых и беловых рукописей той и другой поэм, выполненное уже после их опубликования в V томе академического издания в 1948 г., принадлежит О. С. Соловьевой.[9]

В 1939 г. корпус незавершенной поэмы о Езерском, указанный (но не напечатанный) нами в статье 1930 г., был введен в трехтомное собрание стихотворных произведений Пушкина и, таким образом, впервые вошел в состав его сочинений.[10] Затем он был повторен в V томе «большого» академического издания, заняв место, отличное как от «Медного Всадника», так и от «Родословной моего героя».[11]

Исследование О. С. Соловьевой убедительно показало, что работа над новым произведением в «онегинских» строфах была начата Пушкиным в марте (предположительно между 10 и 16 марта) 1832 г.,[12] т. е. в промежуток между окончанием «Евгения Онегина», последняя вставка в текст которого (письмо Онегина к Татьяне, первоначально отсутствовавшее) датирована «5 окт<ября> 1831» (*Акад.*, VI, 518), и выходом в свет первого полного издания романа — около 23 марта 1833 г. Возможно, что именно это обстоятельство — завершение почти девятилетней работы над любимым романом — обусловило возникновение нового замысла поэта, для выполнения которого он применил ту же строфическую форму — «онегинскую» строфу. Но чем должен был стать этот новый замысел — романом, подобным «Евгению Онегину», или повестью, такого же типа, как еще не изданный к началу работы над ним «Домик в Коломне»? С. М. Бонди считал, что, «окончив в 1831 г. „Онегина“ и скучая без привычного „многолетнего труда“, Пушкин затеял второго „Онегина“,

---

[8] Бонди С. М. 1) История заполнения «Альбома 1833—1835 годов». — В кн.: Рукописи А. С. Пушкина. Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 гг. (Тетрадь № 2374 Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина). Комментарий под ред. С. М. Бонди. М., 1939, с. 16—22; 2) «Езерский» и «Медный Всадник». — Там же, с. 35—51.

[9] Соловьева О. С. «Езерский» и «Медный Всадник». История текста. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.—Л., 1960, с. 268—344. Статья О. С. Соловьевой — одна из самых замечательных текстологических работ, посвященных творчеству Пушкина, несмотря на некоторые спорные положения, — представляет собою извлечение из монографии о «Медном Всаднике», оставшейся незаконченной вследствие безвременной кончины автора в 1964 г.

[10] Пушкин А. С. Т. II. Поэмы, сказки. Л., 1939 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 255—261 («<Езерский>», подготовка текста и примеч. Н. В. Измайлова).

[11] См.: *Акад.*, V, 97—103 («<Езерский>»); III, 425—428 («Родословная моего героя»).

[12] Соловьева О. С. «Езерский» и «Медный Всадник», с. 281—282.

новый „роман в стихах"»,[13] и в доказательство привел отрывок из чернового текста XV строфы «Езерского»:

Имел я право
Избрать соседа моего
В герои нового романа.

Однако в первоначальных вариантах строфы этот стих сперва начат: «В герои повести»; затем читается: «В герои [нового] краткого романа»; наконец в последнем (перебеленном) тексте: «В герои повести смиренной» (*Акад.*, V, 411—412, 103; ПД 845, л. 32 об.).

То же определение применено к «Езерскому» и в последней, XVII, незаконченной и неотделанной строфе:

...займусь
Моею повестью любовной.
(*Акад.*, V, 414)

Таким образом, «повесть», как определение самим поэтом жанра его нового труда, несомненно превалирует над «романом»; иное определение, как «сатирическая поэма», явилось позднее, при публикации в 1836 г. «Родословной моего героя», представляющей собой извлечение из «Езерского».

Однако из того материала, который дошел до нас в сохранившихся далеко не полностью рукописях, нет возможности восстановить, даже в самых общих чертах, сюжет задуманного произведения, в особенности установить, в чем мог и должен был состоять конфликт между героем и какими-то иными, быть может враждебными ему, персонажами или силами. Ясен для нас лишь сам герой — бедный чиновник Езерский, так же как и обстановка, в которой он живет и представлен автором читателю.

Обстановка эта имела, очевидно, существенное значение для автора и должна была давать тон всему произведению. Именно с нее начал Пушкин и именно она прежде всего привлекла внимание Анненкова и всех следующих за ним исследователей Пушкина, увидевших в этом произведении несомненное и близкое сходство с началом Первой части «Медного Всадника».

Урбанистический пейзаж — ненастный дождливый осенний вечер над Петербургом, бурная Нева, городские улицы, на которых

Дождь капал, ветер выл уныло
Клубя капот сирен почных
И заглушая часовых. —

этот печальный, даже зловещий пейзаж открывает собою все шесть редакций «Езерского» (ПД 840, 421, 953 — в двух строфах; ПД 842, 954, 959 — в одной строфе). Впоследствии, когда Пушкин, отказавшись от продолжения поэмы о Езерском, стал писать новую «Петербургскую повесть» — «Медный Всадник», он воспользовался материалом этих вступи-

---

[13] Бонди С. М. «Езерский» и «Медный Всадник», с. 44—45.

тельных строф «Езерского» и, разрушив рифмовку «онегинской» строфы, сделал из них 10—11 вступительных стихов Первой части своей новой поэмы. Но это еще вовсе не доказывает сюжетного тождества обоих произведений, т. е. того, что основной сюжетный узел того и другого определяет петербургское наводнение 1824 г. Не указывает на наводнение и упоминание о том, что Езерский влюблен в «Мещанской (*вар.*: в Коломне — *Акад.*, V, 413) по соседству», хотя Пушкин и знал из печатных источников (например, из книги Берха) о том, что Коломна, и в частности Мещанская улица, пострадала от наводнения почти так же, как и Галерная гавань, только с меньшим количеством жертв. И в «Езерском», и позднее в «Медном Всаднике» указания на Коломну как на место жительства героя имеют целью лишь подчеркнуть его бедность, так же как подчеркивали место действия и самое заглавие другой повести, «Домик в Коломне», бедность и «ничтожность» вдовы и ее дочери.

Гадать о возможном сюжете «Езерского» бесцельно. Гораздо важнее для нас то, что содержится в написанных строфах.

Когда Пушкин писал одну за другой более или менее распространенные редакции начала повести о Езерском, дающие пейзажную экспозицию и вводящие героя, он долго колебался, решая вопрос о том, кем же будет этот герой: богатым молодым барином, светским денди, подобным Онегину, или бедным чиновником 14-го класса, одним из «ничтожных героев», петербургским вариантом станционного смотрителя, уже предвещающим «бедных чиновников» Гоголя и Достоевского. Эти колебания особенно ярко видны в первоначальных, двустрофных редакциях начала поэмы.

Так, в наброске, который можно считать самым ранним (ПД 840, л. 12—12 об.; из него выше приведены три стиха), поэт, написав первую строфу — урбанистическую экспозицию, стал тотчас писать и вторую, вводящую героя — очевидно, богатого светского молодого человека:

В своем безмолвном кабинете
В то время Зорин молодой
Сидел один при слабом свете
Прозрачной лампы...

(ПД 840, л. 12 об.)

Но, бросив на этом 4-м стихе недописанную строфу, поэт на следующей же странице рукописи начинает — и доводит до конца строфы — вторую, диаметрально противоположную редакцию:

Порой сей поздней и печальной
(В том доме, где стоял и я)
Один при свете свечки сальной
В конурке пятого жилья [14]
Писал чиновник...

(ПД 840, л. 13)

---

[14] Т. е. пятого этажа.

Чередование этих двух противоположных определений социального облика героя (богатый денди — бедный чиновник) проходит и по другим позднейшим редакциям вступительных строф поэмы (см. настоящее издание, с. 95—96), где особенно выразительны две противоположные редакции второй строфы на отдельном листе (ПД 953). В первой из этих редакций, близкой к приведенной выше, читаем:

В конурку пятого жилья
Вошел один чиновник бедный...

На обороте того же листа находится другой текст, оставшийся в необработанном черновике: в нем молодой денди по фамилии Волин (?),

Взбежав по ступеням отлогим
Гранитной лестницы своей,

бранит слугу Андрея, ворча идет в кабинет, где его встречает любимый пес Цербер, и т. д. Барский особняк, «безмолвный» или «роскошный» кабинет, «темный» или «скромный», «тихий», «мирный» кабинет, «чулан», «чердак», «конурка пятого жилья» — таков широкий и необычайно выразительный диапазон, охваченный пушкинскими замыслами. Но постепенно «скромный» кабинет и даже «чердак» начинают превалировать. Герой Иван Езерский — молодой, очень бедный, мелкий чиновник, труженик, влюбленный в «младую немочку» из мещанской семьи, обитающей в Коломне. На этих данных должен строиться сюжет, нам неизвестный, восстановить который нет возможности. А богатство, «роскошный кабинет», знатность отодвигаются в прошлое, и уже в первой (известной нам) черновой рукописи, продолжающей экспозицию (ПД 842; см.: *Акад.*, V, 394—404), поэт сообщает «род и племя» героя, т. е. историю старинного, некогда знатного и богатого рода дворян Езерских, последним представителем которого является коллежский регистратор, живущий «в конурке пятого жилья». В связи с этим возникает, полемически обсуждается и разрешается ряд важных для поэта вопросов, составляющих содержание известных нам (и, по-видимому, почти всех написанных) строф задуманной им поэмы. Вопросы эти следующие:

1) родословие Езерских, от начала рода до отца героя и до него самого;

2) упадок дворянства и его современное общественное положение;

3) изображение «ничтожного героя»;

4) право поэта на свободный выбор героя и на свободу творчества вообще.

«Родословие» Езерских начинается с их родоначальника, варяжского «воеводы» Одульфа, существование которого нужно отнести к концу IX— началу X в. Тем самым Пушкин изображает род Езерских как один из древнейших русских дворянских родов — наравне с князьями Рюриковичами и древнее рода самого поэта, начинающегося с Радши, или Ратши (Рачи), выходца из «немец» в XII в., или даже, как считал сам Пушкин,

служившего «мышцей бранной Святому Невскому», т. е. около 1240 г.[15] Вообще родословие Пушкиных, как оно изложено им самим в его мемуарно-генеалогических трудах и даже в «Моей родословной», послужило ему во многом материалом для родословия Езерских, в том числе и для строф, исключенных при составлении окончательного белового текста. Однако если в родословии Пушкиных поэт подчеркивает их независимость, мятежность («Противен мне род Пушкиных мятежный», — говорит о них Борис Годунов — *Акад.,* VII, 45), то в родословии Езерских, по крайней мере с начала XVII в., указывается на беспринципность и «приспособленчество» многих из них «во дни крамолы безначальной», когда «князь да твердый мещанин» (т. е. князь Пожарский и Козьма Минин) «спасали Русь» и даже «за отчизну стал» один «нижегородский мещанин»:

В те дни Езерские немало
Сменили мнений и друзей
Для пользы общей (и своей).

Необходимо, однако, помнить, что при пересмотре и сокращении родословной эта строфа — вероятно, по цензурным соображениям — была вычеркнута Пушкиным: поведение Езерских оказывалось несовместимым с официозными представлениями об исторической роли дворянства.

Такой же критический тон — с оттенком иронии — выдерживается и в следующих строфах родословия. Вычеркнув — опять-таки, в значительной мере по цензурным соображениям — хронику Езерских при Петре I и его преемниках, Пушкин оборвал ее словами: «При императоре Петре...» — и перешел к другой теме. Для читателя неясно, хотел ли сказать поэт о Езерских в петровское время, когда они «явились опять в чинах и при дворе». Но черновик отброшенной строфы показывает иной поворот в судьбе их рода — прямо перенесенный сюда из родословия Пушкиных:

При императоре Петре
Один из них был четвертован
За связь с царевичем...

Такой же была судьба и одного из боковых предков Пушкина — Федора Матвеевича, казненного в 1697 г. за участие в стрелецком заговоре.

В родню свою неукротим
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им, —

писал о нем Пушкин в «Моей родословной» (*Акад.,* III, 262). Зато другие Езерские, не в пример Пушкиным возвысившись при Петре, при преемниках последнего продолжали по-прежнему легко менять свои убеждения.

---

[15] См.: Модзалевский Б. Л., Муравьев М. В. Пушкины. Родословная роспись. Л., 1932, с. 8. См. у Пушкина: «Моя родословная» (*Акад.*, III, 262). «Опровержение на критики» (XI, 160), «Начало автобиографии» (XII, 311).

Вершины знатности Езерские достигают при Екатерине II в лице Матвея Арсеньевича Езерского, деда героя поэмы, попавшего «в случай», прославившегося «умом и злобой зверской», а затем сосланного в свои поместья, в которых он «имел пятнадцать тысяч душ». С этого момента, по-видимому, и начинается падение Езерских, о котором рассказывается в X строфе, заканчивающейся двумя строками, посвященными внуку Матвея, Ивану Езерскому:

А сам он жалованьем жил
И регистратором служил.

Но, вычеркнув все, относящееся к судьбе Езерских в XVIII в., и оборвав хронику их рода словами

При императоре Петре...,

Пушкин перешел (в той же V строфе окончательного текста) к другому вопросу, очень занимавшему и даже волновавшему его в конце 20-х и начале 30-х годов, — к вопросу о современном упадке старинного дворянства, не только материальном, но и моральном, выражающемся в забвении связей своих родословных с историей Русского государства. К этой мысли он возвращался не раз, противопоставляя старинное дворянство, тесно связанное в течение многих веков и со славой и с бедствиями родной страны, безродным «аристократам», выдвинувшимся на первые места придворной, т. е. по существу лакейской, службой. Этой мысли посвящена сатирическая «Моя родословная», стихотворение 1830 г., вызванное выступлениями Булгарина и Полевого против «литературной аристократии». О том же говорится и в ряде эпиграмм 1829—1830 гг., и в статьях, писавшихся болдинской осенью 1830 г. и предназначенных для «Литературной газеты», как «Опровержение на критики», «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» (*Акад.*, XI, 143—163 и 166—174) и др., а также в повествовательных набросках неосуществленных замыслов того же времени: «Гости съезжались на дачу...» (VIII, 42; эти мысли выражены в «разговоре с испанцем», почти буквально совпадающем с текстом второй половины V, VI и VIII строф «Езерского»), «Роман в письмах» (VIII, 49, 53), «На углу маленькой площади...» (VIII, 143—144), несколько замечаний в «Отрывке» («Несмотря на великие преимущества...» — VIII, 409—410). Та же мысль о расслоении дворянства и падении старинных родов составляет завязку «Дубровского», где противопоставлены выдвинувшийся в екатерининское время генерал-аншеф Троекуров и обедневший его сосед, поручик гвардии Дубровский (VIII, 162).

С размышлениями об упадке современного дворянства, о забвении им своего исторического прошлого и связи истории рода с историей страны, народа и государства связана у Пушкина и другая мысль — о возвращении «к земле», к «своим поместьям родовым» (строфа IX). Мысль эта, возникшая у поэта еще в первую болдинскую осень (1830 г.), затем все более укреплялась в нем, по мере того как, будучи «прощен и милостью окован» (см. строфу VI первоначальной редакции «родословия»), он все



Памятник Петру Первому.
Скульптор Э. Фальконе.



Наводнение 1824 г. в Петербурге.

Гравюра С. Ф. Галактионова по оригиналу В. К. Шебуева.

более «прикреплялся» к столице, жизнь в которой не давала ему возможности ни свободно дышать, ни работать. Ряд стихотворений 1833—1836 гг. углубляет и развивает эту мысль («Осень», «Пора, мой друг, пора...», «Вновь я посетил...», «Когда за городом, задумчив, я брожу...» и др.).

Таковы историко-политические размышления Пушкина, вызванные замыслом поэмы о бедном чиновнике Езерском.

Другая линия размышлений, эстетико-литературная, начинается с XI строфы поэмы, вызванная определением героя как мелкого чиновника, который «жалованьем жил и регистратором служил». Здесь и в последующих строфах сильнее, чем где бы то ни было, декларируется и утверждается право поэта на изображение «ничтожных героев», вопреки требованиям и нападкам критики, в особенности Булгарина и Греча, апологетов официально признанных и одобренных литературных тем и героев, а также Полевого, сторонника героев романтического типа. «Ничтожный герой», как было показано выше, с конца 20-х годов широко и разнообразно входит в творчество Пушкина. Поэтому обоснование права поэта на изображение подобных персонажей, в отличие от литературных героев и от реальных, официально утвержденных и требуемых лжегероев («русских Камиллов и Аннибалов»), было чрезвычайно важным вопросом для автора «Домика в Коломне», «Повестей Белкина» и «Езерского». Этот, казалось бы, частный вопрос здесь же расширяется до общей проблемы свободы творчества — проблемы, поставленной и разрешенной в XIII и XIV строфах начатой им поэмы о коллежском регистраторе Езерском.

Но поэма не была окончена: Пушкин бросил работу над нею, едва начав набрасывать вчерне ее сюжетную линию — рассказ о любви мелкого чиновника из обедневших дворян к молодой лифляндочке, наследнице «дяди Франца» (в одном варианте — «дяди слесаря» — *Акад.*, V, 413), что довершило бы его переход «из бар в tiers-état». Правда, в набросках к этим последним строфам поэмы видны местами колебания поэта в определении общественного лица героя: вместо «И регистратором служил» в одном варианте читается «И камер-юнкером служил» или, вернее, «каким-то юнкером служил» (V, 405), в других — «И при Т<ургеневе>[16] служил» или

Он на углу Галерной жил
При гр<афе> Нулине служил
С утра до вечера таскался[17]
То здесь то там —
Со всем был городом знаком...

(*Акад.*, V, 415)

---

[16] С. М. Бонди предлагает чтение: «при Т<юфякине?> служил» (Бонди С. М. «Езерский» и «Медный Всадник», с. 42), но чтение «при Т<ургеневе>» представляется нам более вероятным. А. И. Тургенев был близким к Пушкину человеком, высоко культурным, умеренным либералом, тогда как Тюфякин, директор императорских театров, был известен как грубый самодур.

[17] Вариант: «у Андрие обедал». Андрие — владелец аристократического ресторана в Петербурге.

Но эти признаки принадлежности героя к петербургскому свету отметаются, и на последних стадиях черновой работы остается лишь основное: герой «жалованьем жил и регистратором служил» (*Акад.*, V, 101), к чему в черновых добавляется:

Вам должно знать, что мой чиновник
Был сочинитель и любовник
Свои статьи печатал он
В Соревнователе.

(*Акад.*, V, 413, 415)

«Сатирическая поэма» в «онегинских» строфах или «любовная повесть», которую можно назвать и «кратким романом», начатая Пушкиным в марте 1832 г., была прервана и оставлена им на черновом наброске начала XVII строфы. Момент отказа от ее продолжения, как и причины его, трудно определить при современном состоянии творческих и биографических материалов. Во всяком случае Пушкин оставил свой неосуществленный замысел не позднее начала августа 1833 г. — до отъезда в места Пугачевского восстания. К этому времени нужно, по-видимому, отнести и составление белового автографа строф I—XV (ПД 959 и ПД 194). Иного мнения придерживалась О. С. Соловьева, считавшая, что беловой автограф был написан в конце 1834—начале 1835 г. с целью его издать (уже после запрещения «Медного Всадника»).[18] Но такое предположение представляется едва ли верным и во всяком случае недоказанным. Ясно только одно: Пушкин предназначал эту рукопись (15 «онегинских» строф) к печати и потому сократил родословие Езерских, вычеркнув из него все строфы, способные вызвать опасения и придирки цензуры. Дальнейшие строфы — XVI и начало XVII — остались в черновой рукописи, неотделанные и недописанные, и в беловой автограф не вошли.

Но в середине 1836 г., готовя к печати III том «Современника», Пушкин вновь обратился к оставленной повести о Езерском и, выделив из нее, полностью или частями, восемь строф, пересмотрев их не столько с художественной, сколько с цензурной точки зрения и снабдив примечаниями, напечатал под заглавием «Родословная моего героя (отрывок из сатирической поэмы)». Вмешательство цензуры заставило его еще раз пересмотреть текст, и при этом — быть может, намеренно — один стих второй строфы был изменен так, что лишился рифмы: вместо стиха «Зато со славой, хоть с уроном» в печати появился стих «Зато на Куликовом поле», что вызвало ироническое замечание Анненкова в его издании сочинений Пушкина 1855 г.: «Вероятно, прилагательное первого стиха — Куликовом — предназначалось поэтом для образования рифмы, но на свое место не попало».

«Родословной моего героя» заканчивается история повести (или «краткого романа») в «онегинских» строфах, называемой «Езерский».[19] Но, как

[18] Соловьева О. С. «Езерский» и «Медный Всадник», с. 328.

[19] См. о публикации «Родословной моего героя»: Соловьева О. С. «Езерский» и «Медный Всадник», с. 335—337; Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975, с. 238—243.

будет показано дальше, Пушкин при создании «Медного Всадника» имел перед глазами значительную часть рукописей «Езерского» и в ряде случаев пробовал следовать по пути этого оставленного произведения.[20]

4

Основная творческая работа Пушкина над «Петербургской повестью», от набросков первых стихов Вступления, перед которыми поставлена дата «6 окт.», до завершения переписки первого, Болдинского белового автографа (БА), имеющего после последнего стиха[1] помету: «31 октябр‹я›.[2] 1833 Болдино 5 ч. 5»,[3] занимает всего 26—27 дней. Напомним некоторые основные моменты предыстории создания поэмы.

22 июля 1833 г. Пушкин обратился к А. Х. Бенкендорфу с письмом, в котором писал о необходимости поехать на 2—3 месяца в свои нижегородские поместья — Болдино и Кистенево и о желании этим воспользоваться, чтобы посетить Оренбург и Казань и ознакомиться с архивами этих двух губерний, на что требовалось разрешение Николая I (*Акад.*, XV, 69). Поездка в Оренбург и Казань была связана с работой над «Историей Пугачева», уже вчерне написанной: 22 мая 1833 г. датирован черновой набросок ее заключительного эпизода (*Акад.*, IX, 410). Так как царь с подозрительностью относился к самостоятельным желаниям и действиям поэта, последовал запрос. В письме к Пушкину помощника Бенкендорфа А. Н. Мордвинова от 29 июля говорится: «Что побуждает Вас к поездке в Оренбург и Казань и по какой причине хотите Вы оставить занятия, здесь на Вас возложенные?» (*Акад.*, XV, 69; под занятиями имеется в виду работа над «Историей Петра I», составлявшая служебное поручение поэту, как чиновнику Иностранной коллегии, с осени 1831 г.).

На этот запрос Пушкин отвечал «со всею искренностию» на другой же день, 30 июля, письмом, текст которого известен в двух черновиках, а беловой не сохранился, хотя был отправлен и представлен царю Бенкендорфом в виде составленной в III отделении выписки или «экстракта».[4] В своем ответе Пушкин объяснял: «В продолжении двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую, и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия, но что

---

[20] Попытка Пушкина (на беловой рукописи «Езерского» — ПД 959; ср.: *Акад.*, V, 419) заменить в родословной «Езерских» «Онегиными» отброшена в самом начале.

[1] В Болдинском автографе примечания Пушкина к поэме отсутствуют.

[2] Переделано из «1 ноября».

[3] Т. е. «5 часов 5 минут утра» (в ночь с 31 октября на 1 ноября 1833 г.).

[4] См.: Дела III отделения е. и. в. Канцелярии об А. С. Пушкине. Под ред. С. С. Сухонина. СПб., 1906, с. 135.

делать? они одни доставляют мне независимость и способ проживать с моим семейством в Петербурге, где труды мои, благодаря государя, имеют цель более важную и полезную. — Кроме жалования, определенного мне щедростию его величества, нет у меня постоянного дохода; между тем жизнь в столице дорогá и с умножением моего семейства умножаются и расходы. Может быть, государю угодно знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии» (*Акад.*, XV, 70).

Письмо, как видно, написано с большой «дипломатичностью» и — при совершенно почтительной форме — со скрытой иронией. Пушкин выдвигает на первый план материальные соображения — нужду в деньгах, недостаточность определенного ему жалованья (5 тысяч рублей в год) и желание закончить роман — будущую «Капитанскую дочку» в ее первоначальной, неизвестной нам редакции, «Введение» к которой, т. е. посвящение «Любезному внуку Петруше», датировано «5 августа 1833. Черная речка» (*Акад.*, VIII, 927; с опечаткой в обращении: «другу» вместо «внуку»), т. е. написано неделей позже письма к Мордвинову. Под «историческими изысканиями», имеющими «цель ‹...› важную и полезную», Пушкин разумел только «Историю Петра I», умалчивая об «Истории Пугачева», для завершения которой его поездка была столь же нужна, как и для романа. Что же касается занятий «чисто литературных», то, помимо романа, упомянутого в письме, он начал в 1832—1833 гг. другой роман — «Дубровский» и две поэмы — «Езерский» и «Анджело», о которых в письме не упомянуто вовсе. Разумеется, не сказано ничего ни о третьей поэме — «Медный Всадник», замысел которой, вероятно, уже обдумывался в это время, ни о другой повести в прозе — будущей «Пиковой даме», история создания которой, впрочем, неясна. Обо всем этом Пушкин не считал нужным сообщать ни Бенкендорфу, ни царю. Расчет его оказался правильным: уже 7 августа ему было сообщено, письмом Мордвинова, разрешение Николая I на поездку «в Оренбург и Казань, на четыре месяца» (*Акад.*, XV, 71). 11 августа он подал прошение по месту службы, в Министерство иностранных дел, о выдаче отпускного свидетельства (*Акад.*, XV, 208—209), и последнее 12 августа было ему выдано, сроком на 4 месяца.[5] Через пять дней, 17 августа, Пушкин вместе с С. А. Соболевским выехал в Москву, откуда должен был отправиться далее, в Поволжье и Оренбургский край. О буре на Неве, грозившей наводнением и едва не заставившей его воротиться, было сказано выше.

Выезжая из Петербурга в долгое и далекое путешествие, Пушкин взял с собой запас книг для чтения в дороге, несколько рабочих тетрадей с черновыми текстами начатых произведений и чистыми листами для новых черновиков, готовый вчерне текст «Истории Пугачева» и материалы к ней в отдельных сшитых тетрадках, наконец — большой запас чистой бумаги для переписывания черновиков.

---

[5] *Письма*, т. III, с. 594—597.

Полный перечень всех этих материалов затруднителен, в особенности книг для дорожного чтения. Что книг было много, видно из письма поэта к жене, Наталье Николаевне, от 27 августа 1833 г. из Москвы, на десятый день путешествия, где он сообщает: «Книги, взятые мною в дорогу, перебились и перетерлись в сундуке» (*Акад.*, XV, 76). Какие именно книги (очевидно, плохо уложенные) пострадали во время путешествия — неизвестно. Из книг, взятых Пушкиным с собой из Петербурга или отобранных им для себя из библиотеки в поместье Н. И. Гончаровой Ярополье, куда он заезжал по дороге на два дня, 23 и 24 августа, можно с уверенностью назвать книгу В. Н. Берха «Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в Санктпетербурге», стихотворения Адама Мицкевича — польское издание в четырех томах, привезенное ему из Парижа Соболевским, или по крайней мере IV том его, и, вероятно, один (третий) том из восьмитомного французского издания сочинений Брантома, о чтении которого «на днях» Пушкин сообщал жене в письме от 6 ноября 1833 г. (*Акад.*, XV, 93).[6]

Что касается «рабочих тетрадей», взятых Пушкиным с собою для работы в Болдине, то можно дать следующий — вероятно, не совсем полный — их перечень.

1. Рабочая тетрадь ПД 838 (бывш. ЛБ 2371). Здесь, помимо произведений 1827—1828 гг. (VII глава «Евгения Онегина», основной черновик «Полтавы» и др.), находится среди текстов, писанных с другого конца тетради, черновик стихотворения «Осень», относящийся, как мы устанавливаем, к болдинской осени 1833 г., что заставляет включить эту тетрадь в число тех, которые Пушкин имел при себе в путешествии.[7]

2. Рабочая тетрадь ПД 842 (бывш. ЛБ 2373), содержащая основной черновик неоконченной поэмы, озаглавленной редактором академического издания «Тазит» (*Акад.*, V, 341—366); черновые строфы родословия Езерских, начинающие неоконченную поэму «Езерский», отразившуюся, как мы увидим ниже, в черновых рукописях «Медного Всадника» (V, 394—404); наброски к будущей повести «Пиковая дама» (VIII, 834—836); черновик перевода баллады А. Мицкевича «Воевода» (III, 904—911); черновые вставки и поправки к тексту «Истории Пугачева» (IX, 436—437); копии на польском языке рукою Пушкина трех стихотворений А. Мицкевича из приложения к III части поэмы «Дзяды» («Предки»).[8] Как видим, все эти записи относятся к 1829 (?)—1833 гг. включая в этот период и болдинскую осень 1833 г.

---

[6] *Письма*, т. III, с. 655—656; Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина. — В кн.: Пушкин и его современники, вып. IX—X. СПб., 1910, с. 175—176, № 672. Именно третий том сочинений Брантома отсутствует теперь в библиотеке Пушкина; возможно, что он был оставлен в Болдине и затерялся.

[7] См.: Измайлов Н. В. «Осень (отрывок)». — В кн.: Стихотворения Пушкина 1820—1830-х годов. История создания и идейно-художественная проблематика. Л., 1974, с. 224—228.

[8] *Рукою Пушкина*, с. 535—551; см. также в настоящем издании, с. 136—143.

Один рисунок в этой тетради обращает на себя особое внимание.

На л. 4, среди черновой рукописи «Тазита» и несомненно ранее, чем был написан текст, нарисован пером Фальконетов памятник Петру Первому — скала, а на ней конь, попирающий змею. Но всадник — сам Петр — отсутствует, а к коню, сначала не имевшему ни седла, ни уздечки, пририсованы позднее то и другое, причем уздечка с мундштучными поводьями, подперсник и седло без стремян сделаны очень тщательно (как, впрочем, и весь рисунок), что придает всей композиции иронический, почти карикатурный характер. Рисунок, впервые отмеченный В. Е. Якушкиным в его описании «Рукописей Пушкина, хранящихся в Румянцовском музее в Москве», был им определен как относящийся к «Медному Всаднику». «Содержание рисунка, — писал Якушкин, — понятно (дальше мы увидим в этой же тетради черновики «Медного Всадника» [9]) — Пушкин не решился нарисовать всадника, которого он так совершенно изображал в стихах».[10] Абрам Эфрос пошел далее робкого толкования Якушкина, считая, «что рисунок связан с первым замыслом „Медного Всадника“: с постамента исчезает Петр, но не вместе с конем, как в окончательной редакции, а один, то есть Евгения преследует бронзовая фигура Петра, как мраморная фигура Командора убивает Дон-Жуана в „Каменном госте“».[11] Автор при этом датирует рисунок «соответственно тексту ‹«Гасуба»›, приблизительно 1829 годом».[12]

Точных данных для отнесения первоначального замысла «Медного Всадника» к 1829 г. мы не имеем. Однако не следует забывать, что еще раньше этого времени, летом и осенью 1828 г., происходили встречи Пушкина с А. Мицкевичем, одна из которых — на площади у памятника Петра — послужила основой для позднейшего стихотворения Мицкевича «Памятник Петра Великого» («Pomnik Piotra Wielkiego»), вошедшего в приложение («Ustęp») к III части поэмы «Дзяды» (1832). Беседы их во время этих встреч (при участии П. А. Вяземского) несомненно отразились в замысле и в историко-философском содержании «Медного Всадника». Возможно, что и рисунок Пушкина в какой-то мере отражает эти беседы у памятника.

3. Рабочая тетрадь ПД 845 ((бывш. ЛБ 2374). В ней (а также на вырванных из нее листах) находятся черновые наброски разных строф «Езерского» и стихотворения, посвященного Мицкевичу, «Он между нами жил», а также первая часть основного черновика «Медного Всадника» на 17 страницах, начинающаяся датой «6 окт.‹ября 1833 г.›» (*Акад.*, V, 436—461; см. в настоящем издании, с. 27—44).

---

[9] Якушкин имеет в виду строфы «Езерского», который в ту пору смешивался с «Медным Всадником».

[10] Русская старина, 1884, т. XLIII, август, с. 321.

[11] Эфрос А. Рисунки поэта. [М.], 1933, с. 293, 423.

[12] Следует отметить ошибочную подпись под этим же рисунком в издании «Библиотеки поэта» (Пушкин А. С. Т. II. Поэмы. Сказки. Л., 1939 (Б-ка поэта. Большая серия), между с. 272 и 273), где указано, что он находится на «рукописи поэмы „Медный Всадник“».

4. Рабочая тетрадь ПД 839 (бывш. ЛБ 2372). В ней с одного конца находится беловой автограф «Полтавы» (1828), с другого — продолжающая первую вторая часть основного черновика «Медного Всадника», на 18 страницах, где после 250-го стиха окончательного текста («Насмешка неба над землей») поставлена дата «30 окт.‹ября 1833 г.›» — дата переписывания в БА этого места черновика (*Акад.*, V, 461—487; см. в настоящем издании, с. 45—62). Непосредственно за черновиком следует часть чернового текста «Сказки о мертвой царевне», написанной также в Болдине (*Акад.*, III, 1089—1104).

5. Дорожная записная книжка ПД 844 (бывш. ПБЛ 44), находившаяся у Пушкина во время его путешествия и служившая для путевых заметок и записей. Материалов, относящихся к «Медному Всаднику», в ней нет, но она входит в число тетрадей, привезенных Пушкиным в Болдино.

Все прочие рукописи «Медного Всадника» и беловые рукописи других произведений, созданных во вторую болдинскую осень, включая «Историю Пугачева», написаны на отдельных листах или в тетрадках «домашнего» происхождения, сложенных и сшитых из отдельных листов.

Приведенный нами перечень рабочих тетрадей, взятых Пушкиным с собою в путешествие, показывает, с какими обширными и, по-видимому, определенными планами ехал он в Болдино — конечную цель своей поездки. Главным предметом, занимавшим его в это время, была «История Пугачева», о которой он писал 2 сентября из Нижнего Новгорода Наталье Николаевне, не упоминая при этом ни о чем другом (*Акад.*, XV, 76). И 12 сентября из деревни Языковых под Симбирском он сообщал ей же, удовлетворенный ходом собирания материалов и ознакомлением с местами восстания: «Я путешествую, кажется, с пользою, но еще не на месте и ничего не написал. И сплю и вижу приехать в Болдино, и там запереться» (*Акад.*, XV, 80). Но долгое путешествие затягивалось, мысли об оставленной в Петербурге молодой жене, о детях все более его тревожили, и, достигнув, наконец, Оренбурга, он писал жене 19 сентября: «...мне тоска без тебя. Кабы не стыдно было, воротился бы прямо к тебе, ни строчки не написав. Да нельзя, мой ангел. Взялся за гуж, не говори, что не дюж — то есть: уехал писать, так пиши же роман за романом, поэму за поэмой. А уж чувствую, что дурь на меня находит — я и в коляске сочиняю, что ж будет в постеле?» (*Акад.*, XV, 81). Последние слова о «сочинении» в коляске — не надо понимать буквально; сочинять что-либо, не записывая тотчас на бумаге, Пушкин не мог: недаром «стенограммой творческого процесса» были названы его черновые рукописи.[13] Но обдумывать новые, замышленные или уже начатые работы было вполне естественно. Возможно, что и сюжет «Медного Всадника», и вся его композиция, начиная со Вступления, обдумывались им во время долгой и скучной езды по степной дороге. 1 октября, после полуторамесячного путешест-

[13] См.: Томашевский Б. Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения. Л., 1925, с. 41.

вия, Пушкин приехал наконец (вероятно, к вечеру) в Болдино. Началась его вторая болдинская осень, продолжавшаяся немногим более месяца — до 7 или 8 ноября.

Начал он, однако, свои литературные труды не с «Медного Всадника» или иного задуманного им произведения (например, романа, о котором он писал Мордвинову), но с обработки «Истории Пугачева» и собранных во время путешествия материалов к ней. «Я в Болдине со вчерашнего дня, — сообщал он жене 2 октября, — ‹...› Теперь надеюсь многое привести в порядок, многое написать и потом к тебе с добычею ‹...› Прости — оставляю тебя для Пугачева» (*Акад.*, XV, 83—84). И позднее, за все время своего пребывания в Болдине, Пушкин ни разу в письмах к жене и к другим не называет писавшихся им в деревне произведений, кроме «Истории Пугачева». 8 октября он пишет Наталье Николаевне: «Вот уж неделю как я в Болдине, привожу в порядок мои записки о Пуг.‹ачеве›, а стихи пока еще спят» (*Акад.*, XV, 85), между тем как уже за два дня до этого письма, 6 октября, был начат «Медный Всадник». 11 октября, работая, по-видимому, над второю частью «Истории Пугачева», он поручает жене съездить к Плетневу и попросить, чтобы тот к его приезду «велел переписать из Собрания законов (год.‹ы› 1774 и 1775 и 1773) все указы, относящиеся к Пугачеву. Не забудь»; и далее продолжает: «Я пишу, я в хлопотах, никого не вижу — и привезу тебе пропасть всякой всячины. Надеюсь, что Смирдин окуратен. На днях пришлю ему стихов» (*Акад.*, XV, 86, 87).[14] В это время, вероятно, особенно успешно подвигалось создание «Медного Всадника», а возможно, и других произведений одновременно с ним.

Позднее, однако, под влиянием долгого отсутствия писем от Натальи Николаевны настроение его изменилось, и лишь через 10 дней, 21 октября, получив от нее наконец письмо, он признался ей в своих переживаниях: «В прошлое воскресение не получил от тебя письма, и имел глупость на тебя надуться; а вчера такое горе взяло, что и не запомню, чтоб на меня находила такая хандра ‹...› О себе тебе скажу, что я работаю лениво, через пень колоду валю. Все эти дни голова болела, хандра грызла меня; нынче легче. Начал многое, но ни к чему нет охоты; бог ‹знает›,[15] что со мною делается» (*Акад.*, XV, 87—88).

О том же — только в ином тоне и явно сгущая, даже искажая краски — пишет Пушкин несколько позже, 30 октября, в письме к В. Ф. Одоевскому, в ответ на письмо последнего (совместно с С. А. Соболевским) от 28 сентября и 2 октября с предложением издать втроем альманах, на чем особенно настаивал Соболевский (*Акад.*, XV, 84—85). Отвечая Одоевскому полушутливым по форме, а по существу ирониче-

---

[14] Расчеты со Смирдиным, вероятно, касались выпущенного им 23 марта 1833 г. первого отдельного издания «Евгения Онегина», а может быть — выплат Пушкину денег в счет будущих его публикаций в новом журнале «Библиотека для чтения», начиная с «Медного Всадника» и других, написанных в Болдине вещей.

[15] Прорвано.

ским и даже раздраженным отказом, Пушкин писал: «Приехал в деревню, думал распишусь. Не тут-то было. Головная боль, хозяйственные хлопоты, лень — барская, помещичья лень — так одолели меня, что не приведи боже...» (*Акад.*, XV, 90).

Между тем в тот же самый день, 30 октября, поэт коротко, но веско сообщает жене о том, что он «недавно расписался, и уже написал пропасть» (*Акад.*, XV, 89), и эти слова, а не упоминание о «барской, помещичьей лени», незнакомой ему, вполне точно отражают действительность: именно в эти последние дни октября он с огромным напряжением творческих сил заканчивал вчерне и одновременно переписывал набело «Медного Всадника», «Анджело», две переведенных из Мицкевича баллады и проч. — явление, напоминающее дни его работы над «Полтавой» в октябре 1828 г.

Письмо к Наталье Николаевне от 30 октября, помимо заявления о том, что он «уже написал пропасть», содержит «расписание» его рабочего дня, сложившееся, вероятно, с самого начала его пребывания в Болдине: «Просыпаюсь в 7 часов, пью кофей, и лежу[16] до 3-х часов ‹...› В 3 часа сажусь верьхом, в 5 в ванну и потом обедаю картофелем, да гречневой кашей. До 9 часов — читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лицо» (*Акад.*, XV, 89). Таков, разумеется, нормальный, или даже «идеальный», распорядок дня поэта. Но несомненно, что этот идеальный порядок должен был не раз нарушаться в ту или другую сторону, в особенности при завершении крупных произведений. Так, закончив переписывание в первую (Болдинскую) беловую рукопись (БА) «Медного Всадника», очевидно, в ночь с 31 октября на 1 ноября, он ставит под текстом точную дату: сначала «1 ноября», потом переделывает на «31 октября 1833. Болдино. 5 ч.‹асов› 5 ‹минут утра›», что явно противоречит «расписанию» и показывает, что целая ночь (и, вероятно, не одна) была проведена им в работе. Наконец, в последнем письме из Болдина, от 6 ноября, поэт пишет жене: «Я скоро выезжаю, но несколько времени останусь в Москве по делам ‹...› Я привезу тебе стишков много, но не разглашай этого: а то альманашники заедят меня» (*Акад.*, XV, 93—94).

На другой же день (или через день, 8-го) Пушкин выехал из Болдина и, пробыв несколько дней в Москве (где он ничего, по-видимому, не писал), в начале 20-х чисел ноября вернулся в Петербург.

Чем объяснить это упорное умолчание поэта о своих творческих занятиях в Болдине, его жалобы на хандру и лень? Во-первых, его настроение несомненно колебалось в зависимости от получения или отсутствия писем от Натальи Николаевны, от ее сообщений о своей светской жизни, немало тревоживших и подчас сердивших его в силу несоответствия ее поведения тому идеалу жены и светской женщины, который он составил себе еще до женитьбы и выразил в образе Татьяны в VIII главе «Евге-

---

[16] Пушкин, как известно, обычно сочинял, лежа в постели или на диване. Ср. выше, в письме от 19 сентября из Оренбурга: «я и в коляске сочиняю, что ж будет в постеле?».

ния Онегина»; страстная влюбленность поэта в молодую жену, с которой он впервые после женитьбы разлучился так надолго, высказывается в каждом его письме. Во-вторых, поэт не хотел, чтобы о его новых, еще не оконченных и не отделанных произведениях узнали раньше времени в Петербурге, и через ту же Наталью Николаевну. Ссылки на «барскую, помещичью лень» — в ту эпоху естественные и понятные для каждого — служили отговоркою для петербургских «альманашников» и издателей. Единственная работа, о которой уже знали его друзья и о которой он мог писать открыто, — это «История Пугачева». Она и начала собой вторую болдинскую осень Пушкина.

Приехав в Болдино вечером 1 октября 1833 г., Пушкин уже 2 октября начал «приводить в порядок» свои «Записки о Пугачеве» (*Акад.*, XV, 84, 85), т. е. тексты, написанные в Петербурге и пополненные заметками и материалами, собранными во время путешествия. 4 октября помечена вторая черновая редакция содержания первой главы «Истории Пугачева» (*Акад.*, IX, 401). После месяца напряженной работы над «Историей», сочетавшейся с выполнением многих других замыслов, в том числе «Медного Всадника» и «Анджело», он закончил черновик «Предисловия» к «Истории», снабдив его пометой: «Село Болдино, 2 ноября 1833»; позднее «Предисловие» и было напечатано с этой, лишь слегка измененной датой (*Акад.*, IX, 399).

Задумывая в конце июля 1833 г. свое путешествие по местам Пугачевского восстания, Пушкин, как мы уже видели, указывал в качестве предлога для поездки работу над романом, «коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани» (*Акад.*, XV, 69—70), имея в виду будущую «Капитанскую дочку». Но в Болдине, занятый «Историей Пугачева» и многими другими замыслами в стихах и, вероятно, в прозе, он, насколько мы можем судить по неполностью сохранившимся документальным материалам к «Капитанской дочке», не притрагивался к начатому роману и вернулся к нему, лишь закончив печатание «Истории Пугачева», в ноябре 1834 г.[17]

Болдинская осень 1833 г., наполненная напряженным творческим трудом, представляет следующий (не во всем точно устанавливаемый) хронологический ряд (не считая работы над «Историей Пугачева», которая, как уже сказано, продолжалась весь месяц).

Началом октября следует датировать, по нашему мнению, черновые наброски стихотворения, посвященного Мицкевичу, — «Он между нами жил», которое обычно (в работах М. А. Цявловского, в *Акад.*, III, 942, 1251) датируется, соответственно беловому тексту, августом (до 10) 1834 г.

6 октября помечено начало работы над черновиком Вступления к «Медному Всаднику».

---

[17] См. статью Н. Н. Петруниной «У истоков „Капитанской дочки“» в кн.: Петрунина Н. Н., Фридлендер Г. М. Над страницами Пушкина. Л., 1974, с. 73—123, в особенности с. 92—94.

«14 октября 1833. Болдино» — так помечено окончание чернового автографа «Сказки о рыбаке и рыбке» (*Акад.*, III, 1089). «19 окт‹ября›» датирована запись после V строфы чернового автографа стихотворения «Осень» (*Акад.*, III, 924), беловой автограф которого снабжен пометой: «1833. Болдино» (*Акад.*, III, 935); стихотворение закончено в конце октября или в начале ноября.

Поэма «Анджело», начатая предположительно в феврале (?) 1833 г., была закончена и переписана набело в Болдине, причем в беловом автографе в конце второй части стоит помета «26», т. е. 26 октября 1833 г. (*Акад.*, V, 433); в конце чернового автографа третьей части — помета «27», т. е. 27 октября — очевидно, дата переписки, а не создания (*Акад.*, V, 425); в конце белового автографа третьей части помечено, как завершение работы над поэмой: «27 окт.‹ября› Болд.‹ино› 1833» (*Акад.*, V, 433).

Беловые автографы двух переводов баллад Мицкевича — «Будрыс и его сыновья» и «Воевода» — датированы в конце каждого одинаково: «28 октября 1833. Болдино» (*Акад.*, III, 903 и 912), т. е., очевидно, в этот день была закончена их переписка, черновая же работа над ними происходила в том же октябре, когда Пушкин имел в руках издание стихотворений Мицкевича и много думал о своем польском друге.[18]

Наконец, беловой автограф «Сказки о мертвой царевне» помечен датой переписки набело: «4 ноября 1833. Болдино» (*Акад.*, III, 1109), т. е. окончен почти накануне отъезда поэта в Москву.

Таковы датированные произведения второй болдинской осени, 1833 г. К ним можно добавить и некоторые недатированные и по большей части незаконченные стихотворения, по положению в рукописи (ПД 845, бывш. ЛБ 2374) и по другим соображениям относящиеся к октябрю 1833 г. Это — литературно-сатирическое «послание» к Буало «Французских рифмачей суровый судия...» (*Акад.*, III, 305 и 1244), народное «поминание» «Сват Иван, как пить мы станем...» (*Акад.*, III, 308 и 1245; датировка обоих стихотворений в *Акад.* едва ли правильно растянута, начиная с «февраля» и «конца марта» и кончая «началом» и «серединой октября 1833 г.»; вернее ограничить дату обоих октябрем); набросок неоконченного стихотворения, где описывается спуск нового военного корабля на Неве, — «Чу, пушки грянули! крылатых кораблей...» (*Акад.*, III, 310 и

---

[18] Возможно, однако, что переводы обеих баллад Мицкевича были вчерне выполнены Пушкиным ранее, еще в Петербурге. По крайней мере черновой автограф «Воеводы» находится в рабочей тетради Пушкина ПД 842 (ЛБ 2373), л. 29 об., 29, 28 об. (*Акад.*, III, 904—911 и 1246), т. е. невдалеке от копий стихотворений Мицкевича, списанных Пушкиным, по нашему предположению, еще до отъезда в Оренбург. Это тем более вероятно, что первые три тома парижского издания стихотворений Мицкевича, привезенные ему Соболевским 22 июля 1833 г., не были им вовсе разрезаны, и для работы над балладами он должен был пользоваться другим изданием — петербургским, 1829 г., сохранившимся также в его библиотеке (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина, с. 288, № 1166). Но, как бы то ни было, творчество Мицкевича занимало важное место в сознании Пушкина летом и в болдинскую осень 1833 г.

1245); последний набросок находится посреди первого чернового автографа «Медного Всадника», между Вступлением (л. 9 об.) и началом Первой части («Над омрач.‹енным› П.‹етроградом›») (тетрадь ПД 845, л. 10), притом записано раньше, чем приведенный стих поэмы.

К этим стихотворным произведениям нужно прибавить повесть «Пиковую даму», хронология которой неясна, а рукописи не сохранились, кроме набросков вступления в его первой, ранней редакции (*Акад.*, VIII, 834—836), сохранившихся в тетради ПД 842 (бывш. ЛБ 2373), бывшей у Пушкина в Болдине. В конце ноября 1833 г. поэт привез, по-видимому, рукопись с собою в Петербург. Указание на это мы находим в письме В. Д. Комовского к А. М. Языкову от 10 декабря 1833 г.: «Пушкин вернулся из Болдина и привез с собою по слухам три новых поэмы ‹...› Он же написал какую-то повесть в прозе: или „Медный Всадник“, или «Холостой выстрел», не помню хорошенько: одна из этих пьес прозой, другая в стихах».[19]

Таков краткий хронологический обзор творчества Пушкина во вторую болдинскую осень. Его объем, богатство и разнообразие поразительны и почти равняются творчеству первой болдинской осени, 1830 г., особенно если иметь в виду, что первая осень занимает три месяца, а вторая — лишь один полный месяц (октябрь) и одну неделю ноября.[20]

Обратимся теперь к истории творческой работы Пушкина над его поэмой, или «Петербургской повестью», 1833 г. «Медный Всадник».

Время возникновения замысла поэмы едва ли поддается твердому определению. Никаких предварительных материалов, относящихся к замыслу, — планов, заметок, набросков — не сохранилось, да, вероятно, и не было. Однако в заключительных стихах Вступления к поэме (стихи 92—96 окончательного текста), испытавших, как будет указано ниже, длительную и многогранную переработку, мы видим — по крайней мере в первой редакции — указание поэта на время возникновения у него замысла поэмы:

Давно, когда я в первый раз
Услышал грустное преданье
Тогда же дал я обещанье
Стихам поверить сей рассказ.

---

[19] Исторический вестник, 1883, декабрь, № 12, с. 538. Можно предполагать, что «Холостым выстрелом» Комовский называет «Пиковую даму». Было ли таким первоначальное название повести или так условно называл ее Пушкин, трудно сказать. В III главе «Пиковой дамы», в спальне графини, Германн грозит ей пистолетом, который, как потом, в IV главе, он сам заявляет Лизе, «не был заряжен». Пушкин, по-видимому, работал над переделкой повести и после возвращения в Петербург; об этом можно судить по тому, что одна фраза, которую он хотел, очевидно, вставить в VI главу (см.: *Акад.*, VIII, 836), записана на черновике письма Пушкина к А. Х. Бенкендорфу от 26 февраля 1834 г. (ПД 258).

[20] См.: Бонди С. М. 1) История заполнения «Альбома 1833—1835 годов». — В кн.: Рукописи Пушкина. Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 гг. (Тетрадь № 2374 Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина). М., 1939. ‹Альбом III›. Комментарий, под ред. С. М. Бонди, с. 17—21; 2) «Езерский» и «Медный Всадник». —

Эти слова позволяют относить первую мысль о будущей повести к концу 1824 г., когда Пушкин впервые услышал в Михайловском о петербургском наводнении и читал рассказы о нем в журналах или письмах друзей. Замысел, многие годы отодвигаемый другими трудами, в начале 30-х годов вновь возник и стал постепенно определяться из многих элементов, прежде всего как итог размышлений Пушкина на историко-философские темы, связанные с подготовительными занятиями к составлению истории Петра Первого, предпринятыми им с начала 1832 г. В то же время, как было отмечено выше, согласно с заключением О. С. Соловьевой, с середины марта 1832 г. поэт начинает работать над новым произведением — повестью или романом в стихах в «онегинских» строфах — так называемым «Езерским», который является такой же «петербургской повестью», как и позднейший «Медный Всадник», с «ничтожным героем» — мелким чиновником из обедневшего дворянского рода. Мы не знаем, входило ли петербургское наводнение 1824 г. в сюжет этой повести, но ее начальные строфы (или строфа — в последней редакции), изображающие Петербург в бурный осенний вечер, вполне допускают такую возможность, так как те же начальные стихи в переработанной форме вошли потом в поэму «Медный Всадник» в качестве вступления к Первой части (стихи 97—107). Возможно также, что еще за несколько лет, при жизни Дельвига, Пушкину довелось услышать от его жены рассказ про моряка Луковкина, «имевшего дом на Гутуевском острове — совсем близко от залива и, следовательно, на очень опасном месте. Была у него жена и трое детей, за которых он очень беспокоился в этот день, так как был дежурным и не мог вернуться до вечера. Наконец, когда он пришел домой, то не нашел ни жены, ни детей, ни крова, ни единого следа своего жилища».[21] Но таких трагических эпизодов наводнения и таких рассказов о них известно было немало, и хотя со времени бедствия прошло девять лет, их знали и помнили многие.

Наводнение, как основной элемент и движитель сюжета, было несомненно усвоено замыслом Пушкина еще до отъезда в путешествие, предпринятое летом 1833 г. Поразившая его в самый день выезда страшная картина надвигающегося наводнения еще более укрепила этот замысел. Очень вероятно, что наводнение было перенесено в новую поэму из замысла прежней, т. е. из «Езерского», развертывание сюжета которого, нам неизвестное, еще едва было намечено. Из «Езерского» в новый замысел вошли многие элементы: и картина ненастного осеннего петербургского вечера, составляющая краткий пролог, и самый герой, «потерявший» свою фамилию, но оставшийся почти таким, каким он был намечен в строфической поэме. Однако коренным образом изменился тон, харак-

---

Там же, с. 35—51; Соловьева О. С. «Езерский» и «Медный Всадник». История текста. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.—Л., 1960, с. 302—320; Измайлов Н. В. «Осень (Отрывок)», с. 250—252.

[21] См. выше (с. 122) письмо С. М. Салтыковой (Дельвиг) к ее подруге А. Н. Семеновой, написанное 16 ноября 1824 г., через девять дней после наводнения.

тер произведения: из сатирического и полемического он стал объективным и трагическим. Следы борьбы между прежним и новым замыслом явственно видны в черновиках, как это будет показано дальше. Нельзя забывать и впечатление от прочитанных перед самым отъездом стихотворений Мицкевича, полемика с которым, в разных формах и направлениях, проходит через всю «Петербургскую повесть». Не нужно преувеличивать значения сатир Мицкевича для построения «Медного Всадника», но нельзя с этим и не считаться.

Совокупность всех этих компонентов — и неосуществленный, но уже намечавшийся замысел «Езерского», и литературные традиции, связанные с «петровской» и «петербургской» темой новой поэмы, и лежащие в ее основе историко-философские и социально-политические размышления, и впечатления от стихотворений Мицкевича — обусловила то, что, приехав в Болдино 1 октября и занявшись сначала, как бы для «разгона», «Историей Пугачева», Пушкин уже ясно представлял себе мысленно композицию своей новой поэмы, ее основные линии и образы. Приступив 6 октября к работе над поэмой в одной из своих рабочих тетрадей — так называемом, по терминологии С. М. Бонди, «альбоме без переплета» (ПД 845, бывш. ЛБ 2374; *Акад.*, V, 436—461),[22] он начал ее почти дословно так, как она начинается и в окончательном тексте, — с первого стиха Вступления:

[На берегу] Варяжских волн
Стоял глубокой думы полн
Великий Петр...

Между этим первоначальным наброском и последним, окончательным чтением поэмы происходил, как всегда в рукописях Пушкина, упорный и вдохновенный труд над выработкой тех слов, тех оборотов, которые наиболее полно, сжато и образно выражали мысли поэта и удовлетворяли его эстетическим требованиям. Поэма, подготовленная уже в его сознании, не требовала составления предварительного плана. Первый и, вероятно, единственный ее план записан при начале Второй части (*Акад.*, V, 467: см. настоящее издание, с. 51) и является очень сжатым резюме ее содержания, не отражающим процесс его обдумывания и составления, но лишь напоминающим о содержании в ходе работы.[23]

Черновик Вступления поэмы набрасывается кратко, в основных своих элементах, которые могут быть выражены их начальными стихами:

На берегу пустынных волн
Стоял задумавшись глубоко
Великий царь...

---

[22] См.: Бонди С. М. «Езерский» и «Медный Всадник», с. 46—50; Соловьева О. С. «Езерский» и «Медный Всадник», с. 302—320.

[23] Ср. такого же рода планы в «Полтаве» (*Акад.*, V, 184. 198, 211, 214), «Тазите» (V, 336, 337) и др.

*

И думал Он: здесь будет град —
Отсель стеречь мы будем Шведа...

(ПД 845, л. 7 об.)

Прошло сто лет — и новый град
Полнощных стран краса и диво...

(ПД 845, л. 8)

И там где финский рыболов
Угрюмый пасынок природы...

*

Ныне там
По оживленным берегам
Теснится стройная громада...

*

И ты Великая Москва
Перед меньшим поникла братом
Столповенчанною главой

*

Красуйся, юный град! и стой
Неколебимо как Россия
Но побежденная стихия
Врагов доселе видит в нас...

(ПД 845, л. 8 об.)

Послало небо испытанье
Об нем начну простой рассказ...

*

Была ужасная пора!..
Об ней начну повествованье...

(ПД 845, л. 9)

Таков первоначальный состав отрывочных — и тем не менее расположенных по уже заранее определенному плану — черновых набросков Вступления поэмы. В этом составе оно занимает четыре страницы тетради — листы 7 об., 8, 8 об., 9. Здесь, в этом первичном черновике Вступления к новой поэме, многое еще не развито, а только намечено, главное — отсутствует еще лирическое обращение поэта к любимому городу. Мелькнувшая мысль о том, что «Дух Петров <победил?> супротивление природы», зачеркнута, потому, быть может, что такая отвлеченная формула показалась поэту менее выразительной, чем все образное содержание Вступления, целиком проникнутое этой мыслью.

Обращение поэта к «юному граду» (или, в окончательном тексте, к «граду Петрову») в завершении Вступления (стихи 84—91) представляет собою воззвание, а точнее, заклинание, отвергающее все вызванные

наводнением и бытовавшие в ту пору предсказания и легенды о неминуемой гибели города, а с ним и всего дела Петра, воплощенного в его создании. Неколебимость города и неколебимость созданной Петром новой России, неразрывно связанные между собою, — таков смысл этих восьми стихов в конце Вступления к поэме.

Заключительные строки Вступления содержат воспоминание об «ужасной поре» — о наводнении 1824 г., последнем нашествии стихии на «град Петров», принесшем столько горя и бедствий.

На этом последнем отрывке — заключительных строках Вступления — нужно остановиться подробнее. Он записан в двух, несколько различающихся между собою редакциях на л. 9 «альбома без переплета», содержащего первую черновую рукопись поэмы. Это обстоятельство — запись одновременно в двух разных редакциях, а еще более дальнейшая история отрывка, к которому Пушкин возвращался и который перерабатывал не раз, вплоть до последнего момента работы над поэмой (в писарской копии), показывают, что поэт придавал этим немногим строкам большое значение, обдумывал каждое слово, каждую формулировку. Приведем последние чтения обеих первоначальных редакций отрывка с некоторыми важнейшими вариантами:

Послало небо испытанье
Об нем начну простой рассказ — —
Давно — когда [мне] я в первый раз
Услышал [грустное] [страшное] мрачное преданье
Смутясь, я сердцем приуныл
И на минутку позабыл
Свое [душевное] сердечное страданье —
И дал тогда же обещанье

*

Печальну повесть сохранить
Я дал тогда же обещанье

*

Была ужасная пора!..
Об ней начну повествованье — —
Давно когда я в первый ‹раз›
Услышал грустное преданье
Сердца печальные, для вас
Тогда же дал я обещанье
Стихам поверить сей рассказ

(ПД 845, л. 9)

Эти строки, набросанные как завершение Вступления к «Медному Всаднику», близко повторяют стихи, заготовленные Пушкиным более чем за десятилетие до болдинской осени 1833 г. как эпилог или, наоборот, вступление к «Бахчисарайскому фонтану». Первый из этих отрывков, задуманный как эпилог «крымской поэмы», читается:

Он кончен, верный мой рассказ,
Исполнил я друзей желанье.
Давно я слышал в первый раз
Сие печальное преданье
[Тогда] я [сердцем] приуныл
И на минуту позабыл
Безумных оргий ликованье...

(*Акад.*, IV, 394)

Отказавшись от такого эпилога, Пушкин стал перерабатывать его в виде вступления или в виде посвящения поэмы Н. Н. Раевскому-младшему. Первое, вступление, начинается словами:

Печален будет мой рассказ
Давно, когда мне в первый раз
Любви поведали преданье —
Я в шуме радостном уныл
И на минуту позабыл
Роскошных оргий ликованье
и т. д.

(*Акад.*, IV, 400)

Второе, посвящение поэмы Н. Н. Раевскому, во второй своей редакции читается:

Исполню я твое желанье,
Начну обещанный рассказ.
Давно, когда мне в первый раз
Поведали сие преданье
Мне стало грустно
и т. д.

Акад., V, 01)

В обеих редакциях посвящения посвятительные инициалы (Н. Н. Р.), однако, зачеркнуты, и ни одна из редакций, так же как и вступление, в печатный текст «Бахчисарайского фонтана» не вошла.

Через десять лет после создания своей «крымской поэмы» Пушкин, стремительно набрасывая черновик «Петербургской повести» о трагическом событии — наводнении 1824 г., вспомнил ненапечатанные стихи (вступительные или заключительные) из «Бахчисарайского фонтана» и попробовал создать из них — вероятно, по памяти — окончание Вступления своей новой поэмы. Это не сразу ему удалось, так как стихи, относящиеся к «крымской поэме», будь они вступлением или эпилогом, или посвящением Н. Н. Раевскому, носили иной характер, чем то, что подсказывалось предметом «Петербургской повести»: в первом случае речь шла о «предании любви», о «безумных оргиях», прерванных «на минуту» услышанным рассказом; во втором — об «ужасной година» или «ужасной поре», об «испытании», посланном небом, о «мрачном» или «грустном» предании, о «горестном рассказе».

Пять стихов, заканчивающих Вступление к «Медному Всаднику», были очень важны для поэта, необходимы для создания надлежащего тона и настроения в новой поэме, и потому они переделывались им много раз. История текста отрывка от приведенных выше первых набросков до последней его редакции такова.

Переписывая поэму в первую (Болдинскую) беловую рукопись, Пушкин придал последним стихам Вступления такую форму:

Была ужасная пора...
Об ней начну повествованье
И будет пусть оно для вас,
Друзья, вечерний лишь рассказ
А не зловещее преданье.

В этой редакции переработаны строки, напоминавшие эпилог «Бахчисарайского фонтана», и заново написано окончание, в котором поэт, обращаясь к читателям, определяет свое произведение как «вечерний лишь рассказ», т. е. рассказ, служащий, несмотря на весь трагизм его сюжета, лишь для развлечения слушателей и в особенности слушательниц, собравшихся зимним вечером вокруг рассказчика,[24] но который не следует воспринимать как «зловещее преданье» — как воспоминание о прошлом событии, содержащее в себе предчувствие или даже предсказание грозящей в будущем гибели города, основанного Петром, и, следовательно, всего дела Петрова, от враждебной ему стихии.

Отрицание «зловещего преданья», каким может быть сочтена «Петербургская повесть», и тем самым утверждение незыблемости, неколебимости «града Петрова», являющегося символом всей новой России, присутствует как в первой беловой (Болдинской) рукописи поэмы, так и в Цензурном автографе, представленном Николаю I.

Переписке последнего предшествовали торопливо и сокращенно написанные наброски с попытками новых исправлений:[25]

‹Была ужасная пора›
Пускай ‹?› об ней воспом‹инанье›
Живет в моем повество‹ванье›
Друзья как вечер‹ом› расск‹аз›
Зимою [вечером] для вас
А не зловещее ‹?› пре‹данье›

---

[24] Напомним такой же «вечерний рассказ», известный под названием «Уединенный домик на Васильевском»: эта фантастическая, своего рода «петербургская» повесть была рассказана не однажды Пушкиным в салоне Карамзиных и в кругу друзей Дельвига в 1827—1828 гг., записана с его слов В. П. Титовым и напечатана им же (под псевдонимом «Тит Космократов») в «Северных цветах на 1829 г.». См.: Цявловская Т. Г. «Влюбленный бес». (Неосуществленный замысел Пушкина). — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.—Л., 1960; Измайлов Н. В. Фантастическая повесть. — В кн.: Русская повесть XIX века. Под ред. Б. С. Мейлаха. Л., 1973, с. 145—147.

[25] Записи сделаны на обороте листка, на котором рукою О. М. Сомова переписан текст стихотворения Пушкина «Аквилон» (ПД 965, бывш. ГПБ 28).

*

‹И› будет пусть оно для вас
Друзья вечерний лишь рассказ
А не зловещее преданье

(*Акад.*, V 187)

В автографе, переписанном для представления в царскую цензуру (ЦА), заключительные стихи Вступления принимают такую законченную форму:

Была ужасная пора...
Об ней начну повествованье
И будь оно, друзья, для вас
Вечерний, страшный лишь рассказ,
А не зловещее преданье...

Этот текст должен был бы сохраниться и в писарской копии (ПД 967), снятой в 1836 г. с Цензурного автографа. Но еще до отдачи ЦА в переписку Пушкин заменил приведенный текст ЦА другим, автограф которого до нас не дошел. Это исправление представляет собой единственное отклонение ПК от текста ЦА (что имеет, как будет показано ниже, большое текстологическое значение). Переделывая текст, казалось бы, вполне установленный, поэт преследовал цель устранить из этой вводной в поэму тирады упоминание как о «вечернем, страшном рассказе», так и о «зловещем преданьи», т. е. все то, что влекло к представлению о сюжете поэмы как о рассказе, интересном и завлекательном для слушателей (и только!) и, с другой стороны, содержащем скрытое предсказание возможности повторения «ужасной поры» и, очевидно, гибели города. Чтение ПК, вошедшее в основной текст «Медного Всадника», таково:

Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминанье...
Об ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.

«Печальный рассказ» об «ужасной поре», созданный — отнюдь не для развлечения читателей — по свежим воспоминаниям, — к такому простому, реалистическому и глубоко человечному определению своей «Петербургской повести» пришел поэт после многих исканий.

После этого необходимого отступления вернемся к рассмотрению работы Пушкина над черновым автографом «Медного Всадника».

На пятой странице черновика (л. 9 об.) мы видим возвращение к описанию города, т. е. ко второй части формулы «Где прежде (было), ныне там (есть)»:

В гранит оделася Нева —
Густозелеными садами
Ее покрылись острова
Мосты повисли над водами...

И вслед за этим начинается лирическое обращение поэта к городу, сначала отрывочное и словно неуверенное, где все только намечено и зачеркнуто:

Люблю тебя, Петра столица
Созданье воли Силача ‹?›
Люблю твой правильный...

Этот набросок здесь же обрывается, начинается вновь и принимает почти законченный вид, как начало обращения:

‹Люблю тебя› Петра творенье
Люблю твой стройный строгий вид
Невы державное теченье
Ее прибережный гранит

*

Твоих оград узор чугунный
И зелень темную садов
И летний блеск ночей безлунных
И бури темных вечеров

*

Люблю воинственные станы
Люблю поутру
На шумных улицах твоих
Встречать лоскутья боевые
Знамен изорванных в боях

Здесь, по-видимому, наступил перерыв в работе над поэмой. На следующей странице (л. 10 тетради) Пушкин начал набрасывать черновик стихотворения, посвященного спуску военного корабля со стапелей Адмиралтейства на Неву — картине, навеянной ему тем же Вступлением к поэме и неразрывно связанной в его сознании с военноморской, созданной Петром столицей:

Чу пушки грянули —   кораблей
Покрылась [облаком] крылатая станица
Корабль вбежал в Неву ‹и› гордо ‹?› средь зыбей
Качаясь, плавает, как   птица
Ликует русский флот —

(*Акад.*, III, 301 и 900)

Оборвав на этом черновик, перенесенный затем на другой отдельный лист, вырванный из той же тетради (*Акад.*, III, 901), Пушкин непосредственно за черновым наброском начинает Первую часть своей поэмы. Начало это замечательно тем, что текст его представляет собою переработку вступления к «Езерскому», наиболее близкую к его однострофной редакции, как она сложилась в черновой рукописи «Родословной» героя в тетради ПД 842 (ЛБ 2373). На то, что это переработка другого, прежнего и

хорошо известного автору текста, указывает сокращенная запись первого стиха:

Над омрач. П. —

т. е. «Над омраченным Петроградом».

Наиболее существенными отличиями являются замена сравнения бурной Невы, бьющейся,

Как челобитчик беспокойный
Об дверь судейской, —

сравнением ее с больным, мечущимся

В своей постеле беспокойной,

а также, разумеется, переработка «онегинской» строфы «Езерского», с ее твердо установленным расположением рифм, в бесстрофное, вольно рифмующееся целое. Последнее двустишие обработано особо на той же странице, причем в этом отрывке возникает впервые и имя героя:

‹И ветер дул печально воя›
В то время из гостей домой
Пришел Евгений молодой
(Так будем нашего Героя
Мы звать — затем что мой ‹язык›
Уж [к] звуку этому привык)

Отметим, что при переработке Пушкин хотел сделать своего героя поэтом:

В то время ‹мой› сосед-поэт,

или в другом варианте:

В то время молодой поэт
Вошел в свой [тесный] т‹ихой› ‹?› кабинет

Но от этого намерения Пушкин в дальнейшем отказался, оставив своего героя просто чиновником; «бедный поэт» упомянут позднее лишь эпизодически, как тот неизвестный, кому хозяин «отдал в наймы, как вышел срок», «пустынный уголок», где жил когда-то исчезнувший Евгений (стихи 358—360). И в конце поэмы, описывая «пустынный остров» на взморье, посещаемый лишь рыбаками, он продолжает (в черновой и в первой, Болдинской беловой рукописях):

Или мечтатель посетит
Гуляя в лодке, в воскресенье,
Пустынный остров...

Но позднее, создавая вторую беловую (Цензурную) рукопись, он заменил «мечтателя» «чиновником» (стихи 469—471), что соответствовало общей тенденции к снижению и прозаизированию образов, связанных с героем.

Установив имя своего героя («Евгений молодой»), Пушкин начинает ряд набросков с целью расширить содержание поэмы за счет включения

в нее разнородных элементов, уже обдуманных и обработанных в недописанном и оставленном «Езерском». Прежде всего он стремится ввести родословие древнего и знатного рода, к которому принадлежит герой, не получивший фамилии (возможно, что он должен был называться уже привычной для автора и вошедшей органически в родословие фамилией — Езерский); всего вероятнее, родословная должна была бы войти в новую поэму не полностью, как было в строфах II—VIII «Езерского», а сокращенно, в извлечении. Вместе с тем Пушкин хотел подробнее описать и подчеркнуть общественное положение героя — бедного мелкого чиновника, а также ввести элементы полемики, широко развитой в «Езерском», по поводу отношения современных дворян к своему историческому прошлому, забытому ими, и в особенности по поводу введения в новую поэму «ничтожного героя», вопрос о котором повлек за собой и более общий вопрос — о праве поэта на свободу творчества. Все эти наброски показывают сомнения и колебания автора, ни один из них не получает развития и тем более законченности. Попытки расширения облика героя наблюдаются на протяжении почти всей черновой рукописи Первой части поэмы, вплоть до того момента, когда Евгений, сидя «на звере мраморном верхом», с ужасом всматривается в картину наводнения (стих 220 и сл.).

Уже на обороте л. 10 тетради, в которой начат черновик «Медного Всадника», можно прежде всего выделить вопрос к читателю:

Угодно знать происхожденье
И род и племя и года, —

относящийся к герою новой поэмы — Евгению. Эти стихи зачеркнуты, но тут же мы читаем набросок начала родословной:

мой Евгений
Происходил от поколений
Чей дерзкий парус средь морей
Был ужасом минувших дней

Изложение родословной — очевидно, подобной родословной Езерских — не продолжено (и в отличие от «Езерского» Пушкин в новой поэме не имел, вероятно, намерения дать его подробно и довести хотя бы до Петра I), но тут же поэт, забегая, так сказать, вперед, вводит полемическую тему — о социальном происхождении современных писателей, русских и западноевропейских, начиная с Байрона. Вопрос этот связан с родословной героя поэмы: речь идет о праве или, скорее, обязанности писателей-дворян интересоваться своим родом и родом своих героев и, более того, о значении дворянства для русской и западноевропейской литературы. Посвященный этой теме отрывок вызывает особое внимание, так как содержание его и назначение подвергаются различным, даже противоположным толкованиям. Он читается так:

К тому же это подражанье
Поэту Б‹айрону›. Наш лорд
(Как говорит о нем преданье)
Не то‹лько› был отменно горд

Высо‹ким› ‹?› даром песнопенья
Но и рожденья
Ламартин
(Я слышал) также дворянин
Юго, не знаю.
В России же мы все дворяне,
Все, кроме двух иль трех — зато
Мы их и ставим ни во что.

С. М. Бонди видел в этом наброске неотделанную «онегинскую» строфу, в которой после начала 9-го стиха — «Юго, не знаю» — оставлен пробел для ненаписанных двух стихов — 10-го и 11-го. На этом основании он в комментариях к «Езерскому» и «Медному Всаднику» отнес отрывок к «Езерскому» [26] (так он и напечатан в академическом издании — *Акад.*, V, 417). Напротив, О. С. Соловьева считала, что он «не мог быть онегинской строфой, предназначенной для „Езерского", но отражал определенный момент развития замысла „Медного Всадника" и потому должен печататься среди его черновиков».[27] Необходимо, по нашему мнению, согласиться с последним утверждением: едва ли возможным представляется возвращение к оставленному «Езерскому», отдельные отрывки которого Пушкин в первой половине работы над «Медным Всадником» хотел и пробовал применить для новой поэмы, перерабатывая их не только по форме (перестраивая «онегинские» строфы в бесстрофные стихи с вольной рифмовкой), но и по существу, набрасывая отдельные места заново и дополняя мысли, содержащиеся в «Езерском», а иногда просто пересказывая их. При этом разнородные темы, словно от желания автора поскорее высказать их, перебивают одна другую, едва наметившись.

Так, после начатой, но тотчас оставленной и наполовину зачеркнутой родословной Евгения следуют отделенные чертой слова:

Он был столичный

И далее — прежняя тема, связанная с интродукцией: «Домой пришед». Обе эти строчки зачеркнуты, после чего следуют рассуждения о Байроне и других писателях-дворянах. Текст (как во всем черновике «Медного Всадника», за малыми исключениями) идет в два столбца, и в правом (втором) столбце на л. 10 об. после слов, приведенных выше, — «Угодно знать...» и т. д. идут наброски, определяющие общественное положение и личные свойства героя:

Он был чиновник [небогатый] очень бедный
Безродный круглый сирота
Собою бледный, рябоватый

Как согласовать второй из этих стихов («Безродный, круглый сирота») с родовитым дворянским присхождением героя? Очевидно, имеется в виду не его родословная, не предки, а то, что он последний в роде, обедневший, оставшийся сиротой, забывший о своих предках и об историческом прошлом

---

[26] Бонди С. М. «Езерский» и «Медный Всадник», с. 48.
[27] Соловьева О. С. «Езерский» и «Медный Всадник», с. 309.

своего некогда знатного рода. Это представление о герое мелькает уже в одном из черновиков «Езерского» (*Акад.*, V, 410):

Но о прошедшем очень мало
Ив‹ан› Ез‹ерский› помышлял
Лишь настоящего алкало
В нем сердце...

Теперь та же мысль, вновь возникнув, развернута далее подробно, на материале того же «Езерского»: Евгений

Без роду — племени, связей
Без денег — то есть без друзей —

На следующей странице тетради (л. 11) раскрывается его ординарность, принадлежность к толпе (или «тьме») подобных, то, что является характерной чертой «ничтожного героя» и сливает его с массой таких же «читателей», к которым иронически обращается поэт:

А впрочем гражданин столичный
Каких встречаете вы тьму
От вас нимало не отличный
Ни по лицу ни по уму —
Как все он вел себя нестрого
[Как вы писал отменно много]
Как вы о деньгах думал много
Как вы сгрустнув курил табак —
Как вы носил мундирный фрак

И вслед за этим начинается длинное отступление, скомпанованное из разных черновых строф «Езерского», — о праве поэта «воспевать» «ничтожного героя» и об упреках критиков, требующих, чтобы он прославлял великих людей, которые

Так расплодились в наши дни
Что нет от них уж нам прохода.[28]

На этом обрываются рассуждения о свободе творчества и праве поэта на выбор «ничтожного героя». С л. 11 об. продолжается до л. 16 об. связный и последовательный черновик Первой части поэмы, начинающийся словами:

Итак, домой пришед, Евгений
Позвал слугу, разделся — лег
Но долго он заснуть не мог
В волненьи тайных размышлений.

Здесь в словах «Позвал слугу» содержится еще один — последний — намек на известную состоятельность героя. В этом намеке находят отражения колебания Пушкина, очень явственные и резкие в черновых набросках к «Езерскому», где чередуются «роскошный кабинет» героя, петербургского денди онегинского типа, и «конурка пятого жилья» почти

[28] См. строфы XI, XII и XIV белового текста «Езерского» и черновые тех же строф.

нищего чиновника, и затухающие в беловом тексте незаконченной поэмы, где Езерский является «ничтожным героем», регистратором, живущим одним жалованьем и влюбленным в мещанку — «лифляндочку», столичным гражданином, «каких встречаем всюду тьму». Последние определения прямо перенесены из «Езерского» в поэму «Медный Всадник». В перебеленном тексте последней поэмы (БА) признаки какой бы то ни было состоятельности Евгения изъяты и его бедность подчеркнута словами «живет в чулане», исправленными здесь же на «живет в Коломне», что сохранено и в окончательном тексте. Коломна в ту эпоху — отдаленная и захолустная часть города, населенная мелкими чиновниками, ремесленниками и тому подобным бедным людом; как место жительства героя поэмы она дает точное представление и о его бедности, и о его невысоком общественном положении.

Вслед за приведенным выше четверостишием («Итак, домой пришед, Евгений» и т. д.), где первоначальное «позвал слугу» заменено при переписке в БА словами «стряхнул шинель», т. е. чиновничью одежду, мокрую от дождя, сам снял с себя и повесил (неимение слуги у чиновника или офицера свидетельствовало о большой бедности), — вслед за этим следует вопрос: «О чем же мыслил он?» — и ответ на него: размышления и мечты «ничтожного героя» поэмы (в окончательном тексте соответственно стихи 127—163). Это один из важнейших отрывков поэмы, определяющий духовную сущность героя, погруженного в мелкие служебные или обывательские (точнее, даже мещанские) интересы, в мечты об узком семейном счастье, в котором нет места никаким высшим умственным потребностям. Если Евгений и размышляет о том, что

трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь, —

то эти слова, иногда понимаемые как выражение возвышенных духовных стремлений, означают, очевидно, лишь мысли о трудной для бедняка чиновничьей карьере: на это указывают дальнейшие его мысли о недостатке «ума и денег», о том,

Что может быть через полгода
Он чин получит.[29]

Этот образ, сложившийся с полной отчетливостью уже в первой черновой рукописи, при дальнейших обработках текста, вплоть до окончательного, почти не меняется, в основном сохраняя однажды определившиеся черты. Характерно, что, высказывая при этом и зависть к «гор-

[29] Первоначальный вариант «Получит крестик», т. е. орден, тотчас зачеркнут как совершенно несбыточное мечтание. В ходе дальнейшей обработки текста «полгода» заменено на более естественное — «два года», в форме: «Что служит он всего два года», или даже: «Что вряд еще через два года Он чин получит», т. е., следовательно, пока он даже не имеет еще чина коллежского регистратора — первого, низшего чина (14-го класса) по «табели о рангах».

дым счастливцам» «вельможам, богачам, ленивцам, которым жизнь куда легка», и некоторое презрение к «знати», к «гордому свету», который

С своей блистательной неволей
У нас не будет,

т. е. не будет общаться с ним и с Парашей, с их семьей, Евгений остается совершенно чужд сознанию своей собственной принадлежности к древнему дворянскому роду, участнику исторических событий, упоминаемому в «Истории» Карамзина.[30] Это положение твердо установлено Пушкиным в черновой рукописи, т. е. глубоко продумано им и в общей концепции поэмы имеет важное значение. Стремление поэта как можно более принизить своего героя при первом его появлении в поэме, сделать его «ничтожным» во всем смысле слова, явственно сказывается в стихах, посвященных его размышлениям о своем настоящем и мечтам о будущем — о семейной жизни с Парашей.

Из этих размышлений и мечтаний героя можно составить себе представление и о той, кого он любит и кого мечтает сделать своей женой. Обитательница вместе с матерью-вдовой ветхого домика в Галерной гавани, т. е. на приморской окраине города в конце Васильевского острова, наиболее подверженной наводнениям, она восприняла имя, уже вошедшее незадолго, в первую болдинскую осень, в творчество Пушкина, — имя героини «Домика в Коломне» — Параша. Само по себе это имя уже указывает на ее демократическое — мещанское или мелкочиновничье, во всяком случае разночинное — происхождение. В «Петербургской повести» Параша играет чисто пассивную роль (в отличие от своенравной и активной коломенской Параши), но она дополняет и подчеркивает приниженное положение потомка знатного рода — регистратора Евгения. Все эти черты героя и не появляющейся в поэме героини, сжато, но с присущей Пушкину полнотой и отчетливостью обрисованные, входят существенным элементом в общую концепцию «Медного Всадника».

Работа над первой черновой рукописью поэмы продолжается уверенно. Текст по общему плану близок к окончательному тексту, только сравнительно с ним более сокращен. Ночные раздумья Евгения сменяются сном, и наконец

Уже редеет сумрак ночи
И бледный день уже‹?› встает —
Ужасный день...

Эти стихи зачеркнуты, но позднее, в несколько измененном виде, они возвращаются и в Болдинской беловой рукописи, и в Цензурном автографе, вплоть до окончательного текста. Начинается описание «ужасного дня» — наводнения 7 ноября 1824 г.

Описание наводнения, в окончательном тексте составляющее 43 стиха (177—219), занимает в первой черновой рукописи семь страниц — листы 12 об., 13—13 об., 14—14 об., 15 (часть), 16 об.

[30] Имени Карамзина нет в черновой рукописи, оно является только в первой беловой (Болдинской), но это не меняет дела.

Описание общего хода наводнения, от вечера 6 ноября до его кульминации в середине следующего дня и падения воды к вечеру 7 ноября, изображение спокойного утра 8 ноября были подсказаны Пушкину статьей Булгарина—Берха и дополнены его личными впечатлениями от виденного им 17 августа 1833 г. начала нового наводнения и другими описаниями. Все вместе образовало грандиозную картину стихийной силы, бо́льшая часть деталей которой донесена — разумеется, в обдуманном и обработанном виде — до первой (Болдинской) беловой и до окончательного (Цензурного) текста, и мы можем поэтому не вдаваться в них. Но необходимо отметить важнейшие отличия — отрывки, намеченные в черновике и потом отброшенные или сокращенные.

Прежде всего это — появление Александра I на балконе Зимнего дворца. Этот эпизод отсутствует у Берха, но он мог быть известен Пушкину по рассказам современников (в частности, по не напечатанному тогда рассказу Грибоедова, где коротко сказано: «В эту роковую минуту государь явился на балконе» — см. настоящее издание, с. 118). Не известен и источник слов, произнесенных царем — возможно, Пушкин знал их по устным рассказам очевидцев. Пушкину этот эпизод был нужен, и он обрабатывал его весьма тщательно, сначала желая расширить за счет размышлений царя о давно прошедшем времени и о его связи с настоящим. Эпизод в черновом автографе начинался словами:

тот страшный год
Последним годом был державства
Царя пред к‹ем›

(вероятно: «Царя, пред кем склонился Наполеон» или «пал Париж» и т. п.). Два последних стиха зачеркнуты, вместо них написано почти так, как вошло в окончательный текст:

В тот грозный год
Царь Александр еще со славой
Россией ведал — Вышел он
Печален смутен на балкон
И молвил — с божией стихией
Царям не сладить.

Здесь внешне почтительное «со славой» в сопоставлении с «печален, смутен», с признанием царем своего бессилия перед стихией звучит скрыто иронически, особенно для читателей, помнивших сопоставление в «Полтаве» царя Петра, который «могущ и радостен, как бой», и еще до сражения уверен в своей победе, и короля Карла, которого «желанный бой» приводил «в недоуменье» и который, в сущности, был побежден еще до начала Полтавского боя (*Акад.*, V, 56—57). В новой поэме о Петре поэт далее, вспоминая Полтавский бой — опаснейший момент петровского царствования, обращается к монументу Полтавского победителя, «Кумиру» на бронзовом коне:

О мощный властелин судьбы,
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

В черновике размышления царя Александра продолжаются. Глядя «На злое бедствие», он думает:

Такóва
Давно не ведал град Петров
От лета семьдесят седьмого —

т. е. со времени наводнения, бывшего 10 сентября 1777 г., почти столь же сильного по подъему воды, но еще более бедственного по причиненным разрушениям и количеству жертв. И дальше, уже о себе, о том, что его рождение (12 декабря 1777 г.) почти совпало с этим наводнением:

Тогда еще Екатерина
(Вчера была ей годовщина) [31]
Была жива — и Павлу сына
В тот год Всевышний даровал
[Порфирородного младенца]
И гимн младен‹цу›
Брянцал Держав‹ин›

Эти стихи, однако, не вошли в первую беловую рукопись (БА). В черновой непосредственно после воспоминаний царя о наводнении 1777 г., которое можно, очевидно, воспринимать в таком контексте как предвестие несчастий для будущего царствования «порфирородного младенца», следуют наброски, примыкающие к отрывку о размышлениях царя при виде наводнения с балкона Зимнего дворца: царь посылает для спасения погибающих своих генералов Милорадовича и Бенкендорфа — эпизод, широко известный и распространенный в печати. Впрочем, у Булгарина — Берха назван один граф Милорадович, который отправился на катере по Морской улице по собственной инициативе и независимо от царского приказа.[32] О генерал-адъютанте Бенкендорфе, который, выполняя приказ, «перешел через набережную, где вода доходила ему до плеч, сел не без труда в катер, и на опаснейшем плавании, продолжавшемся до трех часов ночи, имел счастие спасти многих людей», рассказывает С. Аллер.[33]

Упоминание, взятое Пушкиным прямо из Берха, о военном генерал-губернаторе, плывущем по Морской улице, влечет за собой комический рассказ о сенаторе графе В. В. Толстом, который, встав поздно и ничего не зная о наводнении, подошел к окну и, увидев плывущего в лодке генерала (т. е. Милорадовича), решил, что он сошел с ума, и успокоился только, когда мальчик-слуга подтвердил ему реальность необычайного явления.[34] Вслед за этим следует другой рассказ — о часовом, который «стоял

---

[31] Екатерина II умерла 6 ноября 1796 г.

[32] Берх В. Н. Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в Санктпетербурге. СПб., 1826; см. настоящее издание, с. 107.

[33] Аллер С. Описание наводнения, бывшего в Санктпетербурге 7 числа ноября 1824 г. СПб., 1826; см. настоящее издание, с. 115.

[34] В наброске эпизода с сенатором на л. 14 об. читаются такие стихи:

Я думал видя гиль такую
Уж не сошел ли я с ума —
Ему привиделась т‹...› ‹?›

у ‹Летнего› сада — караула снять не успели...». Недописанный Пушкиным рассказ продолжается у С. А. Аллера, согласно которому часовой не оставлял «во время наводнения своего поста у Летнего сада, пока не приказал ему его ефрейтор, подвергавшийся сам опасности для спасения его, ибо должен был брести к нему по пояс в воде и бороться с яростию валов, покрывавших тогда набережную».[35]

Рассказ о часовом не был отделан и остался без применения. Анекдот же о сенаторе был перебелен в Болдинском беловом автографе, где примкнул непосредственно к рассказу о посылке царем генералов (после стиха 219 окончательного текста: «... И дома гибнущий народ»), но тут же был перечеркнут. С этим связана еще одна мелкая, но не маловажная переделка в той же рукописи БА — в ней стихи, соответствующие стихам 190—199 окончательного текста, дважды перерабатывались, и вторая редакция их читалась так:

И страх и смех! Как воры, волны
Полезли в окна; с ними челны
С разбега стекла бьют кормой.
Мосты, снесенные грозой,
Обломки хижин, бревна, кровли,
Запасы лакомой торговли,
Пожитки бедных, рухлядь их.
Колеса дрожек городских,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по городу.

Определение «И страх и смех!», данное здесь впечатлениям от наводнения, и позволило Пушкину поместить далее анекдот о сенаторе графе Толстом. Но вскоре, при составлении второго белового, Цензурного автографа, поэт, чувствуя несоответствие «смеха» и анекдотов общему нарастающему трагическому тону поэмы, зачеркнул слова «И страх и смех!», заменив их и все связанные с ними стихи другими словами:

Осада! приступ! злые волны
Как воры, лезут в окна. Челны
и т. д.

Эта редакция и вошла в окончательный текст (стихи 190—199).

Рядом отдельных набросков, относящихся к наводнению, кончается связный черновой текст в первой тетради (ПД 845). Эти последние отрывки написаны уже в конце октября (около 26-го, судя по тому, что в правом столбце той же страницы записано вчерне начало третьей части «Анджело», законченного перепиской 27 октября). Затем, пропустив две страницы (15 об. и 16), уже занятые написанным ранее стихотворением

«В последнем слове, — пишет С. М. Бонди, — кроме первой буквы, ничего не написано. Нельзя ли, руководствуясь рифмой, прочесть: „тюрьма"? Не имел ли в виду Пушкин бастионы Петропавловской крепости, окруженные водой, где мог вообразить себя со сна сенатор?» (Бонди С. М. «Езерский» и «Медный Всадник», с. 49). Эту смелую конъектуру нельзя не признать очень удачной и убедительной.

[35] Аллер С. Описание наводнения... (см. настоящее издание, с. 115).

«Сват Иван — как пить мы станем...» и иллюстрацией к нему, Пушкин на обороте 16-го листа продолжает обрабатывать черновой текст эпизода об Александре I и его генералах и тут же возвращается к Вступлению поэмы; на л. 16 об. находится запись, соответствующая стихам 39—42 окончательного текста: [36]

И перед младшею ‹?› ‹столицей›
Померкла старая Москва
Как перед новою ‹?› Царицей
Порфироносная Вдова.

На л. 17 читается запись, относящаяся также к Вступлению и соответствующая стихам 48—58 окончательного текста:

Когда я в комнате моей
Пишу читаю без лампады
и т. д.

Кончается запись недописанными, лишь начатыми стихами:

И не пуская ‹тьму ночную›
На голубые небеса

На этом заканчивается черновик «Медного Всадника» в первой рабочей тетради (ПД 845, бывш. ЛБ 2374), и он переходит в другую, вторую тетрадь, так называемый «сафьяновый альбом» (ПД 839, бывш. ЛБ 2372),[37] хотя в первой шли далее незаполненные листы. Чем это объяснить?

Нам представляется вполне справедливым мнение О. С. Соловьевой, считавшей, что Пушкин стал переписывать Вступление в первую беловую рукопись БА (где конец его помечен «29 октября») «когда черновик поэмы был далеко еще не закончен, и, чтобы не прерывать черновой работы, перешел в другую тетрадь — так он мог работать параллельно. Последние наброски стихов „Вступления“ на л. 17 альбома ЛБ № 2374 делались, вероятно, или непосредственно перед переписыванием вступительной части, или в самом начале его. Как бы то ни было, можно с уверенностью сказать, что 29 октября все записи, относящиеся к „Медному Всаднику“, в этом альбоме были закончены».[38]

Начиная записи во второй тетради (ПД 839, бывш. ЛБ 2372, л. 54 об.), Пушкин вернулся к некоторым отрывкам, уже набросанным в первой. Записи начинаются речью об имени героя поэмы, т. е. стихом 108 окончательного текста:

Мы будем нашего Героя
Звать этим именем — оно
Звучит приятно, с ним давно
Мое перо к тому же дружно...

---

36 Даем последние чтения этих набросков.
37 Бонди С. М. «Езерский» и «Медный Всадник», с. 50.
38 Соловьева О. С. «Езерский» и «Медный Всадник», с. 315—316.

Текст здесь значительно более обработан, чем в черновике первой тетради, и представляет собою, очевидно, посредствующее звено между текстом первой тетради и перебеленным текстом БА. Замечательно, однако, то, что в начале этого нового черновика поэт несколько раз, как будто невольно, возвращается к давно оставленному «Езерскому» и вводит в новую поэму — вероятно, по памяти — несколько отрывков. На этой первой странице второй рукописи мы читаем:

наш Герой
Живет [под кровлей] в чулане — где-то служит —
Дичится знатных и не тужит
Что дед его Великий муж
Имел 16 т‹ысяч› душ!..

Последние два стиха зачеркнуты — очевидно, поэт не хотел углубляться в родословную своего героя, от которой он отказался уже в первом черновике. Перевернув лист, он на следующей странице (л. 54), после быстрой и словно нетерпеливой переработки, наметил стихи, соответствующие стихам 184—189, т. е. началу наводнения, описание которого здесь читается приблизительно так:

Бежало все и скрылось вдруг —
[В широкой округ]
[Навстречу ей] слились каналы
[И захлебнулися подвалы]
И всплыл Петрополь как тритон
По пояс ‹в воду погружен›

Последнее сравнение «Петрополя» с тритоном, дважды намеченное еще в первой рукописи (на л. 13 об.), доводится таким образом через второй черновик и первую беловую рукопись, Болдинскую, до окончательного текста.

Непосредственно за этим отрывком, отделяясь от него чертой, следует другой, уже намеченный в первом черновике, а здесь переписанный набело, причем в него введены слова, определяющие двойственность первого впечатления от наводнения — сочетание ужаса с комическими сценами:

И страх и смех — средь улиц челны
Стекло окошек бьют кормой...

Переписанные без изменений в первую беловую рукопись (БА), эти стихи там, вероятно, при составлении второй беловой (ЦА) подвергнуты были переработке, причем, как уже сказано выше, слова «И страх и смех» были вычеркнуты, а потом уже в ЦА заменены другими, без намека на «смех», на что-либо комическое.

На следующей странице мы видим вновь записанные вчерне и, вероятно, по памяти, отрывки из «Езерского» сатирического и полемического

характера, связанные с предшествующим отрывком о герое поэмы, Евгении, который «не тужит» о былом богатстве своего деда:

[Не знает он, в каком Архиве]
О том, что в тереме забытом
[В пыли гниют его права]

*

Вас спесь боярская не гложет
И век вас верно просветил
Кто б ни был etc.

*

От этой слабости безвредной
Булг.‹арин› отучить ‹?› не мог
Меня (хоть был он очень ‹строг›)

Эти три наброска, внезапно возникающие посреди описания наводнения (тетрадь ПД 839, л. 53 об.), представляют собой реминисценции из разных строф «Езерского» в более или менее переработанном виде. Первый — из строфы IX:

Где в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава.

Второй — из строф V и VI, где обрывается родословие Езерских, причем начало строфы VI дано здесь сокращенно:

Кто б ни был ‹ваш родоначальник,
Мстислав Удалый, иль Ермак,
Или Митюшка целовальник,
Вам все равно...›

Третий не имеет соответствий в «Езерском», но это, возможно, объясняется тем, что многие черновые тексты этой поэмы не сохранились.

Наконец, два двустишия описательного (а не сатирического или полемического) характера перенесены Пушкиным в несколько переработанном виде из «Езерского» в описание ненастного осеннего вечера, когда безумный Евгений, спящий на Невской пристани, просыпается и идет «бродить». Первое двустишие — сравнение «мрачного вала», который бьется о пристань,

Как челобитчик у дверей
Ему не внемлющих судей, —

подсказано, очевидно, I строфой первоначального текста «Езерского» (в тетради ПД 842, бывш. ЛБ 2373, которую Пушкин имел с собою

в Болдине). Второе двустишие, оставшееся лишь в черновике, где оно было между стихами 386 и 387 окончательного текста:

Бедняк проснулся. Мрачно было
Взамен уга‹снувшей› за‹ри›
Светили тускло фо‹нари›
Дождь капал, ветер выл уныло, —

находится в той же I строфе первоначального текста «Езерского» и в других набросках его вступления.

Этим заканчиваются возвращения в «Медном Всаднике» к оставленной незадолго до него «сатирической поэме» в «онегинских» строфах «Езерский». В чем смысл и значение этих возвращений?

Нужно думать, что при самом начале работы над «Медным Всадником» в Болдине Пушкин не имел в виду возвращения к оставленному незадолго до того «Езерскому». Но, начав создавать образ своего героя, Евгения, для чего он воспользовался вступительными строфами «Езерского» (или, более всего, строфою в первоначальной рукописи — ПД 842, л. 19), он стал думать о значительном расширении своей темы — о введении в нее родословной старинного, знатного дворянского рода, последним отпрыском которого является герой новой поэмы — Евгений. Вероятно, родословная должна была войти в сжатом виде, далеко не так подробно, как в «Езерском»; на это указывает, по-видимому, отрывок о подражании Байрону и о писателях-дворянах, находящийся посреди первой черновой рукописи «Медного Всадника» и отнесенный ошибочно С. М. Бонди к «Езерскому» (*Акад.*, V, 417). Но как бы то ни было, родословную было предположено ввести. Вместе с тем поэт хотел дать и более подробную характеристику своего героя («Он был чиновник небогатый... А впрочем гражданин столичный...» и т. д.), и это влекло за собой спор с критиком о праве поэта взять героя не из «великих людей» (каких Пушкин не видел в современности), а из мелких чиновников, т. е. «ничтожного героя».

Таким образом, мы видим здесь процесс, обратный тому, какой представляли себе Анненков и другие исследователи, включая Брюсова, до 1930 г. (о чем мы говорили уже выше): «Медный Всадник» никогда не был «второй частью», отколовшейся от первой (т. е. от «Езерского»); наоборот, он, возникнув независимо от «Езерского», в ходе работы над ним Пушкина должен был воспринять некоторые элементы оставленной поэмы. Но поэт тотчас увидел, что включение в «Медный Всадник» этих элементов неправомерно расширяет вступительную часть новой поэмы и нарушает ее композицию, а кроме того, их полемический и сатирический характер, полный иронии, никак не соответствует самой сущности замысла, нарушает его сдержанно-трагический тон, заявленный в заключительных стихах Вступления, открывавших «повествование» об «ужасной поре» и обращенных к «сердцам печальным», т. е. к читателям, быть может и далеким от литературно-общественной полемики, но умеющим глубоко и по-человечески чувствовать «горестный рассказ» о наводнении.

Вместо данной от автора, с оттенком иронии, характеристики «ничтожного героя» он предоставил сделать это самому Евгению в виде размышлений ночью, накануне наводнения.

Правда, позднее, приступив в БА к перебелке первого черновика и дополняя его многими вставками, он одновременно вновь, во второй черновой рукописи своей поэмы (ПД 839), как было показано выше, порой возвращается к «Езерскому». Но эти несвязные наброски тотчас оставляются, и в дальнейшем тексте «Медного Всадника» в Болдинской беловой рукописи мы не видим никаких следов расширения и развития этих полемических набросков на социальные темы. Однако самое возвращение к подобным темам в ходе работы над поэмой показывает, что Пушкин придавал важное значение вопросам о происхождении героя своей поэмы, прошлому величию и современному упадку его рода. В окончательном тексте «Медного Всадника» от всей этой тематики остались, как мы знаем, лишь слабые намеки в стихах 112—122; но это не уменьшает значения самих вопросов.

Непосредственно вслед за отрывочными реминисценциями из «Езерского» Пушкин на этой же странице (ПД 839, л. 53 об.) после отделительной черты стал быстро, чрезвычайно беглым, все более размашистым и крупным почерком, то в один, то в два столбца, набрасывать сцену, имеющую в поэме очень важное значение и замыкающую первую ее часть:

На [самой] площади Петровой
Где дом, близ церкви — вечно новой..[39]

предстает Евгений, «на звере мраморном верхом», смотрящий в смертельной тревоге на «край один» — туда, где живут «вдова и дочь, его Параша, его мечта...». Вся сцена, написанная, очевидно, в один прием, заканчивается на л. 52 об. знаменательными словами:

или во сне
Он видит гибель... Иль и наша
Вся жизнь ничто — как [сон] пустой
Насмешка неба над землей — — —

Под этими словами поставлен заключительный росчерк и дата: «30 ок‹тября›». К этому дню относится работа Пушкина одновременно над черновиком во второй тетради и над первой (Болдинской) беловой рукописью, начатой накануне.

Черновик после даты и заключительного знака продолжается (в тот же день вечером или с раннего утра следующего дня, 31 октября, но во всяком случае после некоторого перерыва) словами:

И он, как будто околдован,
Как будто силой злой прикован
Недвижно к месту одному —
И нет возможности ему
Перенестись...

[39] См. примечание к стихам 220—225 поэмы.

На следующей странице (л. 52) является в двух последовательных набросках, впервые после Вступления, тот, кто дал название поэме:

Кумир на бронзовом коне
Неве мятежной — в тишине
Грозя недвижною рукою.

*

И обращен к нему [спиною]
[В неколебимой тишине]
Стоит [с простертою рукою]
Кумир на бронзовом коне

Оба эти текста, записанные — можно сказать, набросанные — чрезвычайно бегло, с недописанными и едва намеченными словами, свидетельствуют (как, впрочем, и вся рукопись в тетради ПД 839) о чрезвычайной напряженности и быстроте работы, о необычайном творческом подъеме.

Начало Второй части (стихи 260—290) в черновой рукописи отсутствует — возможно, оно было написано на отдельном листе и до нас не дошло; менее вероятно, чтобы оно было создано во время переписки, прямо в беловой рукописи — случай, не встречающийся в творческой практике Пушкина.

Как бы то ни было, лист 51 об. начинается в левом столбце рассказом о самоотверженной переправе Евгения (стихи 291 и след. окончательного текста). Одновременно в правом столбце записан короткий план дальнейшего хода поэмы до конца — не в порядке эпизодов, а сначала в основных моментах:

[Пустое место]
[На другой день все в пор‹ядке›]
Конь ‹?› [холодный ветер] [до‹ждь› ‹?›]
Сумасшедший
Петр‹овский› ‹?› па‹мятник› ‹?›
Остров

Далее записи идут в виде коротких отрывков, даже отдельных слов, без строгой последовательности; часты случаи повторений и возвращений к уже написанным словам; подобный характер записей усиливается особенно к концу поэмы. Этот черновик — один из тех, какие более всего заслуживают определение, когда-то найденное Б. В. Томашевским: «Стенограмма творческого процесса».

Черновой автограф набросков, соответствующих стихам 390—455 окончательного текста и содержанием которых являются ночной приход Евгения на Сенатскую площадь, сцена у памятника Петра, угроза Евгения «Строителю чудотворному» и его бегство от «грозного царя», — этот автограф занимает во второй тетради (ПД 839, бывш. ЛБ 2372) всего пять неполных страниц, писанных в два столбца (49, 48 об., 48, 47 об., 47). Анализ автографа дает представление о стремительности творческой ра-

боты поэта, набрасывавшего отдельными отрывками, даже отдельными словами, с повторениями и возвратами, текст всей этой сцены, являющейся кульминацией поэмы. Достаточно сказать, что угроза Евгения, обращенная к «кумиру»:

Добро, строитель чудотворный!
Ужо тебе! —

повторена на двух страницах черновика (л. 48 и 47 об.) пять раз, с одним вариантом — «строитель Петрограда». Текст центральной части этой сцены, помещенный выше, в разделе вариантов черновых автографов (см. настоящее издание, с. 57—60), приведен там не полностью в смысле передачи всех отдельных слов, во многих местах не написанных, а лишь намеченных значками, не поддающимися прочтению, но во всяком случае он дает достаточное представление о характере скорописи — быстрой и нервной, далеко еще не составляющей связного текста.

Из этих набросков при перебелке черновика в первой беловой рукописи, Болдинской, строится кульминационная сцена поэмы, соответственно стихам 428—442 окончательного текста.

Еще не закончив чернового текста поэмы, Пушкин стал переписывать его набело — в тетрадку, сшитую из отдельных листов почтового формата, сложенных вдвое (ПД 964, бывш. ЛБ 2375). Образовалась первая беловая (или, технически точнее, перебеленная) рукопись — Болдинский беловой автограф (БА).

Переписывалась эта рукопись, очевидно, с утра 29 октября (дата «29 окт‹ября›» поставлена при конце Вступления), сначала с первой черновой (в «альбоме без переплета» — ПД 845, бывш. ЛБ 2374), потом со второй тетради (ПД 839, бывш. ЛБ 2372). В этой тетради после стиха, соответствующего стиху 250 окончательного текста:

Насмешка неба над землей —

поставлен заключительный знак и дата «30 окт‹ября›». Судя по почерку этой даты, она поставлена при переписке беловой (БА) и означает конец работы на этот день. Работа возобновляется, вероятно, на другой день, 31 октября, быть может после завершения черновой рукописи (т. е. создания 230 стихов, считая по окончательному тексту), и, как уже говорилось, заканчивается в ночь с 31 октября на 1 ноября, точнее — в 5 часов 5 минут утра 1 ноября, как записано после заключительного знака, в конце Болдинской беловой.

Перебелка черновой рукописи «Медного Всадника» — отнюдь не техническая (как можно было бы думать), но вполне творческая работа, и нельзя не удивляться тому несравненному творческому подъему, который позволил великому поэту создать законченный, совершенно отделанный текст из поспешно набросанного, запутанного и далеко не полного чер-

новика. Пушкин, переписывая его, «на ходу» довершал, отделывал, перерабатывал, дописывал отсутствующие места, кое-что вычеркивал, — словом, из хаотического (особенно в конце поэмы) нагромождения повторяющихся или недописанных, едва обозначенных слов создавал законченный, великолепный, необычайно сжатый и одновременно необычайно сложный, богатый мыслью, стилистически разнообразный беловой текст своей «Петербургской повести».

Все отличия БА от окончательного (основного) текста приведены выше (см. настоящее издание, с. 63—72). В пояснение к этому разделу нужно сказать, что многие места Болдинской беловой не имеют соответствий в черновых рукописях, иные же, вошедшие затем из черновых рукописей в Цензурный автограф, отсутствуют в Болдинской беловой. Первые, отсутствующие в черновиках, невозможно указать, особенно в конце поэмы, где, например, в сцене Евгения у памятника поэт из четырех-пяти едва разбираемых набросков создавал один, цельный и законченный текст. Что касается некоторых мест, отсутствующих в Болдинской беловой, но появляющихся позднее в Цензурном автографе, то нужно думать, что они были записаны на отдельных листах, которые потом затерялись. Один такой случай нам, по-видимому, известен: восемь стихов Вступления, от «Люблю зимы твоей жестокой» до «И пунша пламень голубой» (стихи 59—66 окончательного текста), были записаны на отдельном листке, место которого в Болдинской беловой обозначено крестиком (последний, однако, может означать и место будущего 2-го примечания, у стиха «Спешит, дав ночи полчаса»). Листок с восемью стихами, с жандармским № 23, после смерти Пушкина остался у Жуковского, от которого перешел к его сыну, П. В. Жуковскому. Последний подарил его в числе многих прочих известному русскому коллекционеру, жившему в Париже, А. Ф. Отто-Онегину, и он вошел в так называемое Онегинское собрание, находящееся теперь в Пушкинском Доме. Однако листка уже там нет: в 1892 г. он был передан «по желанию П. В. Жуковского студенту Московского университета г. Истомину» и теперь неизвестно где находится.[40]

Невероятная увлеченность и быстрота работы над поэмой вообще, над ее черновыми и в особенности над Болдинской беловой сказались в том, что три стиха окончательного текста (183, 331 и 364) остались без рифм, т. е. без соответствующих им рифмующихся стихов. Рассмотрим эти случаи.

Первый случай относится к стиху 183 — «На город кинулась. Пред нею...». В черновом тексте (ПД 845, бывш. ЛБ 2374, л. 13) соответствующее место, изображающее Неву в начале наводнения, читается:

в миг она
Пучиной бурною своею
Покрыла все

[40] См.: Модзалевский Б. Л. Описание Музея А. Ф. Онегина. — В кн.: Пушкин и его современники, вып. XII. СПб., 1909, с. 11; *Акад.*, V, 517, примеч.

*

В единый миг она
Ка‹к› бы добычею своею
Всем овладела

*

Она пучиною своею

В тексте БА:

Она бродила и кипела
И пуще, пуще свирепела
Котлом клокоча и клубясь —
И вдруг, как зверь остервенясь,
[Всей тяжкой] Со всею силою своею
183 [Пошла на приступ] — перед нею
Все побежало; воды вдруг
Завоевали все вокруг...

В тексте ЦА (и ПК до пушкинской правки):

Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива
И затопляла острова,
И пуще, пуще свирепела
Приподымалась и ревела
Котлом клокоча и клубясь
И наконец, остервенясь
183 На город кинулась. Пред нею
Все побежало, все вокруг
Вдруг опустело — волны вдруг
Вломились в улицы, в подвалы...

Таким образом, при переписке ЦА с первой беловой (БА) стих «Со всею силою своею» не был перенесен (быть может, по недосмотру автора) и следующий стих — «На город кинулась. Пред нею» (переправленный из «Пошла на приступ — перед нею») — остался без рифмы.

В окончательном тексте не имеет рифмы и стих 331:

Утра луч
Из-за усталых, бледных туч
Блеснул над тихою столицей
331 И не нашел уже следов
Беды вчерашней; багряницей
Уже прикрыто было зло...

Но и в черновой рукописи было так же (см. ПД 839, бывш. ЛБ 2372, л. 51—50 об.), и в БА. Таким образом, стих, который должен рифмоваться со стихом 331, отсутствует во всех рукописях поэмы, пропущенный еще при создании черновика.

Третий случай — стих 364, входящий в отрывок, где описывается состояние безумного Евгения:

Он скоро свету
Стал чужд; весь день бродил пешком,
364 А спал на пристани; питался
В окошко поданным куском
Одежда ветхая на нем
Рвалась и тлела...

В черновой рукописи (ПД 839, бывш. ЛБ 2372, л. 50) соответствующее место читается так:

[Один по свету]
[Ходил он] [пешком]
А спал — на пристани. Питался
[В окошко] брошенным куском
[Он] Уж — — почти не раздевался
[И платье] ветхое на нем
Рвалось и тлело...

В тексте БА:

Стал чужд он свету —
Он целый день бродил пешком
А спал на пристани. Питался
В окошко поданным куском —
[Он никогда не раздевался]
[И платье] Одежда ветхая на нем
Рвалась и тлела...

Зачеркнув в БА стих «Он никогда не раздевался», рифмовавшийся со стихом «А спал на пристани. Питался», Пушкин, очевидно, думал его заменить каким-то иным, вероятно близким по смыслу, но иначе сформулированным. Однако он в БА этого не сделал, а при переписывании текста БА в ЦА не обратил внимания на отсутствие рифмы. В таком виде, естественно, этот отрывок вошел и в ПК, и, следовательно, в окончательный текст.

Таково происхождение трех случаев, очень редких вообще в творчестве Пушкина, — отсутствия рифмующихся стихов в вольно рифмованном тексте.

В общем же Болдинская беловая рукопись написана, несмотря на невероятную быстроту ее переписки, прекрасным, ровным, отчетливым, хотя и довольно мелким почерком, на многих страницах почти и даже вовсе без помарок. Более всего переработок мы видим во Вступлении, в описании наводнения (крупнейших вследствие вычерка слов «И страх и смех!», с чем связано и исключение анекдота о сенаторе Толстом); переработаны заключительные стихи Первой части, причем в последнем стихе ее окончательного текста «Кумир на бронзовом коне» слово «Кумир» зачеркнуто и заменено словом «Седок»; это сделано другим почерком, чем вся рукопись и, по-видимому, позднее, при попытках поэта найти приемлемые для цензуры формулировки.

Рукопись БА заканчивается обычным у Пушкина спиралеобразным заключительным знаком и, как уже говорилось, конечно, не случайно точной до минуты пометой о ее завершении: «31 октября 1833. Болдино 5 ч. 5 ‹м. утра›».

Таков Болдинский беловой автограф — один из замечательнейших памятников творческого гения Пушкина.

5

По возвращении в Петербург, в начале 20-х чисел ноября, Пушкин изготовил новую, вторую беловую рукопись «Медного Всадника», назначенную для представления в цензуру, — так называемый Цензурный автограф (ЦА). Для этой рукописи он взял 11 двойных листов большого почтового формата лучшей бумаги фабрики Гончаровых[1] и тщательно переписал с Болдинского белового автографа (БА) свою поэму, внося в ее текст попутно некоторые — впрочем, незначительные — изменения. Переписав, он 6 декабря обратился к А. Х. Бенкендорфу с письмом следующего содержания: «Осмеливаюсь препроводить Вашему сиятельству стихотворение, которое желал бы я напечатать, и при сем случае просить Вас о разрешении для меня важном. Книгопродавец Смирдин издает журнал («Библиотеку для чтения», — *Н. И.*), в коем просил меня участвовать. Я могу согласиться только в том случае, когда он возьмется мои сочинения представлять в ценсуру и хлопотать об них наравне с другими писателями, участвующими в его предприятии; но без Вашего сведения я ничего не хотел сказать ему решительного» (*Акад.,* XV, 97—98).

Просьба Пушкина была вызвана тем, что «милость», «дарованная» ему Николаем I при их свидании 8 сентября 1826 г. — быть его единственным цензором, на практике стала для Пушкина крайне стеснительной: с одной стороны, цензорами являлись не столько Николай, сколько шеф жандармов Бенкендорф и его агенты — фон Фок и А. Н. Мордвинов (сменивший фон Фока после его смерти в 1831 г.), Булгарин, возможно Н. И. Греч и др.: с другой же стороны, «высочайшая» цензура делала затруднительной публикацию Пушкиным мелких стихотворений и статей и почти невозможным участие его в журналах, и прежде всего в «Библиотеке для чтения», которую А. Ф. Смирдин задумал издавать по широкой программе с января 1834 г., при близком участии Пушкина. В частности, «Медный Всадник» был уже обещан в этот журнал и, повидимому, должен был публиковаться в 1-м номере, а возможно, и открывать его. Но поэма представляла собой такое значительное произведение, что Пушкин не мог дать его в новый журнал без санкции царской цензуры, а обращаться к царю он мог только через шефа жандармов.

[1] По «Описанию бумаги», составленному Б. В. Томашевским, — бумага № 130. Этой бумагой Пушкин пользовался в 1833—1835 гг., см.: *Рукописи Пушкина, 1937*, с. 322.

Через несколько дней в канцелярии III отделения был заготовлен ответ, в котором Бенкендорф сообщал Пушкину об удовлетворении его просьбы: «Сочинения Ваши, которые Вы назначите для издаваемого книгопродавцем Смирдиным журнала, могут быть в оном помещаемы по рассмотрении цензурою на общем основании» (*Акад.*, XV, 214).[2] Но письмо осталось неотосланным, так как, по словам пометы, сделанной на нем, по-видимому, А. Н. Мордвиновым, «граф Александр Христофорович сказал г. Пушкину ответ на его письмо на словах». Разговор между поэтом и шефом жандармов состоялся 12 декабря, а 14 декабря Пушкин сделал запись в своем дневнике о неожиданном для него и огорчительном результате «высочайшего» цензурования его поэмы: «11-го получено мною приглашение от Бенк.<ендорфа> явиться к нему на другой день утром. Я приехал. Мне возвращен Медный всадник с замечаниями государя. Слово *кумир* не пропущено высочайшею ценсурою; стихи

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова —

вымараны. На многих местах поставлен (?), — всё это делает мне большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смирдиным» (*Акад.*, XII, 317).

Через несколько дней Пушкин писал о том же П. В. Нащокину: «Здесь я имел неприятности денежные; я сговорился было со Смирдиным, и принужден был уничтожить договор, потому что Медного Всадника ценсура не пропустила. Это мне убыток» (*Акад.*, XV, 99).

В другом письме к тому же Нащокину, от конца марта 1834 г., поэт, сообщив своему другу о семейных, материальных и иных делах, продолжает: «Вот тебе другие новости: я камер-юнкер с января месяца; Медный Всадник не пропущен — убытки и неприятности...» (*Акад.*, XV, 118). Вскоре, около 7 апреля, отвечая на вопросы М. П. Погодина, он коротко и сухо констатирует: «Вы спрашиваете меня о Медном Всаднике, о Пугачеве и о Петре. Первый не будет напечатан. Пугачев выйдет к осени...» (*Акад.*, XV, 124).

Запрещение «Медного Всадника», о котором не раз пишет Пушкин, было воспринято им очень тяжело, тем более что он никак не ожидал его. Но в дневнике и в письмах он подчеркивает лишь одну материальную сторону этого происшествия, принесшего ему, по его словам, «убытки и неприятности». На самом же деле «неприятности», причиненные ему царской цензурой, были гораздо глубже и тяжелее, нежели «убытки». Конечно, имела значение и материальная сторона: договор его со Смирдиным об участии в новом журнале — «Библиотеке для чтения» —

---

[2] Дела III отделения е. и. в. Канцелярии об А. С. Пушкине. Под ред. С. С. Сухонина. СПб., 1906, с. 137.

почти терял смысл; во всяком случае очень уменьшалась сумма его гонорара.[3]

Но несравненно значительнее и глубже был моральный удар, нанесенный Пушкину запрещением его поэмы. Дело в том, что за два последних года (1832 и 1833) он почти не печатал новых произведений — лирических стихотворений или поэм значительного содержания. Третья часть его «Стихотворений», вышедшая в феврале 1832 г., заканчивая хронологический ряд, начатый первыми двумя частями, подвела итог лирическому творчеству поэта за 1829—1831 гг., но не содержала почти ничего нового. Впервые были опубликованы здесь лишь стихотворение «Узник» (1822, среди стихотворений «разных годов») и «Сказка о царе Салтане». В том же 1832 г. была напечатана «Осьмая и последняя глава» «Евгения Онегина», в 1833 г. — «Домик в Коломне» (в сборнике Смирдина «Новоселье»). Этих немногих вещей (и даже первого полного издания «Евгения Онегина» в 1833 г.) [4] было явно недостаточно для того, чтобы разрушить существовавшее в публике и раздувавшееся в журналах представление о «падении» таланта Пушкина, о том, что время его славы прошло, что он утратил свое былое значение и место главы романтической поэзии в русской литературе. Несколько позднее, уже тогда, когда Пушкин поместил в журнале Смирдина ряд поэтических произведений («Гусар», «Сказку о мертвой царевне», «Будрыс и его сыновья», «Воеводу», «Красавицу», «Подражания древним», «Элегию»), подобное мнение выразил с особой силой и резкостью (хотя и с оговорками) молодой, начинающий тогда критик — Белинский.[5]

---

[3] См. письмо В. Д. Комовского к А. М. Языкову от 10 декабря 1833 г. (т. е. написанное за два дня до объявления Пушкину судьбы его поэмы), где читаем «Смирдин, возвратившись при мне от <Пушкина> в свою лавку, с прискорбием жаловался на него: за эти три „пьески" (очевидно, «Медный Всадник», «Пиковая дама» и «Анджело», — *Н. И.*), в которых-де не более трех печатных листов будет, требует А. С. — 15 000 руб.» (Исторический вестник, 1883, № 12, декабрь, с. 538).

[4] См.: Пушкин в печати, 1814—1837. Сост. Н. Синявский и М. Цявловский. Изд. 2-е, исправл. М., 1938, с. 97—107.

[5] Программная статья Белинского «Литературные мечтания» печаталась в «Молве» (приложении к журналу «Телескоп») за сентябрь—декабрь 1834 г. Сопоставляя расцвет литературной жизни 20-х годов с ее нынешним, как ему казалось, упадком, критик горестно восклицал: «Да — *прежде* и *ныне* — *тогда* — и *теперь*! Великий боже!.. Пушкин, поэт русский по преимуществу, Пушкин, в сильных и мощных песнях которого впервые пахнуло веяние жизни русской <...> Пушкин — автор „Полтавы" и „Годунова" и Пушкин — автор „Анджело" и других мертвых, безжизненных сказок!». И далее: «Пушкин царствовал десять лет <...> Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет <...> Судя по его сказкам, по его поэме „Анджело" и по другим произведениям, обретающимся в „Новоселье" и „Библиотеке для чтения", мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю...». Однако в заключение критик писал: «Я верю, думаю, и мне отрадно верить и думать, что Пушкин подарит нас новыми созданиями, которые будут выше прежних...» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I. М., 1953, с. 21 и 73—74). Нужно сказать, что позднее, в 1838 г., в рецензии на «посмертные» тома «Современника» критик решительно осудил свое «жалкое воззрение» (там же, т. II, с. 347).

Тяжесть удара, нанесенного Пушкину запрещением его самого значительного произведения 30-х годов, каким был «Медный Всадник», еще усугублялась тем, что оно почти совпало во времени с «пожалованием» поэта в камер-юнкеры двора, что глубоко его оскорбило. Недаром в цитированном выше письме к Нащокину Пушкин упоминает рядом эти две «новости», прибавляя к ним, правда, для самоутешения и третью: «зато Пугачев (т. е. «История Пугачева», — *Н. И.*) пропущен, и я печатаю его на счет государя. Это совершенно меня утешило; тем более, что, конечно, сделав меня камер-юнкером, государь думал о моем чине, а не о моих летах — и верно не думал уже меня кольнуть» (*Акад.*, XV, 118). Но, несмотря на эти самоутешения, невозможность опубликовать произведение, в которое он вложил, как поэт и мыслитель, так много творческих сил, глубоких размышлений и чувств, должна была угнетать его несравненно более, чем «утешала» возможность печатать исторический труд на казенный счет.

В чем же заключались замечания Николая I, повлекшие за собою если и не формальное, то фактическое запрещение «Медного Всадника»? Прежде всего нужно сказать, что пометы на рукописи (ЦА) сделаны несомненно самим Николаем I, а не кем-то другим по его поручению — Булгариным или, как предполагал возможным П. Е. Щеголев, «каким-либо специалистом по литературе при III отделении».[6] Что пометы делал сам Николай, доказывается их тождественностью с пометами, сделанными тою же (царской!) рукой на представленной Пушкиным записке «О народном воспитании» (1826; ПД 718), и, главное, их смыслом — тем, на что именно обращал внимание их автор.

Уже в самом начале чтения, во Вступлении к поэме, царь-цензор обратил внимание на четыре стиха, заключающие описание «юного града», вознесшегося «из тьмы лесов, из топи блат». Сравнение старой и новой столиц с двумя царицами — казалось бы, вполне безобидное — было, очевидно, в глазах Николая неуместным, даже неприличным вторжением поэта в семейные отношения царского дома. Со стороны ревнивого к «семейным устоям» Николая вычерк этих стихов вполне объясним; со стороны общей цензуры и даже цензуры III отделения он был непонятен, и недаром после смерти Пушкина, при публикации поэмы Жуковским в «Современнике» 1837 г., эти стихи прошли без внимания через цензуру, лишь с небольшим стилистическим изменением, внесенным самим Пушкиным («Главой склонилася Москва»).

Первая часть поэмы почти вся оставлена без замечаний. Но в самом конце ее два стиха:

Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне —

---

[6] Щеголев П. Е. Текст «Медного Всадника». — В кн.: Медный Всадник. Петербургская повесть А. С. Пушкина. Илл. А. Бенуа. Ред. текста и статья П. Е. Щеголева. СПб., 1923, с. 65.

были отчеркнуты сбоку, поставлен вопросительный знак и слово «Кумир» подчеркнуто. То же было сделано и при повторении (почти буквальном) этих двух стихов в момент, когда Евгений вновь видит перед собою памятник:

Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.

В третий раз слово «Кумир» было подчеркнуто в начале сцены встречи с ним Евгения:

Кругом подножия Кумира
Безумец бедный обошел,

и около этих стихов поставлен знак NB (nota bene).

Очевидно, слово «кумир», т. е. языческий идол, в приложении к Петру Великому, русскому православному императору, было в глазах Николая неприлично и требовало замены, так же как дальше слово «истукан», одного с ним смысла, в стихе «Пред горделивым истуканом», где и оно, и эпитет «горделивый» подчеркнуты и на поле снова поставлено NB. Подчеркнуты и слова «строитель чудотворный!» в обращении Евгения к памятнику — словом, все, что могло быть сочтено обожествлением, притом в языческом смысле, памятника Петру.

Все эти замечания касались, однако, отдельных слов, и, если бы дело шло лишь об их устранении или замене, Пушкин, вероятно, согласился бы это сделать. Но главное было не в этом. С самого начала важнейшей, кульминационной сцены «Петербургской повести» — сцены встречи безумного Евгения с «Кумиром на бронзовом коне» — внимание царя-цензора было явно встревожено тоном, в каком поэт описывает того,

Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Под морем город основался...

Последние три стиха были отчеркнуты сбоку, а второй и третий, кроме того, и подчеркнуты. Так же отчеркнуты сбоку четыре стиха, обращенные поэтом прямо к тому, чья «роковая воля», «дума» и «сила» воплощены в бронзовом монументе, и около них поставлен знак NB:

О мощный властелин Судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы?

И наконец на следующей странице, подчеркнув, как уже было сказано, слова «Горделивым истуканом» и «строитель чудотворный», поставив к ним два знака NB, «августейший» цензор отчеркивает по полю 15 стихов — весь текст до конца страницы, от слов

Добро, строитель чудотворный!

до

За ним несется Всадник Медный.

Далее отчеркиваний и других отметок больше нет — Николай, возможно, не стал смотреть последних страниц, не обратил внимания и на имя Мицкевича в 3-м и 5-м примечаниях, почему оно позднее осталось и в печати, хотя вообще было запретным.

Все указанные пометы, сделанные Николаем I на рукописи «Медного Всадника» — отчеркивания и подчеркивания, знаки нота-бене — преследовали одну цель, имели одну общую направленность. Царь-цензор, опытный в политическом сыске, правильно почувствовал в поэме не только описание ужасного происшествия — петербургского наводнения и вызванной им трагической гибели маленького человека, Евгения, но и восстание этого «ничтожного героя» против виновника, как он думал, его несчастий, что представляло собой акт политического значения. Самое описание облеченного в бронзу героя — «строителя чудотворного» — имело в восприятии Николая нечто предосудительное и выходящее за пределы отношений верноподданного к государю. Возможно, что Бенкендорф в беседе с Пушкиным при возвращении рукописи еще дополнил и уточнил письменные указания Николая; во всяком случае, поэт мгновенно понял, что от него требуют не только исправленного и очищенного текста, но изъятия из поэмы ее идейно-художественной, историко-философской сути, т. е. написания какого-то иного, нового произведения, по своему смыслу и направлению совершенно отличного от написанного, — быть может, только описательного и бытового содержания.

Формального запрета на поэму наложено не было, но Пушкин справедливо считал мнение царя равносильным запрету. Он решил не прикасаться к рукописи, и лишь в конце 1834 г. дал для публикации в «Библиотеку для чтения» Вступление к поэме, которое и было напечатано в двенадцатой книжке журнала, вышедшей 1 декабря, под заглавием «Петербург. Отрывок из поэмы».[7] Публикация кончалась стихом «Тревожить вечный сон Петра», без заключительного «Была ужасная пора...». Четыре стиха, перечеркнутые царской цензурой (39—42), где померкшая «перед младшею столицей» «старая Москва» сравнивалась с «порфироносной вдовой», меркнущей перед «новою царицей», не были переработаны Пушкиным, но просто заменены четырьмя рядами точек, что, конечно, указывало читателям на пропуск.

Около того же времени, 19 октября 1834 г., А. И. Тургенев записал в своем дневнике: «Пушкин читал мне новую поэмку на наводнение 824 г. Прелестно; но цензор его, государь, много стихов зачернил, и он печатать ее не хочет».[8] О том же он писал П. А. Вяземскому в письме

---

[7] Пушкин в печати, 1814—1837, с. 115, № 1018 (396).

[8] Дневник Пушкина. Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Пг., 1923, с. 73. В публикации М. И. Гиллельсона «Пушкин в дневниках А. И. Тургенева 1831—1834 годов» эта запись отсутствует, но приведена другая, от 15 октября: «Вечер у Пушкина: читал мне свою поэму о П‹етер›бургском потопе. Превосходно» (Русская литература, 1964, № 1, с. 130). Возможно, что Тургенев дважды записал об одном и том же чтении «Медного Всадника».

от 24 октября 1834 г.: «Пушкин вчера навестил меня. Поэма его о наводнении превосходна, но исчерчена, и потому не печатается».[9]

После публикации Вступления «Медного Всадника» в «Библиотеке для чтения» (с автоцензурным изъятием) Пушкин, понимая невозможность полного ее опубликования, надолго отложил свою поэму.

Летом 1836 г., в период издания Пушкиным трехмесячного журнала-обозрения «Современник», он решил вновь попытаться издать «Медного Всадника», пользуясь тем, что материалы, помещаемые им в «Современнике», проходили не царскую, а общую цензуру. И как бы стеснительна ни была эта цензура, руководимая личным врагом поэта, министром народного просвещения С. С. Уваровым, он надеялся, что при условии некоторой переработки наиболее «опасных» мест, отмеченных в 1833 г. Николаем I, поэма будет разрешена.

С этой целью он отдал переписать поэму «Медный Всадник» с Цензурного автографа 1833 г. (ЦА), и к середине августа 1836 г. была готова аккуратно переписанная писарская копия (ПК),[10] для которой Пушкин, еще отдавая в переписку Цензурный автограф, переделал заключительные стихи Вступления — «Была ужасная пора» и т. д. (стихи 92—96), как это было показано выше.

Получив готовую копию, Пушкин нанес на нее карандашом все цензорские пометы, сделанные в ЦА рукою Николая I, чтобы по ним «выправить» в цензурном смысле свою поэму. Но, перечитывая ее почти через три года после создания, он уже с начала стал вносить, помимо цензурных, смысловые и стилистические исправления, местами очень существенные, хотя они и не затрагивали идейного содержания, концепции «Медного Всадника». Так, он внес в «Предисловие» поправку, уточняющую смысл слова «подробности», — «подробности *наводнения*», чтобы не давать повода читателю думать, что поэт заимствовал из журналов сюжет своего произведения — о личности и судьбе его героя, Евгения.[11]

Дойдя до стихов 39—42 («И перед младшею столицей Померкла старая Москва» и т. д.), Пушкин зачеркнул второй из стихов, заменив его другим — «Главой склонилася Москва». Такая замена едва ли достигала цели: внимание Николая привлекла, конечно, не «старая Москва», а сравнение двух столиц с двумя царицами — новой и прежней, «порфироносной вдовою». Однако при издании поэмы после смерти Пуш-

---

[9] Остафьевский архив, т. III. М., 1899, с. 262.

[10] Время изготовления ПК определяется тем, что в бумагах Пушкина сохранился счет переписчика, датированный 14 августа 1836 г., где в числе других переписанных рукописей упомянут и «Медный Всадник» (см.: Литературный архив, т. I. Л., 1938, с. 34—35).

[11] Некоторые комментаторы «Медного Всадника» ошибочно видели в этой поправке цензурный смысл, так как, по их мнению, слово «происшествие» не применялось к наводнению, называвшемуся «бедствием» или «несчастьем», тогда как «происшествие» напоминало читателям события 14 декабря 1825 г. к которым этот термин применялся в официальных сообщениях. Но такое представление не имеет оснований.

кина эти стихи, не переделанные и Жуковским, беспрепятственно прошли, как уже говорилось выше, цензуру «Современника».

В начале Первой части поэмы Пушкин внес исправление в стих 119: слова о Евгении «Живет в чулане» он заменил более точными и выразительными — «Живет в Коломне».

Все это поправки в отдельных словах. Но далее, начиная со стиха 136 и до стиха 144 включительно окончательного текста, Пушкин перерабатывает весь текст, а дальнейшие стихи, от «Жениться? что ж? зачем же нет?» до «И внуки нас похоронят...» (стихи 145—158), зачеркивает тремя жирными вертикальными чертами, ничем их не заменяя. Последнее обстоятельство очень важно: оно оказало влияние на все посмертные издания поэмы, начиная с публикации в «Современнике» 1837 г.; все издатели Пушкина — Жуковский, Анненков и прочие, кроме одного П. Е. Щеголева, следовали пушкинскому вычерку и иначе не могли поступить. Никто из них не знал, что Пушкин, зачеркнув эти 15 стихов, тут же написал им в замену на отдельном листке новый текст. Листок затерялся, и в течение 110 лет, с 1836 по 1947 г., никто его не видел и о нем не догадывался. Эти стихи были введены в основной текст только в V томе академического издания, в 1948 г. Об этом мы будем подробнее говорить дальше, перейдя к посмертной истории «Медного Всадника».

Большую переработку, не меняющую смысла, но уточняющую текст и делающую его более выразительным, произвел Пушкин в описании наводнения в стихах 179 («Погода пуще свирепела») — 199 («Плывут по улицам! Народ...»). О размерах и содержании этой переработки дает представление таблица разночтений двух текстов поэмы — 1833 и 1836 гг. (см. настоящее издание, с. 83—85).

Дойдя далее до конца Первой части и встретясь с цензорской отметкой у слова «Кумир» (стих 259), Пушкин заменил его словом «Седок»:

Стоит с простертою рукою
Седок на бронзовом коне.

Эта замена (не очень удачная!) была им придумана еще раньше и внесена в БА тем же пером и тем же почерком — очевидно, тогда, когда ПК не была еще готова. Это была вторая (после «Главой склонилася Москва») автоцензурная поправка, и в ней, как и в первой, чувствуется насильственность той операции, которой пришлось поэту подвергнуть свои стихи.

В начале Второй части внесены незначительные стилистические изменения, показывающие, как внимательно и вдумчиво перечитывал Пушкин предназначенное к печати произведение. Нужно отметить одну из поправок: второе полустишие стиха 344 — «И Хвостов» изменено на «Граф Хвостов», что придавало еще бо́льшую иронию упоминанию о «бессмертных стихах» «поэта, любимого небесами», а этим — неожиданным на первый взгляд — упоминанием Пушкин несомненно дорожил, как прекрасной концовкой описания той «багряницы», которой «прикрыто было

зло», того «порядка», в какой вошла жизнь потрясенной наводнением столицы, — описания, в котором каждая строка и каждый образ звучат негодующим, почти сатирическим опровержением официальной лжи, вычитанной поэтом из журнальных статей и из книг Берха и Аллера.

Тем большим контрастом этому показному благополучию звучит переход к истинному, глубокому народному бедствию, олицетворенному в судьбе героя поэмы:

Но бедный, бедный мой Евгений...

Несколько дальнейших стихов, говорящих о состоянии безумного Евгения, подверглись Пушкиным довольно сложной правке. Первоначально (в ЦА и ПК) эти стихи читались так:

Нередко кучерские плети
Его стегали, потому
Что было все ему дорогой
И двор и улица, но он
Не примечал. Он оглушен
Был чудной, внутренней тревогой.

Оставив без изменений первые два стиха, поэт стал править следующие:

Что никогда уж он дороги
Не разбирал. Он оглушен

*

Что он не разбирал дороги
Уж никогда; казалось — он
Не примечал. Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.

Это последнее чтение вошло во все издания поэмы, хотя такая правка и не представляется необходимой, и, возможно, еще не была окончена.

Дойдя до стихов 402—403, Пушкин снова встретил подчеркнутое слово, неприемлемое для царской цензуры:

Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне, —

и снова, как и в стихе 259, заменил его незначащим, нейтральным — «Седок».

Дальнейший текст — сцена Евгения у памятника, с обращением поэта к Петру, «властелину судьбы», был в ЦА, как уже говорилось, отчеркнут местами и отмечен знаками NB рукою цензора-царя. Пушкин в ПК перечеркнул карандашом почти весь этот текст (от стиха 413 — «Под морем город основался» до стиха 423 — «Россию поднял на дыбы?»), но не стал его целиком заменять, а лишь местами ослабил. Вместо

О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

получилось такое, по существу искаженное и не очень понятное, чтение:

О, мощный баловень судьбы!
Не так ли ты скакал над бездной
И, осадив уздой железной,
Россию поднял на дыбы?

Самой, однако, «опасной» и неприемлемой для августейшей цензуры сценой была следующая за этим отрывком (стихи 424—442), посвященная переживаниям Евгения и его угрозе, брошенной памятнику. Прежде всего, поэт исправил стих 424 с «непозволительным» словом «Кумир», в третий раз примененным к Фальконетову монументу. Так, стих

Кругом подножия кумира

был заменен другим, где, сохраняя эпитет «дикий» следующего стиха, поэт придал Евгению несколько неожиданное чувство «тоски»:

Кругом скалы, с тоскою дикой [12]
Безумец бедный обошел...

Следующие за этим стихи подверглись — за исключением двух — существенной правке. Вместо стихов:

И взоры дикие навел
На лик Державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело...

Пушкин написал новый текст, гораздо менее выразительный, а точнее сказать, даже искажающий смысл этого ответственнейшего отрывка:

И надпись яркую прочел
И сердце скорбию великой
Стеснилось в нем. Его чело...

Сохранив нетронутыми следующие два стиха:

К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,

он вычеркнул стих

По сердцу пламень пробежал

и переработал стихи, следовавшие за ним, ослабляя их и сглаживая чувства Евгения, его вскипающий гнев, а вместе с тем вычеркивая не-

---

[12] Эпитет «дикий» применен к безумному Евгению еще раньше, в стихе 395: «Тихонько стал водить очами С боязнью дикой на лице», но там он вполне уместен.

угодное цензору наименование петровского памятника «истуканом». В результате стихи 431—438 приняли после переработки такой вид:

И дрогнул он — и мрачен стал[13]
П<е>ред недвижным[14] Великаном
И перст с угрозою подняв
Шепнул, волнуем мыслью черной
«Добро, строитель чудотворный!
Уже тебе!..» Но вдруг стремглав
и т. д.

Изменение этих стихов является последней цензурной переработкой, внесенной Пушкиным в свою поэму. Остальной ее текст, до конца, в этом отношении не вызывал сомнений у цензора. Здесь нужно отметить лишь одну поправку в стихе 462, где слово «Колпак» («Колпак изношенный сымал»), неясное по своему предметному значению и напоминавшее о Юродивом в «Борисе Годунове», заменено словом «Картуз»; «изношенный картуз» мог быть получен Евгением от каких-либо «милостивцев» взамен шляпы, сорванной с его головы в день наводнения, когда он сидел «на звере мраморном верхом».

Далее зачеркнут был заголовок «Заключение», и, таким образом, заключительные стихи («Остров малый На взморье виден...») теснее примкнули к предыдущим, говорившим о Евгении после столкновения его с «Истуканом» и бегстве от него. Здесь же, в стихе 469 — «Или мечтатель посетит <...> Пустынный остров...», — «мечтатель» заменен снижающим, более конкретным и определенным «чиновник»:

Или чиновник посетит
Гуляя в лодке в воскресенье
Пустынный остров...

Чиновник этот проводит свободное время почти так же, как мечтал его проводить Евгений с Парашей:

По воскресеньям, летом, в поле
С Парашей буду я гулять...

Наконец, в «Примечаниях» к поэме Пушкин добавил сноску, называющую «одно из лучших стихотворений» Мицкевича — «Oleszkiewicz», в котором описан день, предшествовавший петербургскому наводнению.

Кроме того, в ПК остались незамеченными и не исправлены Пушкиным две явные ошибки переписчика: в стихах 123 («Итак домой пришел Евгений» — вместо «пришед») и в 267 («В село ворвавшись, ловит, режет» — вместо «ломит»).

---

[13] Вычеркнув стихи «По сердцу пламень пробежал. Вскипела кровь», поэт не только значительно ослабил ярость Евгения, но и лишил следующий стих («и мрачен стал») рифмы.

[14] При замене эпитета «горделивым» более коротким и нейтральным определением «недвижным» слово «пред» оставлено (случайно) без изменения.

Из этого краткого обзора исправлений, внесенных в писарскую копию «Медного Всадника», можно видеть, во-первых, что переделки цензурного характера, которые внес (или, вернее, пытался внести) Пушкин во исполнение указаний царя-цензора, легко отделяются от стилистических и смысловых поправок, вносившихся им по ходу работы над рукописью; во-вторых, очевидно, что цензурные переделки далеко не выполнили всех требований «высочайшей» цензуры и, по-видимому, остались незаконченными. Не были выполнены два главных требования. Прежде всего не было устранено сравнение двух столиц — Москвы и Петербурга — с двумя царицами, новой и «вдовствующей», вычеркнутое целиком Николаем: стилистическое изменение («Главой склонилася Москва» вместо «Померкла старая Москва»), пожалуй, еще более усиливало смысл сопоставления. Кроме того, было сохранено самое недопустимое в цензурном смысле место: угроза Евгения, гневно и яростно брошенная «строителю чудотворному» — «Уже (т. е. «Ужо») тебе!». Именно эти стихи и им предшествующие вызвали гнев царственного цензора, почувствовавшего в них некий дух мятежа, пусть сейчас и бессильный, но грозящий в будущем. Оставить их в тексте — значило, как сознавал Пушкин, идти на новые неприятности и на новое запрещение поэмы; изъять их — было равносильно искажению, зачеркиванию всего идейно-философского смысла «Петербургской повести», а с этим Пушкин не мог согласиться. Ему несомненно были тягостны и те сглаживающие, ослабляющие содержание кульминационной сцены переделки, которые он сумел скрепя сердце внести. Но он чувствовал их недостаточность, а развить их в направлении, угодном для царя-цензора, он также не хотел, чтобы не обессмыслить и не обесценить свое любимое творение. В таком положении ему оставалось одно: отказаться от издания «Петербургской повести» и положить ее в шкатулку, где хранились его прочие рукописи — надолго или навсегда, должно было показать время.

На этом закончилась прижизненная история «Медного Всадника».

6

Со смертью Пушкина 29 января 1837 г. начинается новый период истории «Медного Всадника» — период его посмертной публикации.

Через три четверти часа после кончины поэта, когда его тело было вынесено из кабинета в соседнюю комнату, Жуковский, следуя полученному им накануне устному распоряжению Николая I, запечатал опустевший кабинет своею личной печатью: он считал долгом сохранить и разобрать бумаги погибшего друга и обнародовать оставленное им творческое наследие, лишь в малой степени известное даже в кругу ближайших его друзей. (О том, что среди этих бумаг находится законченная, но запрещенная царской цензурой «поэма о наводнении», т. е. «Медный Всадник», Жуковский, без сомнения, знал, как знали об этом А. И. Тургенев, М. П. Погодин, Вяземский и, вероятно, некоторые другие).

Жуковский полагал, что ему единолично будет поручено рассмотрение бумаг поэта, и Николай I сначала дал на это согласие. Но, как известно, прежде чем Жуковский начал свою работу, положение круто изменилось: император, всегда подозрительный, не доверявший ни Пушкину — в прошлом другу и единомышленнику декабристов, ни даже Жуковскому, несмотря на то что тот был воспитателем наследника, будущего Александра II, назначил «помощником» к Жуковскому жандармского генерала Дубельта. Возмущенный и оскорбленный Жуковский, вполне понимая смысл этого назначения, хотел протестовать, даже демонстративно отказаться от участия в работе, но затем ради пользы дела, а главное ради памяти покойного поэта согласился, выговорив себе лишь одну уступку со стороны царя и Бенкендорфа: рассматривать бумаги не в кабинете шефа жандармов (как того хотел Бенкендорф), а на дому у него, Жуковского. 7 февраля два сундука со всеми бумагами Пушкина были переправлены из его квартиры в квартиру Жуковского.[1] Здесь с 8 по 27 февраля Жуковский и Дубельт занимались пересмотром и учетом рукописей Пушкина, его писем и других материалов. Эти занятия фиксировались в «Журнале», являющемся важным документом для определения того, что было в кабинете Пушкина в момент его смерти.[2] При этом множество отдельных листов, как например карандашные черновые наброски к «Езерскому», вырванные Пушкиным из тетради ПД 845 (бывш. ЛБ 2374), были собраны, очевидно, помощниками Дубельта из III отделения, сложены «пакетами», прошиты и припечатаны. Каждый лист рабочих тетрадей (кроме чистых) и каждый лист, вошедший в «пакеты», были пронумерованы красными чернилами, получив так называемую «жандармскую» нумерацию, являющуюся основной для академического издания.

Еще во время просмотра пушкинских рукописей, при всей его беглости, так как Дубельта интересовали не столько произведения Пушкина (в особенности стихотворные), сколько письма к нему разных лиц — друзей-декабристов, Вяземского, самого Жуковского и др., Жуковский мог видеть все богатство оставленного Пушкиным наследия, множество произведений, при жизни поэта не напечатанных. Тотчас по окончании

---

[1] В так называемом «Шепелевском доме», составлявшем восточное крыло Зимнего дворца. Теперь на этом месте здание Эрмитажа, выходящее на ул. Халтурина (бывш. Миллионную). См.: Иезуитова Р. В. Жуковский в Петербурге. Л., 1976, с. 215—221, 269—272.

[2] «Журнал» опубликован впервые в кн.: Дела III отделения собственной е. и. в. Канцелярии об А. С. Пушкине. Изд. С. Сухонина. СПб., 1906, с. 188—195. Документы, относящиеся к разбору бумаг Пушкина и другим обстоятельствам, вызванным его смертью, собраны П. Е. Щеголевым, см.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы. — В кн.: Пушкин и его современники, вып. XXV—XXVII. СПб., 1916, с. 73—102; изд. 3-е. М.—Л., 1928, с. 213—233. Обстоятельное исследование всех материалов содержится в статьях М. А. Цявловского «Судьба рукописного наследия Пушкина» и «„Посмертный обыск“ у Пушкина», напечатанных Т. Г. Цявловской, с ее дополнениями и поправками, в кн.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 260—275, 276—356.

просмотра (или «посмертного обыска», по меткому и очень справедливому определению М. А. Цявловского), когда рукописи были переданы в его распоряжение, Жуковский стал заниматься подготовкой их к изданию. 12 марта 1837 г. он писал старейшему русскому поэту — 77-летнему И. И. Дмитриеву: «Разбор бумаг Пушкина мною окончен. Найдены две полные, прекрасные пиесы в стихах: „Медный всадник“ и „Каменный гость“. Они будут напечатаны в „Современнике“ (который друзьями Пушкина будет издан на 1837 год в пользу его семейства)...». И далее: «Наши врали-журналисты, ректоры общего мнения в литературе, успели утвердить в толпе своих прихожан мысль, что Пушкин упал; а Пушкин только что созрел как художник, и все шел в гору как человек, и поэзия мужала с ним вместе...».[3] Тогда же, 13 марта, молодой поэт из дружественной к Пушкину семьи, Александр Карамзин, сообщал подобные же мысли своему брату Андрею в Париж: «После смерти Пушкина Жуковский принял, по воле государя, все его бумаги. Говорили, что Пушкин умер уже давно для поэзии. Однако же нашлись у него многие поэмы и мелкие стихотворения. Я читал некоторые, прекрасные донельзя. Вообще в его поэзии сделалась большая перемена, прежде главные достоинства его были удивительная легкость, воображение, роскошь выражений et une grâce infinie jointe à beaucoup de sentiment et de chaleur;[4] в последних же произведениях его поражает особенно могучая зрелость таланта; сила выражений и обилие великих, глубоких мыслей, высказанных с прекрасной, свойственной ему простотою; читая их, поневоле дрожь пробегает и на каждом стихе задумываешься и чуешь гения. В целой поэме не встречается ни одного лишнего, малоговорящего стиха!..».[5]

Эти два совпадающие по мысли суждения, принадлежащие одно — стареющему поэту, другу и «побежденному учителю» Пушкина, другое — молодому, но глубоко и тонко чувствующему его поэзию поклоннику, дают проникновенную оценку позднего творчества Пушкина, открывшегося после его смерти.[6]

Очень поспешно, с конца февраля до начала апреля, Жуковский подготовил для публикации в пятом томе «Современника» (№ 1 за 1837 г.) некоторые важнейшие, наиболее отделанные произведения. Пятый том журнала был, по-видимому, частично подготовлен к печати самим Пушкиным и даже проведен им через цензуру, почему ее разрешение, подпи-

---

[3] Русский архив, 1866, № 11—12, стлб. 1640—1642. См. также: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине, с. 310—311.

[4] И бесконечное изящество, соединенное с большим чувством и душевным жаром (*франц.*).

[5] Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.—Л., 1960, с. 192.

[6] Помимо «Медного Всадника», в бумагах Пушкина нашлись после его смерти такие значительные произведения, как «Каменный гость», «Русалка», «Тазит», «Дубровский», «История села Горюхина», «Египетские ночи», «Сцены из рыцарских времен», «Арап Петра Великого», множество стихотворений, включая почти все стихотворения 1830, 1833, 1836 и других годов, статьи и проч. Эти произведения печатались посмертно в разных изданиях 1837—1841 гг. См.: Богаевская К. П. Пушкин в печати за сто лет (1837—1937). М., 1938, с. 11—37.

санное «11 ноября 1836», было распространено на весь том, что значительно облегчило и ускорило издание, но создавало у читателей ложное представление о том, что «Медный Всадник» и другие произведения, помещенные в журнале в редакции Жуковского, отредактированы самим Пушкиным.

В этом томе на первом месте был напечатан «Медный Всадник» (с. 1—21), что подчеркивало его значение для опровержения слухов, распространявшихся в обществе враждебными Пушкину журналистами — Булгариным и др. — о полном падении таланта поэта. Для подготовки поэмы, в 1833 г. запрещенной «августейшей» цензурой, у редактора Жуковского было крайне ограниченное время — быть может, всего несколько дней. Эта вынужденная поспешность отрицательно сказалась на его редакторской работе, вызвав порчу текста, казалось бы, недопустимую для такого тонкого стилиста, каким был Жуковский. Необходимо рассмотреть подробнее его цензурно-редакторскую правку, так как она пагубно отразилась на первопечатном тексте «Медного Всадника» и оказала влияние на последующие издания в течение многих десятилетий.

Основой публикуемого им текста Жуковский выбрал — и совершенно правильно — писарскую копию (ПК) со вписанными в нее Пушкиным поправками смыслового и стилистического характера, а также с его автоцензурной правкой, рассмотренной нами выше. Но последняя не удовлетворила редактора — Жуковский тотчас увидел, что она скорее всего не закончена поэтом, во всяком случае не проведена в самом важном случае: угроза Евгения «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!» оставлена в неприкосновенности. Пушкин не мог отказаться от этих слов, в которых сосредоточена мысль поэмы, а Жуковский, уяснив себе направление цензорских помет Николая, считал, что сохранение их может вызвать новое запрещение всей поэмы. Вместе с тем редактор внес несколько переделок стилистического порядка, не вызванных цензурными требованиями и в которых не было нужды. В этих случаях, по справедливому замечанию П. Е. Щеголева, «даже дружеская приязнь Жуковского к Пушкину не может ни в какой мере оправдать его притязаний на исправление текста».[7]

Поправки и цензурные переделки Жуковского легко отличимы в тексте ПК, так как они внесены карандашом. Мы приводим их в порядке стихов поэмы, вслед за соответствующими текстами Пушкина (по ПК со всеми поправками самого Пушкина, стилистическими и цензурными):

Стих 111 *Пушк.* Мое перо [к тому же] дружно
Жук. Мое перо уж как-то дружно

121 *Пушк.* Ни о почиющей родне
Жук. Ни о покойнице родне

[7] **Щеголев** П. Е. Текст «Медного Всадника». — В кн.: Медный Всадник. Петербургская повесть А. С. Пушкина. Илл. Александра Бенуа. Ред. текста и статья П. Е. Щеголева. СПб., 1923, с. 69.

193 *Пушк.* Лодки[8] под мокрой пеленой
Жук. Садки под мокрой пеленой

258 *Пушк.* Стоит с простертою рукою
Жук. Сидит с простертою рукою

259 *Пушк.* Седок на бронзовом коне
Жук. Гигант на бронзовом коне

383 *Пушк.* И бьясь об гладкие ступени
Жук. И бьясь о гладкие ступени

402 *Пушк.* Седок с простертою рукою
Жук. Гигант с простертою рукою

410—413 *Пушк.* Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Под морем город основался...
Жук. Кто неподвижно возвышался
Во мраке с медной головой
И с распростертою рукой
Как будто градом любовался

Стихи 413—423 Пушкина:

Под морем город основался...
Ужасен Он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О, мощный баловень судьбы!
Не так ли ты скакал над бездной
И осадив рукой железной
Россию поднял на дыбы?

у Жуковского перечеркнуты карандашом и в «Современнике» и в посмертном издании отсутствуют.

Стихи 424—425 *Пушк.* Кругом скалы, с тоскою дикой
Безумец бедный обошел
Жук. Безумец бедный обошел
Кругом скалы с тоскою дикой

430—438 *Пушк.* Глаза подернулись туманом
[По сердцу пламень пробежал]
И дрогнул он — и мрачен стал
П<е>ред недвижным Великаном
И перст с угрозою подняв
Шепнул, волнуем мыслью черной
«Добро, строитель чудотворный!»
«Уже тебе!...» Но вдруг стремглав...

---

[8] Т. е. «Лоткú» (от «лотóк»).

Жук. Глаза подернулись туманом, ...
По членам холод пробежал
И дрогнул он — и мрачен стал
Пред дивным русским Великаном
И перст свой на него подняв
Задумался. Но вдруг стремглав

458 *Пушк.* В его лице изображалось
Жук. В лице его изображалось

Переделки цензурного характера, внесенные в ПК самим Пушкиным (в августе—сентябре 1836 г.) и потом Жуковским (в марте 1837 г.), показывают, какой тяжелой, по существу неприемлемой для Пушкина операции подверглась его последняя поэма, высшее достижение его творческого гения.

Сам Пушкин в ряде мест испортил ее и исказил. Так, замена слова «Кумир» словом «Седок» (стихи 259 и 402; в третьем случае — стих 424 — изменен был весь контекст этого слова) лишила образ памятника Петра его глубокого смысла и вместе с тем повредила ему в художественном отношении.

В оставленных Пушкиным без изменения стихах 410—411:

Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой —

Жуковский внес во второй стих поправку, совершенно несовместимую, казалось бы, с его тонким художественным вкусом, хотя она заключалась всего в одной букве:

Во мраке с медной головой.

Это придало стиху просторечно-иронический оттенок, или даже, как писал Щеголев, «неожиданно пошлый оттенок, который — легко представить — не мог бы не привести в неистовство Пушкина».[9]

Далее, в стихе 420 и следующих, Пушкин заменил «властелина судьбы» на «баловня», что, разумеется, исказило смысл этого обращения в Петру, так же как и поправка в следующем стихе, где слова «скакал над бездной» стали непонятны и бессмысленны. Но эти переделки не удовлетворили осторожного Жуковского, и он вычеркнул весь отрывок (стихи 413—423).

Коренной переделке Пушкин подверг пять стихов (424—428), предшествующих центральному моменту — угрозе Евгения, которую он во что бы то ни стало хотел сохранить. «Подножие кумира» сменилось «тоскою дикой», а дальше явились незначащий стих «И надпись яркую прочел» и «великая скорбь», которой «стеснилось» сердце Евгения, хотя, рисуя состояние своего героя один на один перед памятником, поэт вовсе не думал ни о его «тоске», ни о «скорби». Характерно, что эту редакцию Жуковский сохранил, не подвергая дальнейшей правке.

Наконец, кульминационный момент поэмы — угрозу Евгения «строи-

---

[9] Щеголев П. Е. Текст «Медного Всадника», с. 67.

телю» (стихи 430—438) — Пушкин решил сохранить в целости, несмотря на ясное указание царственного цензора на ее неприемлемость. Он попытался несколько ослабить предшествующие угрозе стихи: слова «По сердцу пламень пробежал» он вычеркнул, вероятно не найдя им сразу замены; «Вскипела кровь» заменил нейтральным «И дрогнул он»; «горделивого истукана», безусловно неприемлемого для цензуры, сменил на нейтрального «недвижного великана», а выразительное изображение напряженно-яростного состояния героя — «зубы стиснув, пальцы сжав» — переделал на менее выразительный, но зато прямо говорящий об угрозе стих — «И перст с угрозою подняв». Вычеркивать краткую, но полную внутреннего напряжения и указывающую на будущее угрозу Евгения «Добро, строитель чудотворный! Уже тебе!...» он не стал, не найдя в себе силы на такой почти самоубийственный акт.

На этом Пушкин остановился в своей, стоившей ему несомненно больших усилий, «автоцензурной» работе. Остановился и потому, что подобное искажение собственного создания, хотя бы и с сохранением слов героя, было ему тяжело и мучительно, и потому, что он понимал бесполезность своих усилий, которыми царь-цензор едва ли удовлетворится. Поэт бросил свой сизифов труд и отложил поэму, быть может до того времени, когда бы августейший цензор забыл о своих замечаниях. Во всяком случае, он не трогал больше «Медного Всадника», а наступившие осенью события — и общественные, вызванные опубликованием в октябре «Философического письма» Чаадаева, и личные, связанные с полученным им самим 4 ноября 1836 г. анонимным пасквилем, — отвлекли его мысли от поэмы.

Но Жуковский, желавший во что бы то ни стало издать самое значительное произведение из оставленных погибшим поэтом, решил довести дело до конца, хотя бы ценою затемнения смысла поэмы. Сохранив некоторые из пушкинских стихов, изображающих встречу Евгения с «горделивым истуканом», он сократил и ослабил весь отрывок (вместо «По сердцу пламень пробежал» внес «По членам холод...»; вместо «Перед недвижным Великаном» — «Пред дивным русским Великаном»; вместо «И перст с угрозою подняв Шепнул...» — «И перст свой на него подняв Задумался...»). Угрожающие слова, которые лучше назвать проклятием, исчезли, и стало совершенно непонятно, отчего «мгновенно гневом» возгорелось лицо «грозного царя» и отчего «стремглав бежать пустился» безумный Евгений. Но здесь и Жуковский не смог ничего сделать, и потрясающее описание бегства «ничтожного героя» от преследующего его Медного Всадника было оставлено им без всяких изменений.

Со всеми цензурными переделками, «наложенными» Жуковским на явно недостаточную пушкинскую правку, «Медный Всадник» был опубликован в пятом (посмертном) томе «Современника», вышедшем в апреле или в начале мая 1837 г.[10] Тот же текст был повторен и в IX (пер-

---

[10] Современник. Литературный журнал А. С. Пушкина, изданный по смерти его кн. П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, А. А. Краевским, кн. В. Ф. Одоевским и

вом дополнительном) томе «посмертного» издания сочинений Пушкина, вышедшем в 1841 г.,[11] а также в III томе издания П. В. Анненкова (1855).[12] Таким искаженным и, можно сказать, обескровленным великое творение Пушкина стало известно на многие годы читателям.

Однако же искаженный Жуковским из цензурных соображений текст поэмы, лишенный смысла в самом важном, кульминационном ее эпизоде, вызывал недоумение у многих, наиболее тонких и проницательных читателей. Впоследствии же, когда стали известны подлинные слова Евгения, обращенные к памятнику, возникла легенда о его большом монологе, якобы читавшемся Пушкиным у Вяземских и отсутствующем в печати. Об этом рассказал, как о воспоминании, сохранившемся с юношеских лет, сын П. А. Вяземского Павел Петрович (1820—1888) в статье «Пушкин по документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям» (1880), неоднократно перепечатывавшейся. П. П. Вяземский утверждал, что монолог Евгения перед памятником заключал около тридцати стихов и «произвел при чтении потрясающее впечатление», в особенности тем, что в нем «слишком энергически звучала ненависть к европейской цивилизации».[13] Между тем ни в одной рукописи поэмы, кроме известных в печати слов: «Добро, строитель чудотворный! Уже (Ужо) тебе», нет следов какого бы то ни было продолжения и развития этой сжатой угрозы, какого-либо намека на иной замысел. Однако воспоминание П. П. Вяземского — едва ли только вымысел. Можно предположить, что ошибкой его памяти является отнесение «монолога» к «Медному Всаднику», тогда как в творчестве Пушкина есть другой отрывок, не введенный им в печатный текст и оставшийся в нескольких черновых и перебеленных, не доведенных до завершения редакциях: это речь Алеко в поэме «Цыганы», обращенная к его ребенку, рожденному Земфирой (см.: *Акад.*, IV, 444—451 — «Бледна, слаба Земфира дремлет...» и т. д.). Этот текст представляет собою монолог объемом около 40 стихов, в котором действительно можно увидеть «ненависть к европейской цивилизации». Но подобное толкование слов П. П. Вяземского, конечно, остается гипотезой, не поддающейся пока документальной проверке. Одно ясно: к «Медному Всаднику» отрывок, упоминавшийся Вяземским, отношения не имеет.

Освобождение текста «Медного Всадника» от цензурных искажений и пропусков началось с дополнительного, VII тома сочинений поэта в издании П. В. Анненкова, вышедшего в 1857 г., — тогда, когда после

П. А. Плетневым. Т. V, 1837, № 1, с. 1—21. В первопечатное издание «Медного Всадника» вошло также несколько опечаток, не замеченных Жуковским: в стихах 175 («Но силой ветра от залива» вместо «Но силой ветров...»), 249 («И жизнь не что, как сон пустой» вместо «И жизнь ничто...») и в примечаниях к поэме — 2-м («Стихи К. Вяземского» вместо «Стихи Кн. Вяземского») и 5-м («Оно заимствовано из Рыбака» вместо «из Рубана» — ошибка под влиянием ошибки переписчика в ПК, написавшего «Рубака»).

[11] Соч. Александра Пушкина, т. IX. СПб., 1841, с. 3—23.

[12] Соч. Пушкина, т. III. Изд. П. В. Анненкова. СПб., 1855, с. 365—381 и примеч., с. 549—552 (сопоставление отдельных отрывков текста в ЦА и ПК).

[13] Вяземский П. П. Собр. соч. СПб., 1893, с. 548.

смерти Николая I и окончания Крымской войны значительно смягчились цензурные условия русской печати. За два года до того, в 1855 г., в примечаниях к «Медному Всаднику» в III томе своего издания (с. 552) Анненков мог только в нескольких словах осторожно указать на то, что якобы «для связи некоторых мест, недописанных или пропущенных Пушкиным, в поэму включены были стихи, ему не принадлежащие», и привести эти стихи:

a. И с распростертою рукой
Как будто градом любовался

b. Пред дивным Русским Великаном
И перст свой на него подняв,
Задумался.

Через два года, в VII, дополнительном томе своего издания Анненков смог уже привести почти полностью большой отрывок поэмы, от стиха 409 («И львов, и площадь и Того...») до стиха 440 включительно («Бежать пустился. Показалось Ему...»), — почти полностью потому, что стих 423 («Россию поднял на дыбы») ему пришлось заменить строкою точек, а в стихе 438 заменить также точками возглас Евгения «Ужо тебе!».[14] При этом было названо имя В. А. Жуковского как составителя четырех с половиною стихов, не принадлежащих Пушкину.

Дальнейшая история очищения текста «Медного Всадника» от цензурных переделок Жуковского и самого Пушкина, а также от стилистического вмешательства Жуковского представляет собою ряд случайных и бессистемных поправок, свидетельствующих лишь о невыработанности текстологических методов в XIX—начале XX в. Не приводя всех этих исправлений в их исторической последовательности (что не имеет для нас значения), можно лишь назвать имена основных участников этой длительной работы, растянувшейся почти на 70 лет (1855—1924), после Анненкова: это — Г. Н. Геннади, Н. В. Гербель, П. И. Бартенев, П. А. Ефремов, П. О. Морозов, А. Л. Слонимский, Б. В. Томашевский. Последним словом в эдиционной практике научно-критических изданий «Медного Всадника» является текст академического издания (т. V, 1948), подготовленный С. М. Бонди и Н. В. Измайловым. Обратимся к рассмотрению принципов этого издания и некоторых спорных вопросов,

Текст «Медного Всадника» во всех изданиях, начиная с «Современника» 1837 г. и до настоящего времени (кроме четырех изданий, редактированных П. Е. Щеголевым, о которых будет сказано дальше), печатается на основании писарской копии (ПК) со всеми поправками стилистического и смыслового порядка, внесенными в нее Пушкиным. К этому, помимо инерции, порожденной первопечатным текстом, побуждают веские текстологические соображения: художественные поправки, внесенные Пушкиным в ПК летом 1836 г., несомненно являются последним (по

---

[14] Соч. Пушкина, т. VII, дополнительный. Изд. П. В. Анненкова. СПб., 1857, с. 72—73.

хронологии) выражением авторской воли и отменяют предшествующий текст Цензурного автографа. Дополнительным основанием служит то, что одна, и притом серьезная, переработка была сделана поэтом еще до отдачи Цензурного автографа в переписку и внесена переписчиком в процессе составления ПК — очевидно, с особого, теперь неизвестного автографа. Мы имеем в виду новую редакцию четырех стихов, заключающих Вступление в поэму, после слов: «Была ужасная пора» (присутствующих в Болдинском и Цензурном автографах):

Была ужасная пора...
Об ней свежо воспоминанье...
Об ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.

Это обстоятельство — едва ли не самый веский аргумент для признания писарской копии, а не Цензурного автографа источником дефинитивного текста поэмы.

Было, однако, еще одно обстоятельство, осложнявшее этот, казалось бы, ясный вопрос. Внося стилистические и смысловые поправки в писарскую копию — независимые от цензорских указаний Николая I и потому входящие теперь в текст «Медного Всадника», — Пушкин стал перерабатывать размышления своего героя (стихи 40—62 Первой части по нумерации академического издания, стихи 136—158 по общей нумерации поэмы).[15] Он тщательно переправил первые восемь стихов этого текста, сделав из них семь (от «Что служит он всего два года» до «Дни на два, на три разлучен»), и зачеркнул (очевидно, по ошибке) последние два («Тут он разнежился сердечно И размечтался как поэт»). Вместе с тем он вычеркнул тремя вертикальными линиями весь остальной текст мечтаний Евгения — всего 15 стихов, от «Жениться? что ж? зачем же нет?» до «И внуки нас похоронят...». Так как эти стихи не были ничем заменены, то их опустил в посмертных изданиях Жуковский, опускали и все последующие редакторы «Медного Всадника» (кроме П. Е. Щеголева, о чем будет сказано ниже) до публикации его в академическом издании в 1948 г. Изъятие этих стихов образовало в тексте поэмы пробел: исчезли мечтания Евгения о будущем семейном счастье и был явно обеднен его образ. Это положение смущало многих текстологов — редакторов Пушкина. Иные пытались мотивировать исключение этих 15 стихов тем, что, как писала Т. Г. Зенгер (Цявловская), Пушкин, пересматривая текст ПК, «выбрасывал длинноты, ослаблявшие цельность драматического нарастания».[16] Другие (большинство), печатая текст ПК без зачеркнутых в нем 15 стихов, восполняли этот ущерб тем, что давали за-

---

[15] См. разночтения двух текстов поэмы в настоящем издании, с. 83—85. См. также: Измайлов Н. В. Текстологическое изучение поэмы Пушкина «Медный Всадник». — В кн.: Текстология славянских литератур. Л., 1973, с. 119—130.

[16] Зенгер (Цявловская) Т. Г. Николай I — редактор Пушкина. — В кн.: Литературное наследство, т. 16/18. М., 1934, с. 524.

черкнутый Пушкиным отрывок либо в сноске к тексту,[17] либо в приложении после текста.[18] То и другое решения были, конечно, компромиссными, но введение в текст вычеркнутых Пушкиным стихов было противно элементарным правилам текстологии — даже примитивной текстологии XIX в.

С этим явным, но неисправимым, как казалось, дефектом «Медный Всадник» издавался более ста лет, т. е. уже после того, как все автоцензурные переработки Пушкина (не говоря уже о цензурных переделках Жуковского) были устранены из его текста.

Нарушением этого принципа явилось вышедшее в 1923 г. отдельное издание поэмы, отредактированное П. Е. Щеголевым. На этом издании следует остановиться подробнее. В нем редактор, ломая 80-летнюю традицию и отвергая писарскую копию (ПК) как источник печатного текста, в особой статье дал подробную мотивировку своего решения. Вместо ПК он предложил Цензурный автограф как законченное выражение «последней авторской воли» Пушкина. «Текст „Медного Всадника“, — писал П. Е. Щеголев, — в этом автографе представляет ту дефинитивную, *окончательную* редакцию, в которой Пушкин хотел видеть свою повесть в печати». «Эта именно редакция — плод свободного творчества поэта ‹...› Нет двух ответов на вопрос: ежели бы в момент прекращения работы по оцензурению „Медного Всадника“ (т. е. по внесению Пушкиным поправок всякого рода в ПК, — *Н. И.*) Пушкина спросили, какой текст „Медного Всадника“ он хочет видеть в печати — тот, который находится в автографе ‹ЦА›, или тот, который дает исправленная писарская копия, то ответ мог быть только один, голос его был бы подан за текст автографа ‹ЦА›. Текст же посмертной редакции ‹ПК› является как раз таким, какого Пушкин не хотел видеть опубликованным, какого Пушкин не пустил в печать».[19]

Заключение Щеголева было бы неоспоримо, если бы ПК содержала только «автоцензурные» поправки Пушкина и позднейшие переделки Жуковского. Их было бы легко снять и вернуться таким образом к тексту ЦА. Но дело обстоит не так, и здесь перед нами встает во всей своей

---

[17] Например, в издании: Пушкин А. С. Т. II. Поэмы, сказки. Л., 1939 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 266 (ред. Н. В. Измайлов).

[18] См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 6-ти т., т. IV. Изд. 3-е. М.—Л., изд. «Художеств. литература», 1935 (ред. С. М. Бонди). Это повторено и в следующих изданиях ГИХЛ, «Academia» и других, вышедших до 1948 г.

[19] Щеголев П. Е. Текст «Медного Всадника». — В кн.: Медный Всадник. Петербургская повесть А. С. Пушкина. Илл. Александра Бенуа. Ред. текста и статья П. Е. Щеголева. СПб., 1923, с. 64, 72. Предложенный Щеголевым текст «Медного Всадника», воспроизводящий Цензурный автограф 1833 г., был включен в три первых издания «Полного собрания сочинений Пушкина в шести томах», выпущенных в советское время: 1930—1931 (приложение к журналу «Красная нива» на 1930 г.), 1931—1933 и 1934 (Гос. изд. художеств. литературы). Во всех этих изданиях том III, содержащий поэмы, редактировался С. М. Бонди, Б. В. Томашевским и П. Е. Щеголевым; последний был редактором «Медного Всадника» (в издании 1934 г. — посмертно). Позднейшие издания, начиная с 1935 г. (Гос. изд. художеств. литературы), вернулись к традиционному тексту поэмы на основе ПК.

сложности вопрос о «последней авторской воле» и о выборе дефинитивного текста — основного текста для издания.

В 1836 г., замыслив публикацию своей поэмы — очевидно, в «Современнике», — Пушкин заказал переписчику копию с ЦА. Но текст последнего уже не во всем удовлетворял его, и прежде всего, как мы уже видели, не удовлетворяли заключительные стихи Вступления, которые переписаны в ПК в существенно новой редакции — очевидно, с особого, позднее затерянного и нам неизвестного автографа. На это обстоятельство Щеголев не обратил должного внимания и лишь отметил его, поместив на с. 65 тексты обеих редакций. Но именно эта переработка, бывшая несомненно плодом «свободного творчества», показывает, что через два с половиной года после завершения поэмы Пушкин не считал ее текст в ЦА окончательным и неприкосновенным: этим узакониваются, как новый этап в творческой истории «Медного Всадника», и внесенные в ПК остальные поправки (исключая, разумеется, цензурные). Между тем Щеголев почти во всех случаях считает их «неокончательными» и даже неудачными, ухудшающими текст. Так, сопоставив две редакции (или, вернее, два варианта) отрывка, говорящего о безумном Евгении, которого «нередко кучерские плети <...> стегали» и т. д. (стихи 369—374), он замечает, что они в ПК «совершенно неудачно выправлены», что «исправления <...> значительно искажают смысл», а одно исправление «внесло прозаизм в текст повести: оглушен шумом внутренней тревоги», отчего «сразу оскудело содержание» этих стихов. Отсюда следует вопрос: «Можно ли считать такое исправление совершенным и окончательным?».[20]

Вопрос о том, «совершенна или несовершенна» поправка, внесенная в текст автором, выходит за пределы текстологии. Такая субъективно-эстетическая оценка вполне законна в критическом отзыве, но недопустима в текстологическом исследовании, в истории текста. Насколько спорны субъективно-эстетические оценки Щеголева и насколько неправомерны основанные на них текстологические выводы, видно из того, что С. М. Бонди, рассматривая те же стилистические и смысловые поправки Пушкина в ПК, считает (не делая, разумеется, из этого каких-либо текстологических выводов), что «текст „Медного Всадника“ 1836 года совершеннее текста 1833 года»: «В 1836 году Пушкин все не вполне точные или недостаточно выразительные слова и обороты заменяет яркими, сильными и образными».[21] С этим мнением авторитетного специалиста-текстолога необходимо согласиться.[22]

---

[20] Щеголев П. Е. Текст «Медного Всадника», с. 71.

[21] Бонди С. М. Новый автограф Пушкина. — В кн.: Записки Отдела рукописей Гос. Библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 11. М., 1950, с. 140.

[22] Следует отметить, что П. Е. Щеголев в ряде случаев считает поправки Пушкина в ПК переделками Жуковского, в чем, по его словам, «нет сомнения для всякого, знающего руку Жуковского» (Щеголев П. Е. Текст «Медного Всадника», с. 69—70). Такими поправками «рукой Жуковского» он считает в «Предисловии» вставку слова «наводнения», в стихе 40 — «Главой склонилася Москва» вместо

Но в одном и очень важном случае П. Е. Щеголев был безусловно прав: речь идет о вычеркнутых в ПК без замены «мечтаниях» Евгения, исключавшихся во всех изданиях поэмы, о чем мы уже говорили выше.

«При исключении мечтаний Евгения в посмертной редакции (т. е. в ПК, — *Н. И.*), — писал Щеголев, — совсем неуместным оказался неисправленный стих 159 —

Так он мечтал.

Как раз ничего такого, что можно было бы охарактеризовать как мечтания, не осталось в предшествующих, явившихся результатом исправления стихах посмертной редакции. Ясное доказательство, что исправления, сделанные <...> Пушкиным, не были доведены до конца и не подлежали введению в окончательный текст».[23]

Аргументация Щеголева вызвала позднее возражения, основывающиеся на понимании слова «мечты, мечтать» (в стихе «Так он мечтал»). «Это положение исследователя (Щеголева, — *Н. И.*), — писала Т. Г. Зенгер (Цявловская) в 1934 г., — является недоразумением. Слово *мечты, мечтать* в поэтическом употреблении сто лет назад не было синонимом слов *грезы, грезить,* не разумело непременно чего-то приятного, желаемого. Это слово было синонимом *раздумья, мыслей, дум*». Приведя ряд примеров из «Евгения Онегина», «Полтавы» и др., исследовательница заключает: «Это доказательство Щеголева <...> казалось — самое сильное <...> А между тем мы видим, что оно ошибочно. И все построение Щеголева рушится».[24] Позднее и С. М. Бонди в цитированной выше статье (1950 г.) замечал, что «слова „мечты“, „мечтать“ у Пушкина имели не только то значение, в каком мы их употребляем (думать о чем-то желательном); нередко эти выражения обозначают просто мысли (не обязательно приятные), окрашенные сильным чувством».[25]

Указания эти в общей форме справедливы. Но именно в данном случае рассуждение Щеголева имеет серьезные основания. В самом деле, Пушкин в стихах 125—159 дает ясно выраженный переход от размышлений Евгения к мечтаниям, с существенной разницей в содержании и стиле тех и других. В ЦА и ПК (до внесения поправок) мы читаем о пришедшем домой Евгении:

<125> ...Долго он заснуть не мог
В волненьи разных размышлений.
О чем же думал он?

И за этим следуют прозаические, даже деловые раздумья его о своей бедности, о службе и о погоде. Последнее — два-три дня разлуки с Па-

---

«Померкла старая Москва», в стихе 119 — «в Коломне» вместо «в чулане», а также другие исправления, безусловно сделанные рукою Пушкина (в стихах 159, 218, 232, 281, 344, 462 и др.). Все это усиливает отрицательное отношение Щеголева к ПК как к источнику текста.

[23] Щеголев П. Е. Текст «Медного Всадника», с. 70.

[24] Зенгер (Цявловская) Т. Г. Николай I — редактор Пушкина, с. 535—536.

[25] Бонди С. М. Новый автограф Пушкина, с. 142.

рашей из-за подъема воды и разводки мостов на Неве — приводит его к мысли о любимой девушке:

<143> Тут он разнежился сердечно
И размечтался как поэт.

Выражение «размечтался как поэт» (пусть и содержащее некоторую долю иронии) подчеркивает разницу между предшествующими прозаическими, деловыми размышлениями и поэтическими мечтами, т. е. в полном смысле представлениями о будущем и желаемом, рисующими его маленькое, даже мещанское счастье. При окончательной правке (о которой сказано будет ниже) слова «Тут он разнежился сердечно» были изменены на «Евгений тут вздохнул сердечно», и соответственно этому следующий за мечтами о семейном счастье стих

Так он мечтал. Но грустно было

(противопоставление приятному, разнеженному состоянию) изменен на

Так он мечтал. И грустно было, —

стих, связанный с грустным «вздохнул». Подобные изменения показывают, насколько прав был Щеголев, придавая важное значение исключению из текста мечтаний Евгения и видя в их изъятии признак недоработанности ПК. Вместе с тем замена оборота «Но грустно было» оборотом «И грустно было» показывает ту глубокую и тончайшую смысловую и стилистическую продуманность каждой, даже на вид мелкой поправки, которая характерна для всей работы Пушкина над его последней и самой совершенной поэмой.

Чутье текстолога не обмануло Щеголева: мечты Евгения были зачеркнуты Пушкиным в ПК лишь для того, чтобы заменить зачеркнутый текст новым, более сжатым. В 1947 г. в Библиотеке им. В. И. Ленина был обнаружен листок (теперь ПД 968), ускользнувший ранее от внимания пушкинистов, на котором поэт написал новый, переработанный текст.[26] Этот текст, обследованный и описанный С. М. Бонди, еще удалось ввести в академическое издание.[27] Но известное затруднение заключается в том, что этот автограф, содержащий всего 13 стихов, перерабатывался Пушкиным, и переработка не была закончена, почему он дает две редакции, из которых редактору «Медного Всадника» надо выбирать одну, причем каждая из них по своей незаконченности требует в большей или меньшей степени применения редакторской конъектуры. Приведем ту и другую редакции, имея при этом в виду, что первая из них напечатана С. М. Бонди в «большом» академическом издании, а вторая введена Б. В. Томашевским в редактированные им «малые» академиче-

---

[26] Листок носит «жандармский» № 39, т. е. находился в кабинете Пушкина после его смерти (см.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 304 и 349), но потом, уже после поступления в Румянцевский музей от А. А. Пушкина, надолго затерялся.

[27] См.: *Акад.*, V, 139, 521; Бонди С. М. Новый автограф Пушкина, с. 134—146.

ские издания в 10 томах (1949, 1956—1957, 1963) и в некоторые другие. Такое, в сущности ненормальное, положение продолжается до сих пор.[28]

Даем текст, вошедший в «большое» академическое издание (V, 139), отмечая отличия от него в публикациях Б. В. Томашевского подстрочными сносками.[29]

143 (47) Евгений тут вздохнул сердечно
И размечтался как поэт:
Жениться? *Ну* .... Зачем же нет? [30]
Оно и тяжело, конечно,
Но что ж, он молод и здоров.[31]
Трудиться день и ночь готов;
Он кое-как себе устроит [32]
150 (54) Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокоит [33]
«Пройдет, быть может, год другой — [34]
Местечко получу, Параше
Препоручу хозяйство наше [35]
И воспитание ребят ....
И станем жить — и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба
158 (62) И внуки нас похоронят...»

На этом заканчивается или, вернее, обрывается история публикации «Медного Всадника» — история, длящаяся около 140 лет (если считать от попытки самого Пушкина подготовить издание поэмы в 1836 г.), история сложная и мучительная, не законченная по существу до сих пор. Не закончена она и потому, что не решен вопрос о тексте «мечтаний» Евгения, заполнившем после находки 1947 г. пустое место, смущавшее редакторов поэмы в течение многих десятилетий, и потому, что интересная и смелая попытка П. Е. Щеголева — отказаться от ПК как основного источника текста поэмы и вернуться к тексту 1833 г., т. е. к ЦА, хотя и оказалась необоснованной и была оставлена после смерти ее инициатора, но находит и сейчас сторонников, видящих в «редакции» 1833 г. (ЦА) больше цельности и законченности, чем в «редакции» 1836 г. (ПК). Однако помещенная в нашем издании (с. 83—85) таблица разночтений этих двух текстов показывает, что они не представляют собою двух «редакций», отражающихся на плане, композиции, идейно-художественной

---

[28] См. подробнее в указанной выше статье: Измайлов Н. В. Текстологическое изучение поэмы Пушкина «Медный Всадник», с. 126—130.

[29] В скобках дается нумерация стихов по *Акад.*

[30] «Жениться? Мне? зачем же нет?

[31] Но что ж, я молод и здоров,

[32] Уж кое-как себе устрою

[33] И в нем Парашу успокою

[34] Пройдет, быть может, год-другой —

[35] В «малом» академическом издании, в 10 томах (1949), в этом стихе допущена досадная опечатка: «Препоручу *семейство* наше» (вместо «*хозяйство* наше»), и эта опечатка повторена в ряде позднейших изданий, до самых последних.

системе поэмы, но дают лишь частные различия в пределах одной и той же композиции и системы. И выражением последней авторской воли является текст, выработанный в 1836 г. и отменяющий в ряде мест текст 1833 г.

7

Во всем творческом наследии Пушкина, будь то произведения в стихах или в прозе, лирические, повествовательные или драматические, нет другого, которое за сто сорок лет последующего изучения вызвало бы такую обширную литературу и такое множество разноречивых, часто противоположных мнений и толкований, как «Медный Всадник».

В этом обилии и этой разноречивости отзывов о поэме сказываются и сложность ее композиции при внешней простоте, и глубина историко-философской проблематики, и ощущаемая всеми, кто писал о ней, острота и своеобразная злободневность «Петербургской повести», по-своему воспринимаемая каждой исторической эпохой.

Сложность и кажущаяся противоречивость композиции поэмы заключаются в чередовании и сплетении двух основных тем: «петровской» темы, посвященной «мощному властелину судьбы», создателю «юного града», и темы «ничтожного героя» — Евгения, с его личной драмой, порожденной слепой стихией. Эти две темы чередуются и сплетаются, объединенные образом города, ставшего символом новой России, ее величия и ее страданий. Образ Петербурга проходит через всю поэму — от первых строк Вступления, где «на берегу пустынных волн» думает о великом будущем городе его основатель, до заключительных строк об «острове малом» на взморье, где находит свою могилу «ничтожный герой», освобожденный смертью от страданий.

Отсюда вытекает несоответствие — опять-таки преднамеренное — между случайным и частным характером сюжета и глубиной и сложностью вложенной в поэму историко-философской и историко-социальной проблематики.

Наконец, представляется немотивированным сочетание подчеркнуто сниженной реалистичности повествования о личности и жизни «ничтожного героя», о наводнении и о дальнейшей судьбе Евгения с фантастическим, призрачным характером кульминационной сцены поэмы — между Евгением и «кумиром», «всадником медным», — сцены, выходящей за пределы реальной жизни и позволяющей (если не заставляющей) видеть в поэме двуплановое произведение, содержащее некую тайну, облеченную в своего рода мифологические формы.

На последнем представлении следует остановиться.

Петербург — «Северная Пальмира», великолепный, пышный и вместе бедный город, созданный «волей роковой» и гениальной мыслью одного человека, возникший в сказочно быстрое время «из тьмы лесов, из топи блат», — этот город едва ли не с первых дней его необыкновенной жизни вызывал представление о чем-то сверхъестественном, находящемся на

грани между миром реальным и миром фантастическим. Петербург с самого начала вызывал к себе двойственное отношение. Приверженцы царя-реформатора видели в «юном граде» воплощение новой России, преображенной, по выражению Н. М. Языкова, «железной волею Петра», и в этом находили оправдание тем огромным жертвам, которые принес русский народ ради его создания. Сторонники же сохранения московской старины, старообрядцы, крестьяне, согнанные на постройку города и своими костями устилавшие болота, на которых он возводился, видели в новом городе создание дьявола, а в его основателе — воплощение антихриста, врага и губителя человеческого рода. Подобное двойственное отношение к Петру и его творению оставалось жить и позднее, меняя свои формы, но сохраняя свои главные черты.

Отсюда, естественно, происходит тот легендарный, мифологический фон, который окружает и сопровождает всю историю Петербурга, начиная с античного образа орла, взвившегося, по официозной легенде, над головою Петра в тот момент, когда он 16 мая 1703 г. закладывал первый камень будущего города.[1]

Подобные же легенды сопровождают дальнейшую историю Петербурга в XVIII—начале XIX в. Одна из них, наиболее интересная и, возможно, имеющая отношение к созданию «Медного Всадника», приведена П. И. Бартеневым в статье о сооружении памятника Петру Великому, написанной на материале переписки Фальконе с Екатериной II. Издатель «Русского архива» так излагает это предание: «Мысль о „Медном Всаднике“ пришла Пушкину вследствие следующего рассказа, который был ему передан известным графом М. Ю. Виельгорским. В 1812 году, когда опасность вторжения грозила и Петербургу, государь Александр Павлович предполагал увезти статую Петра Великого, и на этот предмет статс-секретарю Молчанову было отпущено несколько тысяч р‹ублей›. В приемную к кн. А. Н. Голицыну, масону и духовидцу, повадился ходить какой-то майор Батурин. Он добился свидания с князем (другом царевым) и передал ему, что его, Батурина, преследует один и тот же сон. Он видит себя на Сенатской площади. Лик Петра

---

[1] Легенда о том, что когда «16 мая 1703 года Петр сложил крестообразно два дерна и сказал: „здесь быть городу“, над ним в воздухе парил орел», приведена в книге Н. П. Анциферова «Быль и миф Петербурга» (Пг., 1924, с. 28). То же событие в кратком и строго фактическом изложении Пушкина открывает 1703-й год «Истории Петра». Здесь оно изображено без всякого легендарного или мифологического оттенка; но в самой краткости и простоте рассказа ощущаются гениальность основателя города, его непреклонная воля, решимость и проницательный взгляд в будущее, словом — вся справедливость пушкинского поэтического определения «мощный властелин судьбы»: «Посреди самого пылу войны, Петр Великий думал об основании гавани, которая открыла бы ход торговле с северо-западною Европою и сообщение с образованностью. Карл XII был на высоте своей славы; удержать завоеванные места, по мнению всей Европы, казалось невозможно. Но Петр Великий положил исполнить великое намерение и на острове, находящемся близь моря, на Неве, 16 мая заложил крепость С.-Петербург (*одной рукою заложив крепость, а другой ее защищая.* Голиков)» (*Акад.*, X, 69).

поворачивается. Всадник съезжает со скалы своей и направляется по петербургским улицам к Каменному острову, где жил тогда Александр Павлович. Батурин, влекомый какою-то чудною силою, несется за ним и слышит топот меди по мостовой. Всадник въезжает на двор Каменноостровского дворца, из которого выходит к нему навстречу задумчивый и озабоченный государь. „Молодой человек, до чего довел ты мою Россию?", — говорит ему Петр Великий. — „Но покамест я на месте, моему городу нечего опасаться!". Затем всадник поворачивает назад, и снова раздается тяжело-звонкое скаканье. Пораженный рассказом Батурина, князь Голицын, сам сновидец, передает сновиденье государю, и в то время как многие государственные сокровища и учреждения перевозятся во внутрь России, статуя Петра Великого оставлена в покое».[2] Здесь, таким образом, Петр Великий предстает еще раз как бог-покровитель созданного им города, на античный, греко-римский лад.

Легенды о Петербурге, его основателе и его судьбе, связанные отчасти с впечатлениями от наводнения 1824 г., живут многие годы и десятилетия, принимая разные формы.

Из приведенных выше журнальных и иных сообщений о наводнении 7 ноября 1824 г. видно, что бедствие, постигшее город, вызвало сильно преувеличенные рассказы в Москве и по всей стране и тревогу в самом Петербурге при мысли о возможном повторении наводнения, против которого город по существу беззащитен, и «нежелательные» толки о том, правильно ли поступил Петр, создавая на Неве, «под морем», новую столицу, и не следует ли перенести ее обратно в Москву. Для противодействия подобным толкам статьи Булгарина — Берха, Аллера и других включают сведения о наводнениях, случавшихся в Петербурге с его основания (и даже до него — вообще в этой местности с 1691 г.) и все же не мешавших его развитию, о наводнениях, бывающих в других странах Европы, о разрушениях, причиняемых извержениями вулканов и иными стихийными явлениями. Все это делается с целью прекратить толки, показать правоту основателя города и неколебимость его создания.

Смерть Александра I почти ровно через год после наводнения, 19 ноября 1825 г., подала повод к новым сопоставлениям с наводнением 10 сентября 1777 г., случившимся за три месяца до его рождения.

В годы, последовавшие за наводнением, возникло немало произведений, частью безымянных и далеко не полностью дошедших до нас, где событие 1824 г. послужило отправной точкой для «предсказаний» грядущей гибели Петербурга — символа и оплота русского самодержавия. Зна-

---

[2] Русский архив, 1877, кн. II, № 8, с. 424—425. В изложении П. И. Бартенева явно отзываются стихи пушкинской поэмы, приведенные здесь же (стихи 439—455 — «Показалось Ему, что грозного царя. . .» и т. д.). Этот рассказ, замечает Бартенев, «случилось нам слышать от современников, и в числе их от С. А. Соболевского». Следует отметить, что еще до Бартенева тот же рассказ, но в несколько иной редакции, был опубликован со слов С. А. Соболевского А. П. Милюковым под заглавием «Из записной тетради. Откуда Пушкин взял сюжет „Медного Всадника"» (Сын отечества, 1869, № 29 (воскресный номер)).

чительный подбор документальных и «фольклорных» материалов о наводнении дан в статье Г. М. Ленобля «К истории создания „Медного Всадника“».[3] Среди перечисленных здесь произведений можно назвать поэму В. С. Печерина «Торжество смерти», написанную в конце 1833 г., т. е. примерно одновременно с «Петербургской повестью» Пушкина; стихотворение неизвестного автора (которым считался при первой публикации Лермонтов, а позднее — декабрист А. И. Одоевский), дошедшее до нас не полностью, где наводнение, угрожающее царскому дворцу, представлено как возмездие за разгром и казнь декабристов; несохранившиеся стихотворения А. И. Одоевского, известные лишь по неблагожелательному упоминанию другого бывшего декабриста — Д. И. Завалишина; опубликованное Н. П. Огаревым в его известном сборнике «потаенной русской литературы» «Лютня» стихотворение «Подводный город», автор которого неизвестен;[4] в нем говорится о городе, некогда богатом и знатном, но потопленном морскими волнами в наказание за то, что «себе ковал он злато, а железо для других», и теперь виден из воды лишь «шпиль от колокольни», т. е. от Петропавловского собора. Имя же городу

было ... да чужое!
Позабытое давно!
Оттого, что не родное
И непамятно оно![5]

К собранным Г. М. Ленoблем материалам следует присоединить одно из наиболее замечательных отражений в русской революционно-демократической поэзии образа наводнения, сокрушающего власть самодержцев, воплощенную в двух памятниках — Петра I и Николая I. Это — широко

---

[3] Ленобль Г. М. К истории создания «Медного Всадника». — В кн.: Ленобль Г. М. История и литература. Сб. статей. М., 1960, с. 361—387.

[4] См.: Лютня. Изд. 3-е. Лейпциг, [б. г.], с. 60—62. Огарев приписывал это стихотворение А. С. Хомякову — вероятно, вследствие его славянофильского и антипетровского направления. Н. П. Анциферов называет его автором М. А. Дмитриева, не давая объяснений этой атрибуции, впрочем очень мало вероятной, см.: Анциферов Н. П. Душа Петербурга. Пб., 1922, с. 94.

[5] Г. М. Ленобль вполне обоснованно замечает по поводу этих и других подобных стихотворений: «Можно почти с полной уверенностью сказать, что Пушкину ни одно из произведений, приведенных нами, известно не было. Но эти произведения выросли на определенной почве; они не были бы возможны, если бы им не предшествовало достаточно интенсивное „устное творчество“, сложившееся в связи с наводнением и последующими политическими событиями (т. е. 14 декабря 1825 г., — *Н. И.*). Этот ‹...› „фольклор“ ‹...› должен был иметь весьма широкое хождение ‹...› Мы вправе были бы заключить, что Пушкин знал этот „фольклор“, даже если бы об этом не свидетельствовали некоторые детали черновиков „Медного Всадника“» (Ленобль Г. М. К истории создания «Медного Всадника», с. 384—385). Какие «детали черновиков» имеет в виду Г. М. Ленобль — к сожалению, неясно; мы, со своей стороны, не могли бы их указать (анекдоты о В. В. Толстом, о часовом у сада и проч. сюда не относятся). Но несомненно, что на общую концепцию поэмы и в особенности на сцену столкновения Евгения с памятником (стихи 390—455) образовавшийся вокруг наводнения «фольклор» фантастического содержания оказал существенное влияние.

известное стихотворение Н. П. Огарева «Памяти Рылеева», последняя строфа которого читается:

Взойдет гроза на небосклоне,
И волны на берег с утра
Нахлынут с бешенством погони,
И слягут бронзовые кони
И Николая и Петра.
Но образ смерти благородной
Не смоет грозная вода,
И будет подвиг твой свободный
Святыней в памяти народной
На все грядущие года.[6]

Наряду с произведениями, в которых наводнение показывалось как предзнаменование грядущих политических потрясений и падения самодержавия, было немало и таких, где оно воспринималось как доказательство неколебимости города, охраняемого своим гением-покровителем — Медным Всадником, в котором воплотились воля и «дух» Петра Великого; как свидетельство бессилия морской стихии и устойчивости города перед ее натиском (что, однако, не исключало возможности в будущем новых «грозных приступов» «финских волн», колеблющих «гранит подножия Петра»).

Воззрение на Петербург как на город, сочетающий в себе самую строгую, даже прозаическую реальность с элементами мифа, символики, своего рода «призрачности», проходит через всю русскую литературу с середины XVIII по начало XX в. — от Сумарокова и Державина через Пушкина, Гоголя, Достоевского до Андрея Белого («Петербург») и Александра Блока («Двенадцать»). Истолкованию этой сложной двойственной сущности города в его прошлом и настоящем посвящены труды некоторых русских и западных исследователей, — труды, самые заглавия которых в этом смысле характерны. Таковы книги Н. П. Анциферова «Душа Петербурга» (Пб., 1922), представляющая обстоятельный обзор и тонкий анализ последовательных отражений «петербургской» темы в русской литературе от Сумарокова и Ломоносова до Блока и Анны Ахматовой, и «Быль и миф Петербурга» (Пг., 1924) — подробно развернутая программа экскурсии по Петербургу—Ленинграду, где в центре внимания автора Медный Всадник, памятник основателю города, и посвященная ему поэма Пушкина, в их исторической реальности и как предметы творчества.

Понятия «мифа», «мифологизма», «символики» оказываются прочно прикрепленными к Петербургу, к его создателю, к его истории и к самой поэме Пушкина, посвященной «строителю чудотворному», его борьбе с восставшей стихией и восстанию против него «ничтожного героя».

---

[6] Огарев Н. П. Стихотворения и поэмы. Ред. С. А. Рейсера. Л., 1956 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 290—291. Стихотворение написано вскоре после открытия конного памятника Николаю I, работы П. К. Клодта, на Исаакиевской площади в Петербурге (1859) и опубликовано впервые как посвящение к изданию «Дум» Рылеева (Лондон, 1860, с. V—VI).

В 1926 г. Д. Д. Благой печатает статью о «Медном Всаднике» под заглавием «Миф Пушкина о декабристах».[7] Через несколько лет, в 1933 г., Иннокентий Оксенов опубликовал обзор современных истолкований поэмы Пушкина, озаглавленный «О символике „Медного Всадника"».[8]

В 1960 г. известный итальянский ученый-славист Этторе Ло Гатто издал свое большое исследование — «Миф Петербурга. История, легенда, поэзия».[9] В нем прослеживается история философско-политических теорий в России, от выработанной в XV—XVI вв. московскими книжниками концепции «Москва — третий Рим» до сменившей ее в начале XVIII в. другой теории — «Петербург — окно в Европу», возникновение которой определяется петровскими преобразованиями, повлиявшими на весь дальнейший ход русской истории и русской культуры и нашедшими самое полное выражение в основании Петербурга. Различные модификации тезиса «Петербург — окно в Европу» рассматриваются автором в их отражениях в русской литературе и русской истории, в легендах и своеобразном мифотворчестве, от начала XVIII в. до преддверия Октябрьской революции. Отдельные главы книги посвящены рассмотрению таких вопросов, как «Царь-антихрист и строитель-чудотворец» (Петр I); «Окно в Европу» и «Северная Пальмира» (основание и строительство Петербурга до начала XIX в.); «Медный Всадник» Пушкина и «Невский проспект» Гоголя; Москва и Петербург; физиология Петербурга (Некрасов); «Белые ночи» Достоевского; видоизменения мифа об «окне, открытом в Европу».

Такие труды, отправляющиеся в большей или меньшей степени от «Медного Всадника», как книги Н. П. Анциферова и Этторе Ло Гатто, закономерно приводят нас к историко-литературной проблеме воздействия пушкинской поэмы на последующую русскую литературу, от 40-х годов XIX в. до нашей современности. Развернутого исследования этой проблемы до сих пор, к сожалению, не существует, а труды, указанные выше, его не заменяют. Нет возможности дать подобное исследование и в настоящей работе. Но еще в 1941 г. основные элементы и направление такого исследования были определены Б. В. Томашевским,[10] указавшим, что «„Медный Всадник" вызвал в русской поэзии явное тяготение к мотивам большого города в противоположность старой традиции, считавшей свойственной поэзии только сельскую природу ‹...› Это течение в поэзии,

---

[7] Благой Д. Д. Миф Пушкина о декабристах. (Социологическая интерпретация «Медного Всадника»). — Печать и революция, 1926, № 4, с. 5—23; № 5, с. 15—33. Позднее в переработанном виде статья вошла в книгу Д. Д. Благого «Социология творчества Пушкина. Этюды» (М., 1929; изд. 2-е. М., 1931).

[8] Оксенов Инн. О символике «Медного Всадника». — В кн.: Пушкин. 1833 год. Л., 1933, с. 43—56.

[9] Lo Gatto Ettore. Il mito di Pietroburgo. Storia, leggenda, poesia. Milano, 1960.

[10] См. страницы, посвященные «Медному Всаднику» в статье Б. В. Томашевского «Поэтическое наследие Пушкина. (Лирика и поэмы)», вошедшей в сборник «Пушкин — родоначальник новой русской литературы» (М.—Л., 1941, с. 308—313 и 331). Вторично напечатано в посмертно изданной книге: Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 2. Материалы к монографии. М.—Л., 1961, с. 409—415, 440.

впоследствии окрещенное неуклюжим термином „урбанизм“, все сильнее и сильнее получало свое выражение. В начале XX в. „урбанистическая поэзия“ была уже господствующей формой <...> Помимо городских тем вообще, Пушкин своей поэмой ввел в русскую литературу тему Петербурга. Конечно, о Петербурге писали и до Пушкина <...> Но узаконил эту тему, конечно, Пушкин. Равно узаконил он тему Медного Всадника».[11] По словам Томашевского, Пушкин «утвердил за художественными образами Петербурга и Медного Всадника новое синтетическое значение»: «Образы „Медного Всадника“ были неразрывно связаны с своеобразной философией истории, характерной для первой половины XIX в.» (речь идет о «проблемах исторического значения петровских реформ»).[12]

«Переклички с поэмой Пушкина мы встречаем на протяжении всего XIX в.», — говорит далее Б. В. Томашевский, считая, что, «конечно, и в прозе тема Петербурга подготовлена Пушкиным». Как характерные отражения поэмы Пушкина в русской прозе и поэзии исследователь называет «Белые ночи» и «Преступление и наказание» Достоевского, поэмы Огарева «Юмор» и Некрасова «Несчастные», стихотворение Я. П. Полонского «Миазм» (1862), стихотворения А. А. Блока, написанные в преддверии и во время первой русской революции («Он спит, пока закат румян...» — 1904, «Вися над городом всемирным...» — 1905), а также обращение к «неуловимому» городу во второй главе поэмы «Возмездие», стихотворение Инн. Анненского «Петербург» и, наконец, роман Андрея Белого «Петербург», в котором «Медный Всадник» отразился «более всего» и где «эпизоды пушкинской поэмы приобретают характер лейтмотивов». Это краткое перечисление показывает, что в начале XX в. поэма Пушкина находила наиболее частые отражения в творчестве символистов, поэтов и прозаиков, но, как отмечает Томашевский, «образы, взятые у Пушкина, не адекватны тому, чем они были у самого Пушкина».[13]

Наблюдения, приведенные в статье Б. В. Томашевского, намечают пути исследования проблемы, но, конечно, дают далеко не полную картину воздействия «Медного Всадника» на дальнейшее развитие русской литературы. В дополнение можно было бы напомнить такие явления, как «петербургские» повести Гоголя «Невский проспект», «Нос» и в особенности «Шинель»; как повести Достоевского, написанные в 1846—1848 гг., т. е. до его ссылки (не говоря о позднейших, названных выше), — «Двойник» (носящая даже подзаголовок, как будто указывающий на близость к «Медному Всаднику» — «Петербургская поэма»), «Хозяйка» и проч.; как двадцать вторая глава повести Тургенева «Призраки» (1867), и др.

Что касается поэтов позднейшего времени — начала XX в., то характерное воздействие «Медного Всадника» как высшего образца урбанистической поэзии, связанной с петербургской темой, можно видеть в поэзии Блока «Двенадцать» и в особенности у Анны Ахматовой, творчество ко-

---

[11] Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 2, с. 409.
[12] Там же.
[13] Там же, с. 414.

торой в этом отношении проходит «под знаком» пушкинской «Петербургской повести», начиная с цикла «Стихов о Петербурге» (1913 г.) и кончая многими стихами последних лет.

Интересные, хотя и не вполне систематизированные наблюдения, касающиеся отражений и воздействий «Петербургской повести» Пушкина в литературе (главным образом в поэзии) начала XX в. и Советской эпохи, содержатся в статье А. Н. Лурье «Поэма А. С. Пушкина „Медный Всадник" и советская поэзия 20-х годов».[14] Материал, охватываемый статьей, выходит за пределы этого заглавия, относясь не только к 20-м годам, но и к предреволюционному периоду (Мережковский, Брюсов, Ин. Анненский, Блок, П. Ф. Якубович, Ахматова) и к позднейшим годам (Маяковский, Есенин, Светлов, Асеев, Пастернак, Антокольский, Волошин, Сельвинский, Луговской, «поздняя» Ахматова и др.); кроме того, наряду с поэзией автор рассматривает также прозу Ю. Тынянова и ранние обращения к теме Петра у А. Н. Толстого.

Таково современное состояние большой проблемы, важной для понимания не только самой поэмы Пушкина, но и развития русской литературы, родоначальником которой он был. Нельзя не вспомнить здесь слова Ольги Форш, сказанные ею в связи с «Медным Всадником»: «Изумительно, как у нас все исходит от Пушкина и все возвращается к Пушкину».[15]

Обратимся теперь к обзору, хотя бы самому краткому, основных моментов эволюции исследовательских и критических мнений о «Медном Всаднике», высказывавшихся начиная с Белинского в продолжение почти 130 лет, и попытаемся на их основе, а прежде всего на основе объективного анализа содержания поэмы высказать некоторые соображения об интерпретации ее идейно-художественной проблематики.

Изучение «Медного Всадника» начинается, без сомнения, со статьи о нем Белинского, а именно с последней, 11-й статьи о «Сочинениях Александра Пушкина»,[16] содержащей, кроме разбора «Медного Всадника» и других произведений Пушкина в разных жанрах, преимущественно 30-х годов, резко отрицательный отзыв о напечатанной в «Современнике» 1836 г. «Родословной моего героя», которую критик определяет как «истинный шалаш, построенный великим мастером из драгоценного паросского мрамора».[17]

---

[14] Советская литература. Проблемы мастерства. Л., 1968, с. 42—81.

[15] Там же, с. 81.

[16] Отечественные записки, 1846, т. XLVIII, № 10, отд. V; Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1955, с. 542—548. Выход в свет в 1841 г. последних трех томов «посмертного» издания сочинений Пушкина (IX, X и XI). в одном из которых (IX) был и «Медный Всадник», вызвал немного откликов в печати. Белинский в рецензии на это издание (там же, т. V, с. 264—276) лишь назвал «Медного Всадника», но не дал никакой оценки «Петербургской повести».

[17] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 536—542. Ср.: Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975, с. 239—243 (в статье «Лирические циклы в поэзии Пушкина конца 20—30-х годов»).

Разбор «Медного Всадника» открывается очень важным замечанием: «„Медный Всадник“, — пишет Белинский, — многим кажется каким-то странным произведением, потому что тема его, по-видимому, выражена не вполне. По крайней мере страх, с каким побежал помешанный Евгений от конной статуи Петра, нельзя объяснить ни чем другим, кроме того, что пропущены слова его к монументу. Иначе почему же вообразил он, что грозное лицо царя, возгорев гневом, тихо оборотилось к нему, и почему, когда стремглав побежал он, ему все слышалось

Как будто грома грохотанье
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой? . .

Условьтесь в том, что в напечатанной поэме недостает слов, обращенных Евгением к монументу, — и вам сделается ясна идея поэмы, без того смутная и неопределенная. Настоящий герой ее — Петербург. Оттого и начинается она грандиозною картиною Петра, задумывающего основание новой столицы, и ярким изображением Петербурга в его теперешнем виде».[18] Эти осторожные и тщательно завуалированные слова, многозначительные и недосказанные, показывают, по нашему убеждению, знакомство Белинского — через кого-либо из литераторов, причастных к «Современнику» 1837 г. и к «посмертному» изданию (например, через А. А. Краевского), — с подлинным текстом поэмы, недозволенным к печати и невозможным для цитирования. Белинский, указывая на «пропущенные» слова:

Добро, строитель чудотворный,
Ужо тебе!.. —

давал понять читателю протестующий, бунтарский смысл столкновения Евгения с «кумиром», начисто устраненный цензурой Николая I.

Сказав далее о том, что «с историей наводнения как исторического события поэт искусно слил частную историю любви, сделавшейся жертвою этого происшествия», и, доведя цитацию до второй, кульминационной встречи Евгения с «гигантом на бронзовом коне» (надо помнить, что цитируется печатный, переделанный Жуковским текст), Белинский указывает: «В этом беспрестанном столкновении несчастного с „гигантом на бронзовом коне“ и в впечатлении, какое производит на него вид Медного Всадника, скрывается весь смысл поэмы; здесь ключ к ее идее. . .».[19]

И эту идею Белинский формулирует следующим образом: «В этой поэме видим мы горестную участь личности, страдающей как бы вследствие избрания места для новой столицы, где подверглось гибели столько людей, и наше сокрушенное сочувствием сердце вместе с несчастным готово смутиться; но вдруг взор наш, упав на изваяние виновника нашей славы, склоняется долу <. . .> Мы понимаем смущенною душою, что не произвол, а разумная воля олицетворены в этом Медном Всаднике <. . .>

---

[18] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 542. (Разрядка моя, — *Н. И.*).
[19] Там же, с. 545.

И смиренным сердцем признаем мы торжество общего над частным, не отказываясь от нашего сочувствия к страданию этого частного <...> мы хотя и не без содрогания сердца, но сознаемся, что этот бронзовый гигант не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа и государства; что за него историческая необходимость и что его взгляд на нас есть уже его оправдание...».[20]

Таков взгляд Белинского, таково его понимание поэмы Пушкина. Эта интерпретация легла в основу всех позднейших направлений в понимании историко-философской концепции «Медного Всадника», как бы далеки друг от друга, даже формально противоположны ни были эти направления. Белинский не мог пойти дальше — хотя бы потому, что не знал всей истории создания и публикации поэмы, не имел возможности сказать о ней все, что он думал и что мог сказать, — вообще делал первый шаг в изучении одного из самых сложных и глубоких произведений Пушкина. После статьи Белинского и, в сущности, до нашего времени ни один исследователь и ни один комментатор не может пройти мимо его выводов, даже если он их не разделяет. Игнорирование его работы приводит или к безудержному субъективизму, или к бессодержательному пустословию. Последнее можно наблюдать, например, в статье А. В. Дружинина — изящной по внешности и пустой по существу. Статья эта написана по поводу издания П. В. Анненкова.

П. В. Анненков в «Материалах для биографии А. С. Пушкина» и в примечаниях к изданию много сделал для биографического и текстологического изучения творчества поэта, но, как уже было показано выше, не разобрался в соотношении между «Родословной моего героя» (т. е. «Езерским») и «Медным Всадником» и надолго запутал понимание их творческой истории.[21]

Из критических отзывов на издание Анненкова первое место занимает статья А. В. Дружинина в «Библиотеке для чтения», где несколько страниц посвящены «Медному Всаднику».[22]

В начале статьи автор говорит о непонимании, которое окружало Пушкина в последние годы его жизни и позднее, после его смерти: «Свежо предание, но верится с трудом, что в весьма неотдаленное от нас время „Медный Всадник“ казался странною фантазиею...».[23] Далее высказываются интересные и верные общие мысли о высокой культуре, начитанности, громадном трудолюбии Пушкина, о его непрестанном литературном труде — чертах, хорошо показанных «Материалами» Анненкова и его изданием. «Если „Медный Всадник“, — говорит Дружинин, — так близок к сердцу каждого русского, если ход всей поэмы так связан с ис-

---

[20] Там же, с. 547.

[21] См.: Соч. Пушкина, изд. П. В. Анненкова. Т. I. СПб., 1855, с. 381—386; т. III, с. 549—552.

[22] Библиотека для чтения, 1855, т. CXXX, март и апрель, отд. III—IV, с. 41—104 (о «Медном Всаднике» — с. 93—96).

[23] Что имеет здесь в виду Дружинин, неясно. Быть может, однако, это скрытый намек на статью Белинского 1846 г.

торией и поэзией города Петербурга, — то все-таки поэма в целом не есть достояние одной России, она будет оценена, понята и признана великой поэмою везде, где есть люди способные понимать изящество <...> Смелость, с которою поэт сливает историю своего героя с торжественнейшими эпохами народной истории, беспредельна, изумительна и нова до крайности; между тем как общая идея всего произведения, по величию своему, принадлежит к тем идеям, какие родятся только в фантазиях поэтов, подобных Данту, Шекспиру и Мильтону!». Однако же в чем сущность этой «общей идеи» — Дружинин не объясняет, ограничиваясь вместо анализа поэмы лишь замечанием о том, что «Евгений бледен как лицо <...> Несмотря на все наше благоговение к памяти Александра Сергеевича, мы смело упрекаем его Евгения в бесцветности».[24]

Вторая половина XIX в., после издания П. В. Анненкова, не внесла почти ничего существенного в изучение и истолкование «Медного Всадника».

Чернышевский посвятил изданию Анненкова четыре статьи в «Современнике» 1855 г., но главною их задачей было восстановить память о Белинском и его статьях о Пушкине. «Медный Всадник» упоминается лишь вскользь, и можно указать только одно суждение, характеризующее отношение критика к этой поэме: «„Каменный гость“, „Галуб“ (т. е. «Тазит», — *Н. И.*) и другие посмертные произведения Пушкина не могут подлежать упреку в эстетических недостатках <...> но все они, за исключением „Медного Всадника“, имеют мало живой связи с обществом».[25]

В 1884 г. было напечатано в «Русской старине» описание рукописей Пушкина, составленное В. Е. Якушкиным, где, помимо рукописей поэмы, получившей позднее редакторское название «Езерский», и «Медного Всадника», было кратко упомянуто о переписанных Пушкиным стихотворениях Мицкевича — «Памятник Петра Великого», «К русским друзьям», «Олешкевич».[26] Можно думать, что это обстоятельство, ранее неизвестное, вызвало к жизни большую статью В. Спасовича,[27] где впервые был поставлен вопрос об отношениях между русским и польским поэтами и о значении для творчества Пушкина, прежде всего для «Медного Всадника», стихотворений Мицкевича, входящих в «Отрывок» — «Ustęp», завершающий III часть поэмы «Дзяды», а из них в особенности «Памятника Петра Великого» — «Pomnik Piotra Wielkiego». Рассматривая это стихотворение Мицкевича, где польский поэт изображает себя и Пушкина, беседующих между собою осенним вечером у памятника Петра на площади Сената, Спасович справедливо замечает, что осуждающие, негодующие слова о Петре Великом, которые якобы произносит Пушкин, «суть только

---

[24] Библиотека для чтения, 1855, т. CXXX, с. 94—96.

[25] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. II. М., 1949, с. 515.

[26] Русская старина, 1884, т. XLIII, август, с. 329.

[27] Спасович В. Пушкин и Мицкевич у памятника Петра Великого. — Вестник Европы, 1887, т. II, апрель. с. 743—793. То же см.: Спасович В. Соч., т. II. СПб., 1889, с. 225—290.

выражение собственных убеждений Мицкевича, и только вследствие *licentia poetica*[28] вложены в уста Пушкину».[29] Далее, в отзыве о «Медном Всаднике», Спасович не проявил правильного понимания пушкинской поэмы, вернее, не оценил ее.[30] Но именно со статьи Спасовича начинается в польских и русских литературоведческих кругах обсуждение проблемы «Пушкин и Мицкевич», не законченное до сих пор.

В 1906 г. в Варшаве вышла монография польского ученого Ю. Третьяка, основывающаяся на новых данных об отношениях двух поэтов, где содержались спорные, даже ошибочные утверждения.[31]

Спор между Ю. Третьяком и русскими авторами — В. Наконечным,[32] А. И. Яцимирским,[33] С. Н. Браиловским[34] и др., сводился, по существу, к вопросу о том, явились ли стихотворения Мицкевича, входящие в приложение («Ustęp») к III части «Дзядов», основной побудительной причиной возникновения замысла «Медного Всадника», как утверждал польский исследователь, или нет. Ответ на этот вопрос не может быть, однако, однозначным.

Замысел поэмы зародился у Пушкина, вероятно, задолго до ее написания: если не тотчас после того, как поэт, живя в Михайловском, узнал о наводнении, то во всяком случае в первые же годы жизни в Петербурге, после возвращения из ссылки, в 1827—1830 гг. Образ героя, «ничтожного» бедного чиновника, потомка некогда знатного и богатого дворянского рода, определился, очевидно, позднее, в начале 30-х годов — быть может, независимо от темы наводнения, в повести, известной теперь под заглавием «Езерский». После того как это произведение в начале 1833 г. было оставлено Пушкиным, герой его, Евгений, был перенесен в другой замысел — в «поэму о наводнении». В то же время давние размышления поэта над личностью и деятельностью Петра Великого оформились в образе «строителя чудотворного» и в бунте против него Евгения. Все это сложилось в сознании Пушкина еще до того, как он прочел стихотворения Мицкевича и, конечно, независимо от них. Но, получив за три недели до отъезда в Оренбург четвертый том стихотворений Мицкевича, прочитав «Приложение», начиная с близкого к его собственной теме «Олешкевича», Пушкин под глубоким и волнующим впечатлением от страстных и далеко не во всем справедливых инвектив польского поэта решил дать ему в своей поэме ответ. Он развил, расширил во Вступлении лирическое обращение к Петербургу — «Люблю тебя, Петра творенье!» (стихи 43—83), где каждый отрывок, начинающийся словом «Люблю...»,

---

[28] Поэтической вольности (*лат.*).

[29] Спасович В. Пушкин и Мицкевич у памятника Петра Великого, с. 759—760.

[30] Там же, с. 761.

[31] Tretiak Jozef. Mickiewicz i Puszkin. Studia i skice. Warszawa, 1906.

[32] Известия Отд-ния русского языка и словесности имп. Академии наук, 1906, т. XI, кн. II, с. 446—458.

[33] Вестник Европы, 1907, кн. X, с. 739—751.

[34] Пушкин и его современники, вып. VII. СПб., 1908, с. 79—109; Журнал Мин-ва народного просвещения, 1909, кн. III, отд. II, с. 145—175.

является (как это давно отмечено комментаторами, начиная с Ю. Третьяка) ответом на негодующие или сатирические стихи Мицкевича и их опровержением. Исторический герой поэмы Пушкина, Петр Великий, в образе Фальконетового монумента являющийся в разные ее моменты, дан как ответ, как возражение на трактовку его Мицкевичем в стихотворении «Pomnik Piotra Wielkiego», что косвенно указывается в 5-м примечании Пушкина к поэме. Точно так же в 3-м примечании к «Медному Всаднику» содержится указание на «прекрасные стихи» Мицкевича — стихотворение «Oleszkiewicz»», но вместе с тем отмечается ошибочность в описании наводнения у польского поэта. Все это, конечно, показывает, насколько сильно было впечатление Пушкина от гневно-сатирического стихотворения Мицкевича, отразившееся в «Петербургской повести» Пушкина. Но это «отражение» носило по сути характер спора или даже опровержения. Таким представляется нам соотношение «Медного Всадника» со стихами Мицкевича о Петербурге.

Важным этапом на пути изучения и понимания «Медного Всадника» явилась статья о нем Валерия Брюсова, помещенная в III томе сочинений Пушкина под редакцией С. А. Венгерова, вышедшем в 1909 г.[35] В начале статьи, указывая на «несоответствие между фабулой повести и ее содержанием», на то, что это «заставило критику, с ее первых шагов, искать в „Медном Всаднике" второго, внутреннего смысла, видеть в образах Евгения и Петра воплощения, символы двух начал», автор предлагает все «разнообразнейшие толкования повести» «свести к трем типам»:

1. Белинский и его продолжатели видели смысл повести в сопоставлении коллективной (общей, государственной) воли, представленной Петром, и воли единичной, личной, воплощенной в Евгении, в столкновении «личности и неизбежного хода истории». При этом, с точки зрения Белинского, из двух столкнувшихся сил прав представитель исторической необходимости, Петр.

2. «Другие, мысль которых всех отчетливей выразил Д. Мережковский, видели в двух героях „Медного Всадника" представителей двух изначальных сил, борющихся в европейской цивилизации: язычества и христианства, отречения от своего *я* в боге (Евгений, — *Н. И.)* и обожествления своего *я* в героизме (Петр, — *Н. И.*)». «Со своей точки зрения, — поясняет Брюсов, — Мережковский оправдывает Евгения, оправдывает мятеж „малых", „ничтожных", восстание христианства на идеалы язычества».

3. Наконец, «третьи видели в Петре воплощение самодержавия, а в „злобном" шопоте Евгения — мятеж против деспотизма».

Это последнее толкование, заключает Брюсов, «должно быть всего ближе к подлинному замыслу Пушкина».[36]

Отводя вовсе несвойственный Пушкину религиозный смысл его историко-философской поэмы, мы должны, со своей стороны, признать, что

---

[35] Перепечатана в кн.: Брюсов Валерий. Мой Пушкин. Статьи, исследования, наблюдения. Ред. Н. К. Пиксанова. М.—Л., 1929, с. 63—94.

[36] Брюсов В. Мой Пушкин, с. 64—67.

первое и третье толкования по существу очень близки между собою, только первое, основанное на мысли Белинского, выражено более обобщенно и тем самым более «философично», чем третье, представляющее лишь одну из его сложных граней.

Религиозное толкование, выдвигавшееся Мережковским, давно отошло в прошлое. Но историко-политическое или социологическое, предложенное Белинским, продолжает жить и сейчас, принимая крайне разнообразные, часто субъективные формы.[37]

Существенным достижением В. Я. Брюсова является, без сомнения, его анализ поэмы как целостного художественного произведения — ее композиции, стилистики, идейно-художественной системы, ее стиха. Здесь безусловно сказалось то, что автор статьи сам является крупным поэтом и стиховедом. Вследствие этого его работа о «Медном Всаднике» сохраняет до сих пор свое непреходящее значение, исключая, разумеется, ошибочное понимание соотношения между «Медным Всадником» и «Езерским», или, как называли это незаконченное произведение все комментаторы начала века, «Родословной моего героя».

Во второй половине 1920-х годов появились две работы о «Медном Всаднике», авторы которых отличались своими методами, но приходили к одинаковым выводам: статья Д. Д. Благого «Миф Пушкина о декабристах. Социологическая интерпретация „Медного Всадника“»[38] и исследование Андрея Белого «Ритм как диалектика и „Медный Всадник“» (М., 1929).

Д. Д. Благой, основываясь на действительно многочисленных высказываниях Пушкина, определял его «классовое самосознание» как самосознание представителя деклассированного дворянства, потомка некогда знатного рода, униженного петровскими реформами и утратившего свое былое положение после Петра. Борьба между этим деклассированным дворянством и самодержавием, опирающимся на новую послепетровскую знать, составляет основное содержание новой русской истории, включая восстание декабристов, которое, по очень произвольному толкованию Д. Д. Благого, является бунтом деклассированного дворянства против самодержавия за свои попранные права. К таким деклассированным дворянам принадлежит и герой «Медного Всадника», Евгений (с чем нельзя не согласиться), но отсюда автор делает вывод, что столкновение Евгения с Медным Всадником, его вызов и поражение представляет собою «мифологизированное» изображение восстания 14 декабря. Обширный материал, подобранный автором, представляется на первый взгляд очень

---

[37] Сжатый, но очень содержательный историко-аналитический обзор изучения и истолкования «Медного Всадника», начиная с Белинского и кончая работами первой половины 1960-х годов, дан в статье В. Б. Сандомирской в кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. Под ред. Б. П. Городецкого, Н. В. Измайлова и Б. С. Мейлаха. М.—Л., 1966, с. 398—406.

[38] Печать и революция, 1926, № 4 и 5. Статья вошла в существенно пересмотренном и дополненном виде в книгу Д. Д. Благого «Социология творчества Пушкина. Этюды» (М., 1929; изд. 2-е. М., 1931).

убедительным, однако обилие натяжек, произвольных сопоставлений и субъективных толкований лишает его построение объективно-научного значения.[39]

Что касается книги Андрея Белого, то в ней анализ «Медного Всадника» основан на математическом «счислении» «уровней» отдельных стихов и целых отрывков, из соотношений которых, выраженных кривыми, делаются неожиданные и якобы научные выводы о скрытом в стихах поэмы изображении восстания 14 декабря. Скрытый политический смысл ищется в каждом стихе, почти в каждом слове поэмы. Так, например, там, где Пушкин говорит о «покойном царе» Александре — речь идет не о нем, а о Николае I; «медные всадники» — это кавалерия, собранная Николаем для подавления восстания, и т. д. Псевдонаучная интерпретация А. Белого, которую он сам считал, по-видимому, новым словом в литературоведении, в изучении русского стиха вообще и «Медного Всадника» в частности, не была принята и не оказала никакого влияния на изучение пушкинской поэмы.

Тридцатые и сороковые годы нашего века, связанные с осуществлением «большого» академического издания сочинений Пушкина (1935—1949), принесли очень существенные достижения в изучении истории текста и создания «Медного Всадника», а также предшествующего ему и связанного с ним неоконченного «Езерского». В ходе подготовки издания были впервые обследованы, прочтены и изданы по принятой для всего издания системе все рукописи обеих поэм, от черновых набросков до последних беловых текстов, что дало твердые основания для их научного изучения и интерпретирования (впрочем, за истекшие 30 лет со времени издания рукописных фондов тексты «Медного Всадника» сравнительно очень мало служили материалом для исследований; исключением являются только работы С. М. Бонди и О. С. Соловьевой). В 1948 г. вышел в свет V том «большого» академического издания, где впервые был установлен дефинитивный текст «Медного Всадника», выражающий подлинную «последнюю авторскую волю»; это стало возможным благодаря находке в Библиотеке им. В. И. Ленина листка со вставкой переработанного Пушкиным текста «мечтаний» Евгения (стихи 143—155), взамен вычеркнутого в писарской копии и опускавшегося всеми издателями отрывка.[40]

В 1939 г., как уже говорилось, после многолетней и очень трудоемкой подготовки вышло в свет замечательное фототипическое издание первой черновой рукописи «Медного Всадника» и набросков «Езерского» (ПД

---

[39] Позднее Д. Д. Благой коренным образом пересмотрел свою теорию и в последних его трудах, посвященных «Медному Всаднику», — в главе о поэме в книге «Мастерство Пушкина» (М., 1955, с. 203—222) и др. — нет уже речи о декабристах и о мифическом смысле поэмы.

[40] См.: Бонди С. М. Новый автограф Пушкина. — Записки Отдела рукописей Всесоюзной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 11, М., 1950, с. 134—146; Измайлов Н. В. Текстологическое изучение поэмы Пушкина «Медный Всадник». — В кн.: Текстология славянских литератур. Л., 1973, с. 119—130.

845, бывш. ЛБ 2374), с транскрипциями и статьями С. М. Бонди.[41] В связи с этим изданием нужно назвать и позднейшую превосходную работу О. С. Соловьевой, опубликованную в 1960 г.[42]

В те же годы — с середины 30-х — в работах о «Медном Всаднике» наметился отход от вульгарно-социологического метода, господствовавшего в литературоведении в предшествующий период, и стало углубляться изучение конкретных вопросов творческой истории, идейно-художественной системы, языка и стиля поэмы. Многие новые исследования были связаны со столетней годовщиной гибели поэта — 10 февраля 1937 г. Здесь нужно назвать такие работы, как раздел о «Медном Всаднике» в биографии Пушкина, написанной Н. Л. Бродским,[43] где поэма рассматривается на широком фоне общественно-политического состояния России 1830-х годов, на основе анализа взглядов Пушкина, Мицкевича и других деятелей на Петра I. Несмотря на некоторые неточности и спорные положения (например, Евгений показан как представитель «трудовой разночинной массы», в котором «злоба закипала против знатных собственников»), многие высказывания Н. Л. Бродского справедливы и ценны (например, утверждение, что Пушкин в своей поэме признал в «диалектике социальной действительности наряду с исторической закономерностью существующего и право на его отрицание»).[44]

На иных позициях стоит автор другой биографии Пушкина, вышедшей в 1939 г., — Л. П. Гроссман,[45] по мнению которого Пушкин «строит исторический образ (Петра I, — *Н. И.*) не на раскрытии противоречий, а лишь на могучей творческой энергии петровского характера. В поэме о Петре „самовластный помещик“ решительно преодолен носителем государственной мудрости, творящим для будущего». С другой стороны, в лице Евгения, другого героя поэмы, «поэт осуждает все одиночные, не связанные с народом и, значит, безнадежные политические выступления». «Слабосильному мятежнику, кончившему безумием, противостоит государственный зодчий, полный великих дум». И далее следует общее заключение: «Беспримерное величие поэмы в ее огромном замысле — изобразить революцию (т. е. деятельность Петра I, — *Н. И.*) как строительство государства».[46]

С таким односторонним пониманием, конечно, нельзя согласиться.

Пушкинский юбилей 1949 г., в связи со 150-летием со дня рождения поэта, и последовавшие за ним пушкинские конференции внесли новое

---

[41] Издание состоит из трех альбомов: 1) фототипии, 2) транскрипции (составлены С. Бонди и Т. Зенгер и литографированы), 3) комментарии (С. М. Бонди). Продолжение издания (предполагалось так же, фототипически, издать все «рабочие тетради» Пушкина) не состоялось.

[42] Соловьева О. С. «Езерский» и «Медный Всадник». История текста. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.—Л., 1960, с. 268—344.

[43] Бродский Н. Л. А. С. Пушкин. Биография. М., 1937, с. 773—788.

[44] Там же, с. 784.

[45] Гроссман Леонид. Пушкин. Изд. 2-е, переработ. М., 1958 (серия «Жизнь замечательных людей»).

[46] Там же, с. 435, 439.

оживление в пушкиноведение, которое продолжалось и в 50-х и 60-х годах. Это оживление отразилось и на изучении «Медного Всадника».

В 50-х годах вышло несколько книг-монографий о Пушкине, где более или менее значительное место уделялось этой поэме. Таковы книги Д. Д. Благого «Мастерство Пушкина» (М., 1955) и А. Л. Слонимского под тем же названием (М., 1955; изд. 2-е — 1963), полезный «Семинарий» по Пушкину, составленный Б. С. Мейлахом и Н. С. Горницкой (Л., 1959; о «Медном Всаднике» — с. 162—165). Интересные наблюдения над поэмой содержатся в книге Г. А. Гуковского «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (М., 1957, с. 394—413). Субъективностью и своеобразием суждений привлекли к себе внимание статьи П. А. Мезенцева «Поэма Пушкина „Медный Всадник“» (Русская литература, 1958, № 2, с. 57—68) и М. Харлапа «О „Медном Всаднике“ Пушкина» (Вопросы литературы, 1961, № 7, с. 81—101). Ответом на обе эти статьи явилось выступление А. М. Гуревича «К спорам о „Медном Всаднике“» (Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1963, № 1 (21), с. 135—139).

В последние годы наиболее крупным трудом, посвященным «Медному Всаднику», явилась глава о нем в книге Г. П. Макогоненко «Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1830—1833)» (Л., 1974, с. 314—372). Эта глава — несомненно одна из лучших работ о поэме в современном пушкиноведении (не говорим о текстологических трудах С. М. Бонди и О. С. Соловьевой). С особым вниманием, объективно и доказательно рассмотрены здесь вопросы о замысле, композиции и сюжете поэмы, об этапах ее изучения, о сущности восстания Евгения против памятника Петра, о гуманизме Пушкина как основе его мировоззрения, наконец, об отношениях Пушкина и Мицкевича, отразившихся в их произведениях.

Поэма Пушкина «Медный Всадник» представляет собою произведение, не имеющее себе равных не только в его творчестве, но и во всей русской поэзии за полтора века ее истории, по художественному совершенству, глубине проблематики, своеобразию замысла и построения. Своеобразие замысла поэмы заключается в сочетании внешней простоты сюжета с глубиной ее историко-философской проблематики. Сюжет основан на судьбе одного из петербургских мелких чиновников, «ничтожного героя», жизнь которого разрушена трагическим событием в истории города — наводнением 1824 г.; отсюда и подзаголовок поэмы — «Петербургская повесть». Что касается историко-философской проблематики, то она определяется образом Петра Первого. Во Вступлении к поэме это живой образ великого исторического деятеля, создателя обновленной России и строителя ее новой столицы, который, стоя «на берегу пустынных волн», глядит вдаль — не только в широкое пространство Невы и ее берегов, но и в даль будущих веков. Вторично, уже через сто лет, Петр является в образе Фальконетова монумента, притом в двух «ликах», двух ипостасях: во время наводнения — как гений-покровитель города, стоящий

В неколебимой вышине
Над возмущенною Невою

и охраняющий свою столицу от гибели; в конце же поэмы — как «мощный властелин судьбы», «чьей волей роковой под морем город основался», как «горделивый истукан» и, наконец, как «грозный царь», чей мгновенный гнев обращает в бегство «ничтожного героя». Этот монументальный образ и дал поэме ее заглавие.

Вследствие беспримерной сжатости поэмы (самой короткой из всех поэм Пушкина) каждое слово, каждый стих ее необычайно весомы и значительны, чем отчасти и объясняется стремление многих авторов искать в ней иносказания, скрытый, вторичный смысл, некую тайну, которую нужно раскрыть. Но из всех подобных гадательных определений имеет действительное значение лишь одно: символичность общего построения поэмы, т. е. двуплановость конкретных образов и положений, которые при всей их реальности заключают в себе широкий и обобщающий историко-философский смысл. Раскрытие этой символики должно опираться на прямое и конкретное содержание образов поэмы, на анализ ее сюжетных линий и ее персонажей. Главных же линий — всего две. Они развиваются сначала независимо одна от другой, потом встречаются, сталкиваются и расходятся. Это линия Петра Первого и линия чиновника Евгения.

Поэма Пушкина начинается Вступлением — изображением того исторического момента, когда в мае 1703 г. в сознании Петра рождается дерзкая, но гениальная мысль об основании нового города, новой столицы, в таком месте, где, казалось бы, никакое строительство не возможно. Но эта мысль оправдывается всем последующим ходом истории преобразованного государства. И к возникшему за какие-нибудь сто лет из этой «тьмы лесов», из «топи блат» новому городу поэт обращается со словами, полными любви и восхищения, несмотря на то, что в других случаях его отношение к Петербургу двойственно и скептично, и он видит в нем порою

Город пышный, город бедный,

характерными чертами которого являются

Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит...[47]

(*Акад.*, III, 124)

Лирическое обращение к городу, «Петра творенью», где повторяется пять раз слово «Люблю» (стихи 43, 44, 59, 67, 75), заканчивается своего рода заклинанием, в котором «град Петров», как символ всего создан-

---

[47] См.: Томашевский Б. В. 1) Петербург в творчестве Пушкина. — В кн.: Пушкинский Петербург. Л., 1949, с. 35—40; 2) Пушкин и Петербург. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. Л.—М., 1960, с. 37—45.

ного царем-реформатором обновленного государства, призывается красоваться и стоять «неколебимо, как Россия». Но это заклинание является уже переходом от чудесной истории «юного града» к недавнему тщетному восстанию «побежденной стихии» — к «ужасной поре», о которой «свежо воспоминанье», т. е. к наводнению 7 ноября 1824 г., составляющему основу сюжета.

Фигура Петра надолго затем исчезает из поэмы, и выступает ее второй персонаж, составляющий антитезу первому, — «ничтожный герой», молодой чиновник Евгений, «прозванье» которого «нам не нужно» — потому, очевидно, что «ныне светом и молвой оно забыто», и сам Евгений, не имеющий никаких индивидуальных черт и ничем не отличающийся от массы таких же петербургских молодых чиновников,

> Живет в Коломне; где-то служит,
> Дичится знатных и не тужит
> Ни о почиющей родне,
> Ни о забытой старине.

На последнее двустишие следует обратить внимание, какого комментаторы обычно ему не уделяют, так же как и на предшествующие стихи, говорящие о том, что хотя ныне «прозвание» Евгения и забыто, но

> ... в минувши времена
> Оно, быть может, и блистало,
> И под пером Карамзина
> В родных преданьях прозвучало.

Евгений — потомок древнего дворянского рода, обедневшего и упавшего, очевидно, уже после Петра и вследствие его реформ. Но это упоминание о древнем роде героя не должно рассматриваться как только реминисценция из оставленного Пушкиным «Езерского»; оно отражает постоянные размышления Пушкина на социальные темы: известно, какое значение придавал поэт исторической роли древних русских дворянских родов, по его мнению глубоко связанных, в противоположность «новой знати» (см. стихотворение «Моя родословная», 1830), с историей России и сохранивших известную независимость взглядов и поведения перед самодержавной властью, что выразилось в движении декабристов (см., например, уже упоминавшуюся выше запись в дневнике Пушкина от 22 декабря 1834 г. о разговоре с вел. кн. Михаилом Павловичем — *Акад.*, XII, 334—335). Известно и то, как отрицательно относился Пушкин к забвению современным русским дворянством своей родовой «старины» — тесной связи своего рода с историей России. Об этом он писал не раз (особенно в период борьбы «Литературной газеты» 1830 г. с Булгариным и Полевым) — в статьях и заметках публицистического характера, в стихах и прозаических набросках конца 20-х—начала 30-х годов («Роман в письмах», повесть «Гости съезжались на дачу» и проч.).

С какой же целью придал Пушкин герою своей «Петербургской повести» такую явно отрицательную черту, как забвение своих предков («почиющей родни») и исторической старины? Очевидно, лишь для того,

чтобы показать возможно более отчетливо и всесторонне его «ничтожность», его принадлежность к безличной, но характерной для Петербурга массе мелких чиновников. Для той же цели он и невесту его, носящую демократическое, или, точнее, мещанское, имя Параши, сделал дочерью бедной вдовы, обитательницей Галерной гавани (даже не Коломны, где жила другая Параша, подлинная «героиня» другой его «петербургской повести» — «Домика в Коломне»). Печать ограниченности мыслей и желаний носят и мечты Евгения в ночь перед наводнением, — ограниченности, смущавшей не раз исследователей «Медного Всадника».[48]

В дальнейшем развитии сюжета поэмы о дворянском происхождении Евгения не упоминается вовсе, почему и попытки объяснить его поведение принадлежностью к «деклассированному дворянству», делавшиеся в 1920-х—начале 1930-х годов, не приводили к плодотворным результатам. Но не считаться с этим исходным пунктом в обрисовке образа Евгения нельзя; чем более униженным представляется он вначале, тем значительнее и выше его перерождение, вплоть до вершины в момент восстания против «гневного царя».

Первая встреча Евгения с Петром — облеченным в бронзу монументом — происходит один на один во время великого народного бедствия, на площади, залитой бушующими волнами, в часы наибольшей ярости наводнения. Но «Кумир с простертою рукою», обращенный спиной к человеку, нашедшему спасение «на звере мраморном верхом», грудью противостоит волнам, неподвижный и уверенный в своей победе над стихией. И бессильная в борьбе с ним мятежная Нева, «насытясь разрушеньем и наглым буйством утомясь», отступает, подобно «свирепой шайке», бегущей из ограбленного села, «добычу на пути роняя».[49]

Но если «Кумир на бронзовом коне» является победителем над стихиями, над мятежной Невою, то, с другой стороны, ему должен противопоставляться в восприятии читателей (хотя прямо об этом в поэме не говорится) «покойный царь» — Александр I, который мог только, сидя на балконе Зимнего дворца, глядеть «в думе, скорбными очами» на «злое бедствие» и беспомощно говорить:

«С божией стихией
Царям не совладеть».

---

[48] См., например: Энгельгардт Б. М. Историзм Пушкина. К вопросу о характере пушкинского объективизма. — В кн.: Пушкинист, вып. II. Под ред. С. А. Венгерова. Пг., 1916, с. 115—154.

[49] Необходимо помнить, что поэма Пушкина создавалась одновременно с завершением и отделкой «Истории Пугачева». Изображение «возмущенной Невы» и последствий ее «возмущения» напоминает изображение последних месяцев крестьянской войны в VIII главе «Истории». Взгляд Пушкина на массовый и стихийный «русский бунт» как на «бессмысленный и беспощадный» под влиянием событий 1831 г. (холерных бунтов, восстаний новгородских и старорусских военных поселений) и изучения «Пугачевщины» вполне определился, но всей своей «Историей» он показывал читателям, первым из которых был Николай I, неизбежность и закономерность крестьянских восстаний до тех пор, пока существует крепостничество.

Этот «властитель слабый и лукавый», как назвал Пушкин Александра I в другом месте — в Десятой главе «Евгения Онегина» (*Акад.*, VI, 521), представлял несомненно разительную антитезу тому «кумиру», которого поэт называл «мощным властелином судьбы».[50]

Несомненно, однако, и то, что в непосредственно следующем после рассказа об Александре I эпизоде Евгений, нашедший спасение от волн «на звере мраморном верхом», именно здесь является нам в новом качестве — Человеком в высшем смысле слова, который «страшился, бедный, не за себя» и все духовные силы которого направлены были к одной точке — к ветхому домику в далекой Галерной гавани, где жили его Параша с матерью. И тут впервые ему является мысль о несправедливости мира, трагический и горестный вопрос:

...иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?...

И впервые же этот страшный вопрос сопоставляется, нужно думать, в его сознании с образом «Кумира на бронзовом коне», который «обращен к нему спиною в неколебимой вышине» и вполне равнодушен к бедствиям людей, погибающих в созданном его «роковой волей» городе, которому, однако, пока он, «кумир», гений-покровитель, стоит, не дано погибнуть.

На этом заканчивается Первая часть поэмы: город устоял, и волны, одержав временную победу, отступают. И тут Евгений совершает героический поступок, какого, казалось бы, нельзя было и ожидать от него, — делает второй шаг на пути от безличного чиновника к Человеку: переправляется в утлой лодке «чрез волны страшные», грозящие дерзким пловцам гибелью, на Васильевский остров, где устремляется в Галерную гавань, к ветхому домику, жилищу его невесты.

Описание отчаянного бега Евгения «знакомой улицей» «в места знакомые», которых он «узнать не может», так они изувечены наводнением, обращены в «поле боевое», где тела валяются как после сражения, — это описание принадлежит к самым динамичным и образным во всей поэзии Пушкина. Необычайно выразителен при всей своей простоте образ судьбы, которая ждет его

с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом.

---

[50] Поведение Александра в часы наводнения могло также сопоставляться с действиями Петра I в рассказе И. И. Голикова, возможно, известном уже тогда Пушкину. Согласно этому рассказу, 5 ноября 1724 г. (т. е. ровно за сто лет до наводнения, описанного в поэме) Петр, будучи на Лахте в бурную погоду и увидев, что шедший из Кронштадта бот, наполненный солдатами и матросами, сел на мель и людям грозит гибель, поехал сам на помощь, выскочил из шлюпки и «шел по пояс в воде, помогая тащить судно»; все это безусловно усилило его болезнь и ускорило его смерть (см.: *Акад.*, X, 285).

Следующие за этим поиски на пустом месте, «где их дом стоит», недоуменный и трагический вопрос «Где же дом?» разрешаются одним, но полным глубокого значения словом:

Захохотал.

в котором со всею силою выражено охватившее Евгения безумие.

После этого надолго, почти на целый год (до времени, когда «дни лета клонились к осени», т. е. примерно до сентября 1825 г.), Евгений — «бедный, бедный мой Евгений», — потеряв человеческий облик, становится

ни зверь, ни человек,
Ни то ни се, ни житель света,
Ни призрак мертвый...

Из этого нечеловеческого состояния его выводит одно, казалось бы незначащее, обстоятельство: непроизвольное возвращение на то же место, где в день наводнения он провел мучительные часы «на звере мраморном верхом», и, главное, на то место, где, как и тогда,

прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.

Здесь происходит вторая встреча Евгения — снова один на один — с тем,

Чьей волей роковой
Под морем город основался.

Этой встречи достаточно, чтобы у безумца, который «вспомнил живо» «прошлый ужас», на несколько мгновений прояснилось сознание и он вновь обрел и способность рассуждать, и враждебное чувство, желание возмездия тому, на кого он еще в первую встречу, в день наводнения, стал смотреть как на виновника бедствия — равнодушного, стоящего спиною к нему и тем самым ко всему народу.

Восстание против «кумира» представляет собою высшую точку человеческого самосознания Евгения, кульминацию всей поэмы, момент, к которому как бы стянуты все ее сюжетные нити. На огромную важность этого момента обратил внимание еще Белинский, который, как мы указывали выше, знал, вероятно, о существовании в рукописи отсутствовавших в печати слов, обращенных Евгением к монументу и содержащих угрозу грядущего возмездия:

Добро, строитель чудотворный!
Ужо тебе! —

Со времени Белинского и после того, как эти слова стали известны и опубликованы, истолкование их тем или иным критиком определяло общее понимание им пушкинской поэмы. Без этих слов «Медный Всадник» терял смысл, и понятно, почему Пушкин, убедившись в невозможности вы-

полнить волю царя-цензора, т. е. изъять их, отказался от издания изуродованного произведения.

Но столь же большое и глубокое значение имеет и изображение антагониста Евгения — того «державца полумира», против которого восстал безумный чиновник, ставший Человеком в высшем смысле этого слова. Нигде в творчестве Пушкина Петр I не предстает в такой резко выраженной «двуликости», как в этой сцене у памятника. Сначала это в подлинном смысле «строитель чудотворный», создатель обновленной России, приводящий поэта (а не Евгения) в священный трепет:

Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!

Раскрытие символики, вложенной Фальконетом в его замечательное творение, дано Пушкиным в этих немногих стихах с огромной художественной и историко-философской содержательностью: глубокая дума на челе и скрытая в нем сила обличают творческую волю всадника, «властелина судьбы», а неразрывная связь всадника с несущим его огненным конем, управляемым «железной уздой», являет собою спасение России, ее государственности и ее будущего, на краю бездны, в которую она готова была обрушиться... «Властелин судьбы» выполнил свою миссию, однако же будущее страны, будущее его дела — все это неизвестно и вызывает у поэта обращенный к «гордому коню» тревожный вопрос, на который ни Пушкин, ни кто-либо из его современников не мог дать ответа:

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Все вместе — высшая точка, достигнутая поэтом в изображении и истолковании образа, давшего название поэме «Медный Всадник».

Но вот Евгений бросает свой вызов, свою угрозу. В мгновение «грозный царь», двуликий и противоречивый, о двойственности которого Пушкин не раз писал еще с давних пор, поворачивает к восставшему против него Человеку свое «возгоревшее гневом» лицо и, поражая его страхом, обращает в бегство и преследует всю ночь (является ли это лишь бредом безумца или реальность смыкается с фантастикой — безразлично).[51]

Важно для нас понять, почему так разгневался на Евгения и так беспощадно преследовал его Медный Всадник, ополчившийся против «ничтожного» одинокого безумца, ни в чем, казалось бы, ему не опасного? Дело, очевидно, в том, что Евгений здесь — Человек, в высшем значении этого слова, представляющий многих и многих таких же «ничтожных героев», погибших или пострадавших от гениальной, но безжалостной мысли «строителя». Восстав против «мощного властелина судьбы», ничтожный безумец сравнялся с ним. А «горделивый истукан» почувствовал

[51] См. статью Д. Гранина «Два лика. (Заметки писателя)» в «Новом мире» (1968, № 3, с. 214—224).

силу своего противника — не физическую, разумеется, но духовную, и тем более опасную. И возгоревший гневом «грозный царь» — это, по существу, уже не великий созидатель обновленного Русского государства, а «нетерпеливый самовластный помещик», как писал о другой стороне деятельности Петра его историк (*Акад.*, X, 256).

Убежденный сторонник государственного развития России, заложенного творческой деятельностью того,

Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля,

(*Акад.*, III, с. 263)

Пушкин был и столь же убежденным противником деспотических и бесчеловечных форм русского самодержавия, установленных тем же Петром Великим. Поэтому в его глазах исторически закономерно восстание Евгения (пусть и бессильное), но так же закономерен гнев против восставшего со стороны «державца полумира», причем этот гнев принижает его, открывая его второй лик — лик деспота. Вопрос о том, кто из них прав, поставленный еще Белинским и решавшийся после него в пользу то одного, то другого — государственности или человечности, в исторической перспективе требовал и требует решения в пользу последней; но в пушкинское время государственность настолько подавляла все человеческое, что Пушкин на поставленный в его поэме вопрос не мог найти ответа. На его глазах потерпели поражение и погибли поднявшие восстание лучшие люди страны — декабристы. О них поэт не мог прямо писать, он мог только призывать к милости. Новых сил, способных восстановить дело декабристов, он в современном обществе не видел и не верил в возможность их появления в обозримом будущем. Через три года после создания «Медного Всадника» он напомнил о «падших» в стихотворениях «Пир Петра Первого» и «Я памятник себе воздвиг...»; почти одновременно он написал статью об одиночном борце — Радищеве (*Акад.*, XII, 30—36), выступление которого против крепостничества и самодержавия в какой-то мере могло быть сопоставлено с безумным выпадом одинокого человека, Евгения, против «исполина».

В годы, когда Пушкин творил «Медного Всадника», проблема, издавна поставленная «ходом вещей», не могла быть решена ни самодержавным Востоком, ни буржуазным Западом. Но эту проблему образно воплотил в своем творчестве великий поэт, и вечно будет жить, вызывать у нас новые думы и чувства, поражать и пленять своим художественным совершенством его гениальное творение — этот, пользуясь словами его творца, «предмет наших изучений и восторгов» (*Акад.*, XII, 76), — «Петербургская повесть» «Медный Всадник».

ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ ПОЭМЫ

Предисловие. «Известие, составленное В. Н. Берхом» — имеется в виду статья в книге В. Н. Берха «Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в Санктпетербурге» (см. настоящее издание, с. 105—109).

Стихи 1—20. Ср. начало статьи К. Н. Батюшкова «Прогулка в Академию художеств», от слов: «...что было на этом месте до построения Петербурга?..» до слов: «Сказал — и Петербург возник из дикого болота» (см. настоящее издание, с. 130—131).

Стихи 15—16. См. 1-е примечание Пушкина к поэме. Франческо Альгаротти (Algarotti, 1712—1764) — итальянский писатель, близкий к просветителям-энциклопедистам. В 1738—1739 гг. он побывал в России, результатом чего явилась книга очерков «Письма о России» («Lettere sulla Russia», во французском переводе «Lettres sur la Russie»), в которой находится фраза, приведенная Пушкиным в стихе 16. Возможно, однако, что Пушкин не был знаком с этим сочинением, так как в примечании он указывает источник глухо: «Альгаротти где-то сказал...». В таком случае он мог заимствовать цитату из книги, находившейся в его библиотеке: Tableau général de la Russie moderne et situation politique de cet Empire au commencement du XIX-e siècle. Par V. C. ***. Continuateur de l'Abrégé de l'Histoire générale des Voyages. Paris, An X—1802» (см.: Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина. — В кн.: Пушкин и его современники, вып. IX—X. СПб., 1910, с. 183, № 698). Слова Альгаротти служат эпиграфом к первому тому этой книги, но текст эпиграфа имеет отличия от текста примечания Пушкина: «StPétersbourg est la fenêtre par laquelle la Russie regarde continuellement l'Europe» («Санкт-Петербург — это окно, через которое Россия смотрит постоянно на Европу»). Знакомство Пушкина с сентенцией Альгаротти произошло задолго до создания «Медного Всадника»: об этом свидетельствует то, что те же слова итальянского писателя записаны поэтом впервые — в несколько иной редакции и, очевидно, по памяти — в тетрадке, содержащей тексты IV и V глав «Евгения Онегина» (ПД 935, л. 24 об. — см.: *Рукописи Пушкина, 1964,* с. 23). Запись датируется 1826—сентябрем 1827 г. и читается: «P‹eters›b‹ourg› est la fenêtre par où la Russie regarde en Europe» («П‹етер›б‹ург› — это окно, через которое Россия смотрит в Европу»). Ср.: *Рукою Пушкина,* с. 505—506.

Стихи 39—42. Об упадке Москвы после основания Петром I Петербурга (16 мая 1703 г.) Пушкин писал в статье, начатой вскоре после его возвращения из Болдина (в декабре 1833 г.) и называемой условно «Путешествие из Москвы в Петербург» (XI, 238—242 — черновая редакция, 245—248 — беловая редакция). Многие мысли этой статьи выражены в строфах неоконченной поэмы «Езерский». Первой в России «порфироносной вдовой» явилась императрица Мария Федоровна, вдова Павла I; она не имела прав на престол в силу изданного Павлом незадолго до смерти закона о престолонаследии, установившего наследование престола исключительно по мужской линии: Павел опасался повторения переворота 27 июня 1762 г., когда после убийства его отца, Петра III, на престол была возведена его мать, Екатерина II. Такой же «порфироносной вдовой» стала императрица Елизавета Алексеевна после смерти Александра I (19 ноября 1825 г.). Ко времени создания «Медного Всадника»

обеих вдов уже не было в живых, но Николай I нашел, по-видимому, неприличным напоминание о таких «семейных» делах царской фамилии и перечеркнул все четверостишие.

Стих 58. См. 2-е примечание Пушкина к поэме. «Стихи кн. Вяземского к графине З***» — стихотворение кн. П. А. Вяземского «Разговор 7 апреля 1832 года», посвященное графине Е. М. Завадовской (урожд. Влодек, 1807—1874).

Стих 68. «Потешные Марсовы поля», т. е. Марсово поле (раньше носившее названия «Потешное поле» и «Царицын луг») — четвероугольный плац в Петербурге, где происходили военные парады. Один из таких парадов (бывший 6 октября 1831 г.) изображен на картине Г. Г. Чернецова (1832) «Парад на Царицыном лугу», где на переднем плане среди публики стоят Пушкин, Жуковский, Крылов и Гнедич.

Стих 73. «Медные шапки» были присвоены солдатам и офицерам лейб-гвардии Павловского полка; отверстия на них от неприятельских пуль являлись почетным отличием.

Стих 140. Оба моста через Большую Неву — Исаакиевский, построенный в 1727 г., в направлении от Исаакиевской площади (позднее Сенатской, теперь площади Декабристов) к набережной Васильевского острова, и Троицкий (теперь Кировский), от Дворцовой набережной к Петербургской стороне, — были «наплавные», т. е. положенные на плашкоуты (понтоны). Во время весеннего и осеннего ледоходов, а также при подъемах воды в Неве мосты целиком отводились к берегу, и сообщение прерывалось, что испытал и сам Пушкин при отъезде из Петербурга 17 августа 1833 г. (*Акад.*, XV, 71—72; *Письма,* т. III, с. 96, 597—598).

Стих 156. См. 3-е примечание Пушкина к поэме. Стихотворение А. Мицкевича «Oleszkiewicz» («Олешкевич»), переписанное Пушкиным, см. в издании: *Рукою Пушкина*, с. 535—551 (см. настоящее издание, с. 139—142).

Стихи 188—189. Тритон — морское божество греческой мифологии, получеловек-полузверь с дельфиньим хвостом вместо ног, изображавшийся нередко погруженным по пояс в море. С греческим именем Тритона связана и греческая форма имени города — Петрополь, примененная Пушкиным.

Стихи 220—225 и сл. «Новый дом» на углу «площади Петровой» — дом кн. А. Я. Лобанова-Ростовского, построенный по проекту Монферрана (строителя Исаакиевского собора) в 1817—1819 гг. Дом существует и теперь в почти не измененном виде, занимая треугольник, образованный Исаакиевской площадью, проспектом Майорова (бывш. Вознесенским) и Адмиралтейским проспектом. На последний выходит парадное крыльцо с двумя мраморными «сторожевыми» львами, работы скульптора П. Трискорни. Рассказ о «каком-то Яковлеве», который спасся от гибели на одном из львов у дома Лобанова-Ростовского, где он «просидел все время наводнения», содержится в «Записках. (Семейной хронике)» А. В. Кочубея (см. настоящее издание, с. 123). В настоящее время с этого крыльца памятник Петра I не виден за разросшимися деревьями, посаженными в конце XIX в. вдоль фасадов Адмиралтейства и на площади Декабристов (бывш. Петровской, или Сенатской). Но в 20-х годах XIX в. площадь вокруг памятника была совершенно пуста (на ней по обе стороны памятника стояли 14 декабря 1825 г. восставшие полки), и с высоты мраморных львов на крыльце все пространство, вплоть до Васильевского острова, просматривалось свободно.

Стихи 255—259. В заключении Первой части поэмы снова появляется Петр Великий, но уже в образе посвященного ему памятника — «Медного Всадника» или, как он назван здесь, «Кумира на бронзовом коне», с которым впервые встречается другой ее герой — бедный чиновник Евгений. Памятник был сооружен при Екатерине II, в 1766—1782 гг., считая от приезда в Петербург его будущего создателя, французского скульптора Этьена-Мориса Фальконé (или, по старому произношению, Фальконета — Falconet, 1716—1791), до дня его открытия — 7 августа 1782 г. Голова Петра была исполнена по проекту 20-летней художницы, ученицы Фальконе, Мари-Анны Колло. Скала, служащая постаментом коню и всаднику, была найдена в 1768 г. в лесу близ Лахты (к северу от города, на некотором расстоянии от берега залива) крестьянином Семеном Вишняковым и с величайшим трудом перевезена на место, назначенное для памятника. Но Фальконе не дождался окончания

работ и открытия памятника. К осени 1778 г. Екатерина II к нему значительно охладела (что видно из прекращения их многолетней переписки); мелочная опека со стороны официального руководителя работ, придворного сановника И. И. Бецкого, и его нескончаемые придирки настолько затруднили положение ваятеля, что, написав императрице прощальное, очень откровенное письмо, он в сентябре 1778 г. уехал в Париж, и работы пришлось заканчивать его помощнику, архитектору Ю. М. Фельтену. Памятник стал художественным и идейным центром новой столицы, выражением и символом деятельности ее основателя, преобразователя России — Петра Первого. Памятнику, созданному Фальконе, посвящена большая историко-художественная и документальная литература на разных языках, начиная с сочинений самого скульптора, изданных им в Лозанне в 1781 г. (позже издание было повторено еще дважды). В 1876 г. была опубликована в XVII томе «Сборника имп. Русского исторического общества» переписка Фальконе с Екатериной II — драгоценный источник для истории создания памятника (см. ее изложение: Русский архив, 1877, кн. II, № 8, с. 410—425). Не говоря о других многочисленных исследованиях, статьях и публикациях, следует назвать две последние вышедшие в Советском Союзе монографии: книгу Д. Е. Аркина «Медный Всадник. Памятник Петру I в Ленинграде» (Л.—М., 1958), иллюстрированную многочисленными снимками с памятника с разных точек зрения и в разных ракурсах и деталях, где дается история создания памятника и анализ его идейно-художественной системы, и книгу профессора-искусствоведа А. М. Кагановича «„Медный Всадник". История создания монумента» (Л., 1975) — монографию, основанную на широком изучении печатной литературы и архивных материалов. Последняя монография — наиболее серьезное и полное исследование по истории создания памятника, вышедшее на русском языке; ряд популярных изданий, посвященных памятнику, не имеет самостоятельного значения, исключая статью Н. Коваленской «„Медный всадник" Фальконе», содержащую сопоставление памятника с восприятием и изображением его Пушкиным в поэме (см.: Пушкин. Сб. статей под ред. проф. А. Еголина. М., 1941, с. 243—259).

Стихи 344—347. Граф Хвостов Дмитрий Иванович (1756—1835) — муж племянницы Суворова, доставившего ему титул сардинского графа; член Беседы любителей русского слова, сенатор, бездарный стихотворец-графоман, сочинявший тяжеловесные, трудно читаемые и часто лишенные смысла стихи в архаическом роде, бывшие постоянно предметом высмеивания для поэтов молодого поколения, членов «Арзамаса» и самого Пушкина. Последний посвятил Хвостову несколько эпиграмм и пародийную «Оду его сиятельству графу Д. И. Хвостову» (*Акад.*, II, 387). Стихотворение Хвостова, посвященное наводнению, — «Послание к N. N. О наводнении Петрополя, бывшем 1824 года 7 ноября» — напечатано впервые в «Невском альманахе на 1825 год», цензурное разрешение которого датируется 4 декабря 1824 г. Таким образом, оно было написано Хвостовым в ноябре, через несколько дней после наводнения. Начав с напыщенного обращения к лире:

О златострунная деяний знатных лира!
Воспламеня певца безвестного средь мира,
Гласи из уст его правдивую ты речь,

автор затем переходит к описанию самого наводнения, которое в дальнейшем не раз являлось предметом насмешек. Вот как, например, описывается начало наводнения:

Вдруг море челюсти несытые открыло
И быструю Неву, казалось, окрилило;
Вода течет, бежит, как жадный в стадо волк,
Ведя с собою чад ожесточенных полк,
И с ревом яростным спеша губить оплоты,
По грозным мчит хребтам и лодки и элботы...

Такими неуклюжими, многословными и тяжелыми стихами написано все «Послание» Хвостова (132 строки, с приложением трех страниц «Примечаний автора»),

Введение имени Хвостова с иронически-хвалебным отзывом о его «бессмертных стихах» в трагическую ткань «Медного Всадника» вызывало не раз недоумение исследователей поэмы, видевших в этом или недосмотр, или неожиданную и даже неуместную шутку Пушкина. Так, Белинский в 11-й статье о «Сочинениях Александра Пушкина» писал о «Медном Всаднике»: «Некоторые места, как, например, упоминание о графе Хвостове, показывают, что по этой поэме еще не был проведен окончательно резец художника...» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1955, с. 548). Но упоминание о Хвостове проходит через все рукописи поэмы, начиная со второй тетради основного черновика (ПД 839, л. 50; *Акад.*, V, 472—473), где он сначала назван «Графов». В. Я. Брюсов, отмечая сжатость и широту замысла поэмы, писал: «Пушкин нашел возможным даже позволить себе, как роскошь, несколько шуток, например упоминание о графе Хвостове» (Брюсов Валерий. Мой Пушкин. Статьи, исследования, наблюдения. М.—Л., 1929, с. 89). Неясно, какие «несколько шуток» имел в виду исследователь. Мы знаем, что, переписывая поэму, Пушкин в окончательном тексте вычеркнул комический эпизод с сенатором графом Толстым, а выражение «И страх и смех!», бывшее в первой (Болдинской) беловой рукописи, заменил словами «Осада! приступ!», переделав два стиха (190, 191). Дело обстоит сложнее и серьезнее. Граф Хвостов в представлении Пушкина и его друзей был не просто комической фигурой, плохим, бездарным и заживо забытым стихоплетом, — он был противоположностью, отрицанием поэзии, воплощением антипоэтической пошлости, и это представление особенно усиливалось в трагические моменты жизни. Так, после смерти Д. В. Веневитинова А. А. Дельвиг писал Пушкину (21 марта 1827 г.): «В день его смерти я встретился с Хвостовым и чуть было не разругал его, зачем он живет. В самом деле, как смерть неразборчива или жадна к хорошему» (*Акад.*, XIII, 325). Позднее, во время холерной эпидемии летом 1831 г., распространился слух о смерти Хвостова (*Акад.*, XIV, 198), оказавшийся ложным; об этом Пушкин сообщил Плетневу в письме от 3 августа 1831 г. из Царского Села: «С душевным прискорбием узнал я, что Хвостов жив. Посреди стольких гробов, стольких ранних или бесценных жертв Хвостов торчит каким-то кукишем похабным. Перечитывал я на днях письма Дельвига; в одном из них пишет он мне о смерти Веневитинова. Бедный наш Дельвиг! Хвостов и его пережил. Вспомни мое пророческое слово: Хвостов и меня переживет. Но в таком случае, именем нашей дружбы, заклинаю тебя его зарезать — хоть эпиграммой» (*Акад.*, XIV, 206). Ту же роль — резкого и оскорбительного противоречия окружающей трагедии — играет Хвостов в «Медном Всаднике». Это с несомненностью доказывается тем контекстом, в каком помещено в поэме упоминание о его «бессмертных стихах». За трагической кульминацией в судьбе Евгения, вызванной наводнением и выраженной в одном слове — «Захохотал», идет новая тема — вид города на другой день после «несчастья», когда все уже вошло «в порядок прежний». «Порядок» заключается в том, что по освобожденным, прибранным улицам «с своим бесчувствием холодным» ходит народ; чиновники спешат на службу; торгаши подсчитывают убытки, чтобы их «на ближнем выместить»; с дворов свозят лодки — те самые «элботы», о которых писал Хвостов. Все это описание находится в явном противоречии с тем, что писали в тогдашних журналах о всеобщем порыве милосердия, о помощи друг другу жителей, о благодеяниях правительства и частных лиц. Все трагическое, чем являлась и переправа Евгения «чрез волны страшные», и картина разрушений, и гибель Параши с ее матерью, уступило место внешнему «порядку», т. е. житейской пошлости, а высшим выражением этой пошлости был всегда в глазах Пушкина граф Хвостов. Таков, по нашему убеждению, глубокий смысл несколько неожиданного появления Хвостова с его стихами в поэме Пушкина.

Стихи 379—380 и сл. Описание мрачного осеннего вечера, в который проснулся спавший «у Невской пристани» безумный Евгений, приводит к вопросу о том, когда происходит столкновение Евгения с «кумиром на бронзовом коне». Можно думать, что приближалась, но еще не наступила, первая годовщина наводнения 7 ноября, т. е. события происходят в сентябре—октябре 1825 г., за два—три месяца до 14 декабря. Это соображение нужно иметь в виду при суждении о возможном

отражении в пушкинской поэме восстания декабристов, происходившего через год с небольшим после наводнения и на том же месте, где Евгений в конце Первой части с высоты мраморного льва наблюдал наводнение, а почти год спустя бросил свой вызов «грозному царю».

Стихи 414—423. См. 5-е примечание Пушкина к поэме. Описание памятника содержится в стихотворении Мицкевича «Pomnik Piotra Wielkiego» («Памятник Петра Великого»), входящем в «Ustęp» («Приложение») к III части поэмы «Dziady» («Предки») (см. настоящее издание, с. 136—148). Что касается стихотворения В. Г. Рубана (1742—1795), третьестепенного стихотворца екатерининского времени, то оно написано по случаю окончания труднейшей задачи — доставки «Гром-камня» на место сооружения монумента в 1770 г. Стихотворение, озаглавленное «Надпись к камню, назначенному для подножия статуи Петра Великого», состоит всего из восьми стихов:

Колосс Родийский, днесь смири свой гордый вид!
И нильски здания высоких пирамид,
Престаньте более считаться чудесами!
Вы смертных бренными соделаны руками.
Нерукотворная здесь Росская гора,
Вняв гласу божию из уст Екатерины,
Прешла во град Петров чрез Невские пучины
И пала под стопы Великого Петра!

Эти стихи отразились отчасти в стихотворении Мицкевича «Памятник Петра Великого». Мицкевич говорит об этом в своих «Объяснениях» к циклу, посвященному изображению России и ее столицы — Петербурга. По поводу стиха «I w mieście pada na wznak przed carową», т. е. «‹Глыба гранита› падает в городе навзничь перед царицей» (см. *Рукою Пушкина*, с. 544 (подлинник Мицкевича), 549 (перевод Н. К. Гудзия)) польский поэт дает такое объяснение: «Этот стих переведен из одного русского поэта, имени которого я не помню». Пушкин, очевидно, хорошо помнил имя Рубана и назвал его в своем примечании к «Медному Всаднику», тем самым еще раз указывая читателям на Мицкевича — поэта-друга, с которым он вступил в спор о понимании личности и деятельности Петра I. См.: Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...». Л., 1967, с. 57—58.

Стихи 464—481. Изображая «остров малый на взморье», поэт, хорошо знавший окраины столицы, основанной «под морем», имел в виду один из песчаных безымянных островков, какими были, например, пять островков, лежавших в устье Малой Невы, к западу от острова Голодая, и нанесенных на план Петербурга, приложенный к книге С. Аллера «Описание наводнения, бывшего в Санктпетербурге 7 числа ноября 1824 года» (СПб., 1826). Эти безымянные и пустынные островки слились впоследствии в один такой же пустынный и болотистый остров, получивший название «Вольный» (см. план Петербурга 1914 г., изд. А. С. Суворина). Но это, конечно, не обширный, лесистый тогда остров Голодай (теперь о. Декабристов), отделенный от Васильевского острова лишь узким протоком — речкой Смоленкой, как думают некоторые современные авторы. См.: Ахматова А. А. Пушкин и Невское взморье. — Прометей, т. X, 1974, с. 221; ср. замечания А. Тархова в его — в общем очень спорной — статье «Повесть о петербургском Иове» (Наука и религия, 1977, № 2, с. 64). На этот «остров малый» наводнение 7 ноября 1824 г., «играя, занесло домишко ветхий» — очевидно, именно тот домик, в котором жили в момент наводнения вдова и ее дочь и у порога которого теперь нашли «хладный труп» безумного Евгения. И эта смерть героя на пороге дома, где жила и погибла его невеста, эта близость их конечных судеб вносит последний — не примиряющий, но возвышающий — акцент в его образ и достойно завершает «Петербургскую повесть» Пушкина.

Б. Л. КАНДЕЛЬ

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕВОДОВ ПОЭМЫ «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» НА ЯЗЫКИ НАРОДОВ СССР И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Указатель составлен на основе фондов Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский Дом), Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина и Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы. Учтены также материалы каталогов крупнейших зарубежных библиотек (Британского музея, Национальной библиотеки в Париже, Библиотеки Конгресса в Вашингтоне), специальных указателей, посвященных переводам произведений русских писателей и исследований о произведениях Пушкина в литературах народов СССР и в иностранных литературах.

Материалы расположены в алфавите языков, в их пределах — в хронологии переводов; переиздания одного и того же перевода собраны под первым его описанием.

Описания переводов поэмы на языки народов СССР и на восточные языки проверены сотрудниками Отдела литературы на языках народов СССР и Отдела литературы на языках стран Азии и Африки Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Составитель выражает им за это благодарность.

ПЕРЕВОДЫ НА ЯЗЫКИ НАРОДОВ СССР

АВАРСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. Р. Гамзатов. — В кн.: Пушкин А. С. Поэмы. Махачкала, Дагтиз, 1949, с. 71—89.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. (Петербургская повесть). Пер. А. Джавад. Баку, Азернешр, 1937. 22 с.

То же. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 1. Баку, 1937, с. 82—96.

Медный всадник. Пер. М. Рзагулузаде. — В кн.: Пушкин А. С. Сочинения. В 6-ти т. Т. 2. Стихи 1826—1836. Сказки. Поэмы. Баку, Азернешр, 1951, с. 523—535.

АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Отрывок из поэмы. Вступление. [Петр Великий и Петербург]. Пер. А. Туманяна. — «Тараз-иллюстрацион», Тифлис, 1903, № 17, с. 169.

То же. — «Ахбюр», Тифлис, 1912, № 2, с. 59—60.

Медный всадник. Поэма. Пер. А. Б. [Псевд.]. — «Советакан граканутюн ев арвест», 1942, № 9—10, с. 46—50.

Медный всадник. Ереван, Айпетрат, 1946. 19 с.
Переводчик не указан.
Медный всадник. Пер. С. Багдасаряна. — В кн.: Пушкин А. С. Сочинения. В 5-ти т. Т. 2. Поэмы и сказки. Ереван, Айпетрат, 1955, с. 257—273.

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. М. Баимов. — «Октэбр», Уфа, 1937, № 2, с. 39—46.
То же. Уфа, Башгосиздат, 1937. 26 с.
Медный всадник. Пер. Н. Наджми. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные произведения. Уфа, Башгосиздат, 1949, с. 138—154.

БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК

Медны коннік. (Пецярбургская аповесць). Пер. Я. Купалы. — «Полымя рэволюцыі», Менск, 1937, № 6, с. 35—45.
То же. — Менск, Дзярж. выд. Беларусі. Мастацкая литаратура, 1937. 31 с.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Выбраныя творы. Мінск, Дзярж. выд. БССР, 1949, с. 53—64.
То же. — В кн.: Купала Я. Збор твораў. Т. 5. Паэмы. Мінск, 1954, с. 208—220.

ГРУЗИНСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Отрывок из «Вступления». Пер. В. Гаприндашвили. — «Огонек», 1937, № 2—3, с. 14.
Факсимиле рукописи перевода.
Медный всадник. Пер. В. Гаприндашвили. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные сочинения. Т. 1. Тбилиси, Госиздат Грузии, 1937, с. 210—222.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Сочинения. Тбилиси, «Федерация», 1938, с. 27—31.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные сочинения. В 4-х т. Т. 2. Тбилиси, Госиздат Грузии, 1949, с. 117—131.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные произведения. Тбилиси, «Сабчота Сакартвело», 1975, с. 283—296.

ЕВРЕЙСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. М. Хащеватский. М., «Дер Эмес», 1937. 50 с.

КАБАРДИНСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. Б. Куашев. — В кн.: Пушкин А. С. Избранное. Нальчик, Кабард. гос. изд., 1949, с. 35—52.

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. М. Давлетбаев. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 1. Алма-Ата, Казах. изд. худож. лит., 1936, с. 363—379.
Медный всадник. Пер. Г. Орманов. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные произведения. Алма-Ата, Казах. ОГИЗ, 1949, с. 284—298.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Сочинения. В 4-х т. Т. 2. Поэмы. Алма-Ата, Казгослитиздат, 1953, с. 307—327.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Избранное. В 2-х т. Т. 1. Стихи и поэмы. Алма-Ата, «Жазуши», 1975, с. 351—366.
Медный всадник. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные произведения. Алма-Ата, изд. журн. «Новая жизнь», 1951, с. 248—264.
Переводчик не указан.

КАЛМЫЦКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. Б. Дорджиев. — В кн.: Пушкин А. С. Медный всадник. Полтава. Цыганы. Элиста, Калмгосиздат, 1961, с. 3—20.

КИРГИЗСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. А. Токтомушева. — В кн.: Пушкин А. С. Стихи, поэмы и драмы. Фрунзе, Киргизгосиздат, 1950, с. 67—85.

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. (Отрывок). Пер. С. Караваев и Н. Попов. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные стихотворения. Кудымкар, Комипермгиз, 1939, с. 22—25.

ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. Я. Плаудис. Рига, Латгосиздат, 1946. 46 с.
То же. — Рига, Латгосиздат, 1949. 46 с.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Собрание сочинений. В 5-ти т. Т. 3. Рига, «Лиесма», 1968, с. 369—389.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Избранное. Рига. Латгосиздат, 1968, с. 262—274.

ЛИТОВСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. Б. Пранскус-Жалионис. — «Раудонасис артояс», Вильнюс, 1937, 10 февр., № 8; 14 февр., № 9.
То же. — «Пергале», Вильнюс, 1949, № 6, с. 3—13.
Медный всадник. [Отрывки]. Пер. А. Венцлова. — «Тиеса», Вильнюс, 1949, 6 апр., № 80.
Медный всадник. Пер. А. Венцлова. — В кн.: Пушкинская лира. 1799—1949. Вильнюс, Гос. изд. худож. лит., 1949, с. 137—153.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Сочинения. В 5-ти т. Т. 2. Вильнюс, Гослитиздат ЛитССР, 1955, с. 233—252.

МАРИЙСКИЙ ЛУГОВО-ВОСТОЧНЫЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. С. Чавайн и И. Содорон. М., Гослитиздат, 1937. 22 с.
Медный всадник. Пер. И. Стрельников. — В кн.: Пушкин А. С. Стихи и поэмы. Йошкар-ола, Маргиз, 1949, с. 120—132.

МАРИЙСКИЙ ГОРНЫЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. А. Канюшков. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные сочинения. Козмодемьянск, Горно-Марийск. филиал Маргосиздата, 1949, с. 36—48.

МОЛДАВСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. Г. Менюк. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные сочинения. Кишинев, Гос. изд. Молдавии, 1949, с. 39—44.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Полтава. Медный всадник. Кишинев, Молдавгосиздат, 1951, с. 49—63.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Избранное. Т. 2. Кишинев, Молдавгосиздат, 1961, с. 242—255.

МОРДОВСКИЙ — ЭРЗЯ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. А. Тягушев. Саранск, Мордгиз, 1937. 24 с.
Медный всадник. Пер. П. Кириллов. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные сочинения. Саранск, Морд. гос. изд., 1949, с. 41—54.

ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. Х. Ардасенов. — В кн.: Пушкин А. С. Медный всадник. Цыганы. Орджоникидзе, Севосиздат, 1940, с. 3—18.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Произведения. Поэзия. Дзауджикау, Гос. изд. Северо-Осетин. АССР, 1949, с. 62—78.

Медный всадник. Пер. Гафез. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные произведения. [Цхинвали], Госиздат Юго-Осетии, 1949, с. 151—164.

ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. А. Лахути. — В кн.: Пушкин А. С. Избранное. [Душанбе], Таджикгосиздат, 1947, с. 49—70.

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. Н. Арсланов. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные произведения. Казань, Татгосиздат, 1949, с. 76—88.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные произведения. В 2-х т. Т. 1. Казань, Таткнигоиздат, 1954, с. 298—311.

ТУВИНСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. И. Сюрюн-оол. — В кн.: Пушкин А. С. Поэмы. Кызыл, Тувкнигоиздат, 1954, с. 5—22.

ТУРКМЕНСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. К. Сейтлиев. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные произведения. Ашхабад, Туркменгосиздат, 1949, с. 158—171.
То же. — Ашхабад, Туркменгосиздат, 1950. 28 с.

УДМУРТСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. (Петербургская повесть). Пер. И. Гаврилов. Ижевск, Удмурт. кн. изд., 1956. 19 с. с ил. Худ.: И. Нурмухаметов.

УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. М. Шайхзаде. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные произведения. Т. 3. Поэмы. Ташкент, Госиздат УзССР, 1949, с. 263—278.
Медный всадник. Пер. А. Мухтар. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные произведения. Т. 2. Ташкент, Госиздат УзССР, 1954, с. 265—282.

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

Мідний вершник. Петербурзька повість. Пер. М. Рильского. Харків—Київ, Книгоспілка, 1930. 23 с.
То же. — В кн.: Пушкин А. Вибрані твори. Вид. друге. Харків—Київ, Книгоспілка, 1930, с. 73—85.
То же. Київ, Держ. літ. видав., 1936. 31 с.
То же. Харків, Держ. літ. видав., 1936. 40 с. Худ.: М. Котляревська.
То же. — В кн.: Пушкин О. С. Вибрані твори в двоих томах. Т. 1. Харків, Держ. літ. видав., 1937, с. 399—412.
То же. Київ. Держ. видав. худож. літ., 1946. 15 с.
То же. — В кн.: Пушкин О. С. Твори. Київ, Держ. видав. худож. літ., 1949, с. 303—317.
То же. — Київ, Держ. видав. худож. літ., 1951, 23 с. Худ.: В. Литвиненко.
То же. — В кн.: Пушкин О. С. Твори в 4-х т. Т. 2. Поеми. Казки. Київ, Держ. видав. худож. літ., 1952, с. 311—328.

ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. А. К. Трамов. Грозный, Чечингосиздат, 1937. 20 с.
То же. — 1939.

ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. А. Алга. — В кн.: Пушкин А. С. Стихи. Чебоксары, Чувашгосиздат, 1949, с. 140—144.
Перевод отрывка.

ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Петербургская повесть. Пер. Я. Тамм. — В кн.: Хрестоматия для чтения (школьная). Юрьев [Тарту], 1903, с. 155—161.
Медный всадник. Пер. Б. Альвер. — В кн.: Пушкин А. С. Избранная поэзия. Тарту, «Ээсти кирьяндусе селтс», 1936, с. 215—232.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Две поэмы. Полтава. Медный всадник. Таллин, «Худож. лит. и искусство», 1948, с. 87—113.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные стихотворения. Таллин, «Худож. лит. и искусство», 1949, с. 209—227.
То же. Пер. Б. Альвер и А. Санг. — В кн.: Пушкин А. С. Стихи и поэмы. Таллин, «Ээсти раамат», 1968, с. 141—162.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Стихотворения. Поэмы. Таллин, «Ээсти раамат», 1972, с. 437—457.

ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. Элляй. — В кн.: Пушкин А. С. Сборник произведений. Поэзия. М.—Якутск, 1937, с. 29—45.
То же. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные произведения. Якутск, Якгиз, 1949, с. 133—146.

ПЕРЕВОДЫ НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

АЛБАНСКИЙ ЯЗЫК

Kalorësi i bronxët. Tregim petërburgas. E përktheu L. Siliqi. — In: Pushkin A. S. Vjersha dhe poema. Tiranë, N. Sh. Botimeve N. Frashëri, 1964, f. 419—454.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

The Bronze Cavalier. A poem in two cantos. Transl. by Ch. E. Turner. — In: Translations from Poushkin in memory of the hundredth anniversary of the poet's birthday. St. Petersburg, K. L. Ricker—London, S. Low, Marston and Co., 1899, p. 123—142.
Примечания переводчика, с. 315—316.
The Bronze Horseman. The beginning of the poem. Transl. by N. Jarintzov. — In: Jarintzov N. Russian poets and poems. «Classics» and «moderns». Vol. 1. Oxford, B. H. Blackwell, 1917, p. 110—112.
Перевод Вступления.
The Copper Horseman. Transl. by C. A. Manning. — «South Atlantic quarterly», Durham, N. C., 1926, vol. 25, p. 76—88.
Перевод отрывков.
The Bronze Horseman. Transl. by Ch. F. Coxwell. — In: Russian poems. Transl. with notes by C. F. Coxwell. London, C. W. Daniel Co., 1929, p. 85—95.
The Bronze Horseman. (A tale of Petersburg). Transl. by O. Elton. — «Slavonic and East European review», London, 1934, vol. 13, July, No. 37, p. 2—14.
Idem. — In: Elton O. Verse from Pushkin and others. London, Arnold, 1935, p. 152—167.
Idem. — New York, Longmans, Green, 1935.
Idem. — In: Pushkin A. The poems, prose and plays. New York, The Modern Library, 1936, p. 95—110.
Idem. — New York, Random House, 1936, p. 95—110.

Idem. — In: A treasury of Russian life and humour. Ed. by J. Cournos. New York, Coward—MacCann, 1943, p. 115—126.
Idem. — In: L e d n i c k i W. Pushkin's Bronze Horseman. The Story of a Masterpiece. Berkeley and Los Angeles, 1955, p. 140—151. (Univ. of California publications. Slavic Studies, vol. 1).
The Bronze Horseman. A tale of St. Petersburg. Transl. by E. M. Kayden. — «The Colorado Quarterly», 1971, vol. 19, No. 3, Winter, p. 305—320.
Reprint: Boulder (Colo), Univ. of Colorado, 1971, p. 305—320.
The Bronze Horseman. A tale of St. Petersburg. Transl. by I. Zheleznova. — In: P u s h k i n A. Selected Works in two volumes. Vol. I. Poetry. Moscow, Progress publishers, 1974, p. 84—97.
Примечания, с. 205—206.
Idem. 1976, p. 84—97.

БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК

Медний конник. Прев. И. Вазов. — В кн.: Българска христоматия. Съст. И. Вазов и К. Величков. Ч. 2. Поезия. Пловдив, Свештов, Солун, Д. В. Манчов, 1884, с. 88—94.
То же. — В кн.: Христоматия по изучванье словесностьта. Съст. С. Костов и Д. Мишев. Т. 2. Епически поезия. 2-о, поправ. и доп. изд. Пловдив. Х. Г. Данов, 1898, с. 135—140.
Перевод отрывков.
Медний конник. (Откъслек). — В кн.: П у ш к и н А. С. Сборник съчинения в български преводи. Киев, Държ. изд. на нац. малцинства в УССР, 1937, с. 171—178.
Отрывок. Переводчик не указан [И. Вазов].
Медният конник. Петербургска повест. Прев. Л. Стоянов. — В кн.: П у ш к и н А. С. Съчинения. Пълно събрание в 10 т. Т. 3. Поеми. София, Игнатов, 1942, с. 333—350.
То же. — В кн.: П у ш к и н А. С. Стихотворения и поеми. София, Изд. на Бълг. работнич. партия (комунисти), 1947, с. 183—198.
Медният конник. Петербургска повест. Прев. Х. Левенсон. — В кн.: П у ш к и н А. С. Избрани съчинения в 3 т. Т. 2. София, «Хемус», 1946, с. 243—263.
То же. — В кн.: П у ш к и н А. С. Избрани съчинения в 3 т. Т. 2. София, «Хемус», 1947, с. 270—289.
Медният конник. Прев. Л. Прангов. — «Септември», София, 1960, № 10, с. 70—81.
Медният конник. Петербургска повест. Прев. Л. Любенов. — В кн.: П у ш к и н А. С. Избрани произведения в 6 т. Т. 3. Поеми и приказки. София, Народна култура, 1971, с. 339—358.
Примечания, с. 422.

ВЕНГЕРСКИЙ ЯЗЫК

A bronzlovas, (Pétervári elbeszélés). Ford.: Gy Radó. — In: P u s k i n A. S. Válogatott munkái. Kijev—Uzshorod, «Rag. skola», 1950, l. 93—105.
A bronzlovas. Elbeszélö kötteményck. Ford.: G. Hegedüs, L. Kardos, G. Radó. Bukarest, Irodalmi könivkiado, 1962. 180 l.
A bronzlovas. Ford. Kormos István. — In: P u s k i n A. S. Elbeszélö költemények. Budapest, 1963, l. 225—241.
Idem. — In: P u s k i n A. Válogattot költöi müvei. Budapest, 1964, l. 507—522.

ГОЛЛАНДСКИЙ ЯЗЫК

De bronzem ruiter. Een Petersburgse vertelling. Trad. de A. G. Schot. Amsterdam, De Bezige Bij., 1955. 39 blz., il.
Idem. — In: Analecta Slavica. A Slavonic miscellany presented for his seventieth birthday to Bruno Becker. Amsterdam, 1955, blz. 1—16.

НОВОГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК

O chalkois ippeis. — Metafr. Ch. Vulodimu. — In: Puškin A. S. Eklekton poimaton. T. 1. Odessa, 1888, c. 142—151.
Прозаический перевод.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК

Il cavaliere di bronzo. Racconto Pietroburghese. Trad. di V. Narducci. — «Russia». Rivista di letteratura—arte—storia. Napoli, anno 2. 1923, No. 2, p. 259—272.
Прозаический перевод.
E. Lo Gatto. Il cavaliere di bronzo di Alessandro Puškin, p. 254—258.

Il cavaliere di bronzo. Trad. di G. Gandolfi. — In: Puškin A. S. Poemetti. Vol. I. Lanciano, G. Carabba, 1937, p. 97—116.

Il cavaliere di bronzo. Trad. de T. Landolfi. — In: Puškin A. S. Poemi e liriche. Trad. di T. Landolfi. Torino, «Einaudi», 1960, p. 371—389.

Il cavaliere di bronzo. Trad. de E. Lo Gatto. — In: Puškin A. S. Opere. Trad. di E. Lo Gatto. Milano, Mursia, 1967, p. 783—791.
Прозаический перевод.

Idem. — In: Puškin. Lirica. Introd., versioni, commenti e note di E. Lo Gatto. Firenze, Sansoni, 1968, p. 465—481.

Il cavaliere di bronzo. Racconto Pietroburghese. 1833. Trad. di N. Martini Bernardi. Verona, Officina Bodoni, 1968. 62 p.
Текст параллельно на русском и итальянском языках.

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. Юй Чжэнь. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные поэмы. Пекин, «Гуанхуа», 1950.

Медный всадник. Пер. Ча Лян-чжэн. — В кн.: Пушкин А. С. Медный всадник [и другие поэмы]. Шанхай, «Пинмин», 1954, с. 1—26.

МОНГОЛЬСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. М. Ширчин-Сурэн. — В кн.: Пушкин А. С. Поэмы. Улан-батор, 1963, с. 3—36.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Petersburg. Übers. von T. Heyse. — «St. Petersburger Zeitung». 1880, den 27. Oktober (8. November), Nr. 301, Montagsblatt, Nr. 43.

Der eherne Reiter. Übers. von F. Johansen. — In: Puschkin A. S. Poetische Erzählungen. Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut, [18..], S. 23—35. (Meyers Volksbücher).

Der eherne Ritter. Eine Petersburger Erzählung. Deutsch von A. Lupus. Nebst Puschkin's Vorwort und Anmerkungen sowie Anmerkungen, Vor- und Nachwort des Übersetzers. Leipzig u. St. Petersburg, K. Ricker, 1898. XIII, 127 S.
Примечания, с. 29—90. Послесловие переводчика, с. 91—123. Перечень известных переводчику переводов на другие языки. с. 124—125.

Der eherne Ritter. Ein episches Gedicht. Übertr. von W. E. Groeger. Illustriert von W. N. Masjutin. Berlin. Newa Verl., 1922. 43 S.
Luther A. «Vorwort», S. 5—9.

Idem, с подзаг.: Eine Petersburger Erzählung. — In: Puschkin A. S. Ausgewählte Werke in 4 Bdn. Bd. 2. Poeme. Eugen Onegin. Moskau, Verl. für fremdsprachige Literatur, 1949, S. 137—159.

Idem. 1950.

Idem. — In: Puschkin A. S. Poetische Werke. Berlin, Aufbau Verl., 1962, S. 200—214.

Idem. — In: Puschkin A. S. Gesammelte Werke in 6 Bdn. Bd. 2. Poeme und Märchen. Berlin, Aufbau—Verl., 1966, S. 287—304.
Примечания, с. 418—420.

Der Reiter aus Erz. Übers. von J. von Guenther. München, Orchis Verl., 1922. 40 S. Иллюстрации А. Бенуа.
Idem, под загл.: Der Eherne Ritter. Eine Petersburger Erzählung. — In: Puschkin A. Ausgewählte Werke. Bd. 2. Berlin, Aufbau—Verl., 1949, S. 423—440.
Idem. — In: Puschkin A. S. Ausgewählte Werke in 4 Bdn. Bd. 2. Berlin. Aufbau—Verl., 1952, S. 419—437.

ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. А. Лахути. — В кн.: Пушкин А. С. Избранные произведения. М., Изд. иностр. лит., 1948, с. 85—169.

ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК

Bronzowy jeździec. [Tlum.: M. A. Szimanowski]. — «Денница. Denniza. Славян. обозрение», Варшава, 1843, ч. 2, с. 117—127.
Переводчик указан в работах В. И. Межова (см.: Список ... источников, № 14, запись 3274) и Топоровского (см.: Список ... источников, № 46, запись 44). См. также: Державин К. Н. Пушкин в славянских литературах. — В кн.: Труды Первой и Второй Всесоюзных пушкинских конференций. М.—Л., 1952, с. 237.
[Końcowy ustęp z Jeźdzca miedzianego]. Tlum: A. Bandrowska. — In: Mickiewicz i Puszkin oraz społeczeństwo polskie i rosyjskie. Kraków, 1899, s. 24—25.
Jeździec miedziany. [Fragment]. Przekł. J. Tuwima. — «Wiadomości literackie», 1927, No. 4; 1928, No. 16; 1931, No. 8.
Jeździec miedziany. Opowieść peterburska. Przekł. J. Tuwima. Studium W. Lednickiego. Warszawa, «Biblioteka polska», 1931. 117 s.
Lednicki W. O Jeźdźcu miedzianym, s. 25—115.
Idem. — «Kultura mas», Moskwa, 1937, No. 1, s. 21—25.
Idem. — In: Lutnia Puszkina. Warszawa, 1949, s. 132—152.
Idem. — In: Puszkin A. Wybór poezji. Katowice, «Czytelnik», 1951, s. 181—199.
Idem. — In: Tuwim J. Z rosyjskiego. T. I. Warszawa, 1954, s. 245—260.
Idem. — In: Puszkin A. Dzieła wybrane. T. 2. Warszawa, Państw. Inst. wyd., 1954, s. 209—228.
Idem. Wyd. 2. 1956, s. 293—311.
Idem. Wrocław, Zakład narod. im. Ossolińskich, 1967. CXV, 59 s.
Предисловие и примечания С. Фишмана.
Текст параллельно на русском и польском языках.
Idem. — In: Puszkin A. Dzieła. T. 2. Poematy i baśnie. Eugeniusz Oniegin. Warszawa, Państw. inst. wyd., 1967, s. 279—297.
Примечания, с. 672—675.
Miedziany jeździec. (Opowieść peterburska). Przeł. W. J. Kasiński. — «Życie i mysl», Warszawa, 1962, No. 1—2, s. 187—193.
Перевод отрывков.

РУМЫНСКИЙ ЯЗЫК

Călărețul de aramă. Poem. Trad. de G. Lesnea. București, «Cartea rusă», 1949. 23 p.
Idem. București, Ed. de stat, 1950.
Idem. — In: Pușkin A. S. Opere alese. Vol. 1. București, 1954, p. 346—363.
Idem. — In: Pușkin A. S. Poeme. București, «Cartea rusă», 1957, p. 381—406.
Примечания, с. 422—424.
Idem. — In: Pușkin A. S. Poeme. Iași. Junimea, 1972, p. 119—142.

СЕРБСКО-ХОРВАТСКИЙ ЯЗЫК

Mjedni konjik. Petrogradska povjest. Preveo B. Brleković. — «Hrvatska lipa», časopis zabavi i pouci, 1875, t. 1, Nos. 35—37, s. 283, 291, 299.
См.: Список ... источников, № 28, с. 130.

Bronzani konjanik. Preveo I. Mamuzić. Novi Sad, Matica srpska, 1949. 30 s.
Idem. — In: Puškin A. Sabrana dela u osam knjiga. Kn. 2. Beograd, «Rad», 1972, s. 361—382.
Примечания переводчика, с. 389.

СЛОВАЦКИЙ ЯЗЫК

Medený jazdec. (Petrohradská povesť). Prel. J. Jesenský. — In: Jesenský J. Z epiki Puškina. Liptovsky Sv. Mikuláš, Tranoscius, 1946, s. 52—70.
Idem. [Отрывок]. — In: Puškin A. S. Výbor z diela. Bratislava, Statne naklad., 1949, s. 36—38.
Medený jazdec. Prel. R. Brtáň. — In: Puškin A. S. Poltava. Výbor z epiky. [s. l], [1947], s. 175—192.
Примечания автора и переводчика, с. 193—194.

СЛОВЕНСКИЙ ЯЗЫК

Bronasti jezdec. Peterburška povest. Prev. O. Župančič. — In: Puškin A. S. Pesnitve. Pravljice, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1959, s. 161—181.
Idem. — In: Puškin A. S. Izbrano delo v 6 knjigah. Druga, negledena izdaja. T. 5. Pesnitve, pravljice. Ljubljana, Državna Založba Slovenije, 1970, s. 161—181.

ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК

[Медный всадник]. — «Serveti funun», 1899.
Сообщение проф. В. Д. Смирнова. Цит. в статье М. С. Михайлова (см.: Список ... источников, № 16; приведено в указателе П. В. Драганова, см.: Список ... источников, № 8).

УРДУ

Медный всадник. Пер. Зоэ Ансари. — В кн.: Пушкин А. С. Стихотворения и поэмы. М., «Прогресс», 1973, с. 151—169.

ФИНСКИЙ ЯЗЫК

Vaskiratsastaja. Pietarilainen kertoelma. Suom.: A. Äikiä. — In: Pushkin A. S. Valitut teokset. 1 kirja. Runoja je runoelmia. Petroskoi, «Kirja», 1937, s. 59—72.
Idem. — In: Pushkin A. S. Teoksia. Petroskoi, Karjalais—Suomalaisen SNT:n Valtion Kustannusliike, 1949, s. 94—108.
Idem. — In: Pushkin A. S. Teoksia. Petroskoi, Karjalais—Suomalaisen SNT:n Valtion Kustannusliike, 1952, s. 95—109.

ФЛАМАНДСКИЙ ЯЗЫК

De Bronzen ruiter. Een Peterburgsche Vertelling. Metrische Vertaling door H. Thiery. — In: Poesjkien, 1837—1937. Brugge, A. Van Acker, 1937, blz. 37—50.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Le cavalier de bronze. Histoire de Saint-Pétersbourg. Trad. par H. Dupont. — In: Pouchkine A. S. Oeuvres choisies. T. 2. St. Pétersbourg, F. Bellizard et C-ie—Paris, Au comptoir des imprimeurs unis, 1847, p. 142—154.
Прозаический перевод. Предисловие Пушкина не переведено.
[Pierre Le Grand. — Oui, je t'aime, cité, création de Pierre]. Trad. de A. Dumas. — «Monte Cristo», 1858, No. 19, p. 297—298; No. 25, p. 397.
Idem. — In: Dumas A. Impressions du voyage. En Russie. 1-ère série. Nouv. éd. Paris, M. Lévy, 1865, p. 131—132, 238—239.

Idem. [Pierre Le Grand]. — В кн.: Чествование памяти А. С. Пушкина в Одесском коммерческом училище 2 февраля 1887 г. Одесса, 1887, с. 44.
[Pétersbourg]. Trad. par L. Leger. — In: Leger L. La litterature russe. Paris, A. Colin et C-ie, 1892, p. 355—356.
Idem. 2-ème ed., 1899.
Idem. — «Revue encyclopédique», Paris, 1899, 10 Juin, No. 301, p. 447.
Прозаический перевод Вступления.
Saint-Pétersbourg. (Début du Cavalier de bronze). — Trad. de E. Saint-Albin. — In: Saint-Albin E. de. Les poètes russes. Anthologie et notice biographique. Paris, A. Savine, 1893, p. 174—176.
Прозаический перевод Вступления.
Le cavalier de bronze. Poème. Introduction. Trad. de O. Lancerai. — In: Anthologie des poètes russes traduits en vers français. Vol. 2. St. Pétersbourg, «Troud», 1903, p. 58—61.
Idem. 2-ème ed. 1908, p. 73—77.
Idem. Paris, B. Grasset, 1911, p. 17—21.
Le cavalier d'airain. Trad. de A. Lirondelle. — In: Pouchkine. Oeuvres choisies. Paris, La Renaissance du livre, 1926, p. 154—159.
Idem. — In: Pouchkine. 1837—1937. Textes recueillis et annotés par J.-E. Pouterman. Paris, Ed. sociales internationales, 1937, p. 159—164.
Перевод отрывков.
Le cavalier d'airain. Trad. inédite de M. Raslovleff. — In: Hommage à Pouchkine. 1837—1937. Bruxelles, 1937, p. 80—81. (Les cahiers du Journal des poètes. Série anthologique. No. 28).
Перевод отрывка Вступления.
Le cavalier de bronze. Trad. de J. Chuzeville. — In: Pouchkine A. S. Contes et poésie lyriques. Fribourg, Egloff—Paris, L. U. F., 1947, p. 77—89.
Прозаический перевод.
Le cavalier d'airain. — In: Anthologie de la poésie russe du XVIII-ème siècle à nos jours. Par E. Rais et J. Robert. Paris, Ed. Bordas, 1947, p. 62—64.
Перевод отрывка.
Le cavalier de bronze. Trad. sur les manuscrits originaux et publié par A. Meynieux. Paris, A. Bonne, 1959. 48 p., il. (Cahiers d'études littéraires. Chef-d'oeuvres russes. I).
Предисловие переводчика, с. 5—13; примечания переводчика, с. 39—42.
Idem. — In: Pouchkine A. Oeuvres. Paris, Ed. L. Mazenod, 1962, p. 99—115. (Les écrivains célèbres).

ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК

Měděný jezdec. Přel. E. Krasnohorská. — In: Puškin A. S. Některé básně rozpravné. Praha, 1894. (Sborník světové poesie, No. 36).
См.: «Список ... источников», № 24, с. 9.
Idem. — In: Puškin A. S. Některé básně rozpravné. Praha, J. Otto, 1905, s. 84—102. (Sborník světové poesie. No. 36).
Měděný jezdec. Petěrburgská povídka. Přel. B. Mathesius. Praha, Evropský literární klub, 1938. 32 s.
Послесловие переводчика, с. 25—31.
Idem. — In: Puškin A. S. Vybrané spisy. Sv. 4. Povídky veršem a prózou. Ohlasy lidové poesie. Praha, Melantrich, 1938, s. 65—84.
Idem. — In: Puškin A. S. Výbor z díla. T. 3. Praha, Svoboda, 1950, s. 497—511.
Примечания, с. 531.
Idem. Měděný jezdec. Petrohradská povídka. Praha, «Mladá fronta», 1951. 36 s.
Idem. — In: Puškin A. S. Pohádky a poemy. Praha, 1954, s. 479—497. (Spisy A. S. Puškina. Sv. 3).
Měděný jezdec. Přel. Z. Bergrova. — In: Puškin A. Měděný jezdec a jiné básně. Praha, Československý spisovatel, 1976, s. 56—78.

ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК

Kopparryttaren. Öfvers. af G. Aminoff. — In: Ryska skalder. Dikter af Puschkin, Lermontoff, Nekrasof. Borgå—Helsingfors, W. Söderström, 1887, s. 7—36.

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК

Медный всадник. Пер. Корето Курахара. — В кн.: Пушкин А. С. Цыганы. Медный всадник и два других произведения. Токио, Иванами Шотен, 1951, с. 237—276.

Медный всадник. Пер. Шозабуро Накаяма. — В кн.: Пушкин А. С. Пиковая дама Медный всадник и три других произведения. Токио, Согенша, 1953, с. 113—147.

То же. — В кн.: Антология мировой поэзии. Токио, Хейбонша, 1959, с. 98—104.

Медный всадник. Пер. Шойчи Кимура. — В кн.: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 2. Токио, Каваде Шобо Шинша, 1972, с. 591—622.

СПИСОК ВАЖНЕЙШИХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ УКАЗАТЕЛЯ ПЕРЕВОДОВ[1]

1. Алексеев М. П. Пушкин на Западе. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Кн. 3. М.—Л., 1937, с. 104—151.
2. Аснаш С. М., Яхонтов А. Н. Описание Пушкинского музея имп. Александровского лицея. Под ред. И. А. Шляпкина. СПб., изд. выпускников Александр. лицея, 1899. XXVII, 514, V с.
   «Переводы и переделки сочинений А. С. Пушкина на иностранные языки», с. 386—423.
3. Берков П. Н., Лавров В. М. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1886—1899. Под ред. Б. В. Томашевского. М.—Л., 1949. 996 с. (Акад. наук СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом)).
   «Иноязычный Пушкин», с. 856—934.
4. Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. 1937—1948. Под ред. Я. Л. Левкович. М.—Л.. 1963. 748 с. (Акад. наук СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом)).
   Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем. [За 1949, 1950, 1951, 1952—1953, 1954—1957 гг.]. М.—Л., 1951—1960. (Акад. наук СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом)).
   Разделы: «Сочинения на языках народов СССР», «Сочинения на иностранных языках».
5. Веневитинов М. Коллекция немецких переводов Пушкина. — «Ист. вестник», 1900, кн. 4, с. 299—302.
6. Геннади Г. Н. Переводы сочинений Пушкина. М., Тип. С. Селивановского, 1859. 32 с.
7. Добровольский Л. М., Лавров В. М. Библиография пушкинской библиографии. 1846—1950. Под общ. ред. Н. И. Мордовченко. М.—Л., 1951. 68 с. (Акад. наук СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом)).
   «Пушкин на языках народов СССР», с. 27—33; «Переводы сочинений Пушкина на иностранные языки», с. 33—40.
8. Драганов П. Д. Пятидесятиязычный Пушкин, т. е. переводы А. С. Пушкина на 50 языков и наречий мира. СПб., Тип. А. С. Суворина, 1899. XVIII, 55 с.

[1] Национальные и общие ретроспективные указатели книжной продукции отдельных стран в настоящем списке не учтены

9. Дудевски Х. Пушкин в Болгарии. — «Рус. лит.», 1972, № 2, с. 207—219.
10. Калашян А. В. А. С. Пушкин. Библиография переводов на армянский язык. (1843—1972). Ереван, 1974. 186 с. (Ереван. ун-т).
11. Ланда С. С. А. С. Пушкин в печати Польской Народной Республики в 1949—1954 годах. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. I. М.—Л., 1956. с. 408—472.
«Библиография переводов произведений А. С. Пушкина и литературы о нем на польском языке за 1945—1954 годы», с. 451—472.
12. Ласорса К. Новые итальянские переводы «Медного всадника». — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1967—1968. Л., 1970, с. 118—124.
13. Малиновская Т. А. Пушкин в Китайской Народной Республике. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. II. М.—Л., 1958, с. 409—418.
14. Межов В. И. Puschkiniana. Библиографический указатель статей о жизни А. С. Пушкина, его сочинений и вызванных ими произведений литературы и искусства. СПб., Имп. Александр. лицей. 1886. V, 11, 406 с.
«Переводы сочинений А. С. Пушкина на иностранные языки», с. 201—237.
15. Меньё А. Пушкин во Франции в 1940—1956 годах. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. II. М.—Л., 1958, с. 450—458.
16. Михайлов М. С. Произведения А. С. Пушкина на турецком языке. — Труды Моск. ин-та востоковедения, 1951, вып. 6, с. 147—174.
«Библиография переводов на турецкий язык произведений Пушкина», с. 172—174.
17. Приятель И. А. С. Пушкин у словенцев. — В кн.: А. С. Пушкин в южнославянских литературах. Сборник библиогр. и лит.-критич. статей под ред. И. В. Ягича. СПб., 1901, с. 367—395. (Сборник Отд-ния рус. яз. и словесности Акад. наук, т. 70, № 2).
«Словенские переводы из Пушкина. Библиографическая таблица», с. 392—394.
18. Рахманов В. В. Русская литература в Испании. — В кн.: Язык и литература Т. 5. Л., 1930, с. 329—346.
19. Розенфельд А. З. А. С. Пушкин в персидских переводах. — «Вестник Ленингр. ун-та», 1949, № 6, с. 81—101.
20. Соколов И. Пушкин в новогреческом переводе. — В кн.: Пушкин в мировой литературе. Сборник статей. Л., 1926, с. 188—198.
21. Степович А. Пушкин у славян. (Библиографическая справка). — В кн.: Сборник статей об А. С. Пушкине по поводу столетнего юбилея. Киев, 1899, ч. 2, с. 187—198.
«Список переводов из Пушкина на разные славянские наречия», с. 196—198.
22. Тодоровски Г. Пушкин на македонском языке. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. II. М.—Л., 1958, с. 445—449.
23. Фомин А. Г. Puschkiniana. 1911—1917. М.—Л., 1937. XXIV, 539 с. (Акад. наук СССР. Ин-т лит.).
«Переводы сочинений Пушкина, напечатанные в России», с. 64—67. «Пушкин в иноязычной литературе», см. по указателю, с. 528.
24. Францев В. А. А. С. Пушкин в чешской литературе. Библиогр. материалы. СПб., Тип. Акад. наук. 1898. 22 с.
Отд. оттиск из «Сборника Отд-ния рус. яз. и словесности Акад. наук», 1898, т. 66, № 4.
25. Чуич Г. Русская литература на сербском языке. Опыт библиографии переводной русской литературы за период с 1860-го по 1910-й год. — Труды Воронеж. ун-та, 1926, т. 3, с. 116—140.
26. Шишманов И. Д. Русское влияние и Пушкин в болгарской литературе. — В кн.: А. С. Пушкин в южнославянских литературах. Сборник библиогр и

лит.-критич. статей под ред. И. В. Ягича. СПб., 1901, с. 1—49. (Сборник Отд-ния рус. яз. и словесности Акад. наук, т. 70, № 2).
«Переводы», с. 40—49.
27. Шульц В. А. А. С. Пушкин в переводе французских писателей. СПб., Тип. В. И. Грацианского, 1880. 135 с.
Отд. оттиск из журн.: «Древняя и новая Россия», 1880, № 5, 6, 7, 12.
28. Ягич И. В. А. С. Пушкин в сербско-хорватской литературе. Очерк библиографический. — В кн.: А. С. Пушкин в южнославянских литературах. Сборник библиогр. и лит.-критич. статей под ред. И. В. Ягича. СПб., 1901, с. 69—136. (Сборник Отд-ния рус. яз. и словесности Акад. наук, т. 70, № 2).
29. Александър Сергеевич Пушкин. 1799—1837. Библиогр. по случай 175 години от рождението. София, 1974. 135 с. (Нар. б-ка «Кирил и Методий»).
30. Погодин А. Л. Руско-српска библиографиjа. 1800—1925. 1 књига: Књижевност. 1 део: Преводи обjављени посебно или по часописима. 2 део: Преводи обjављени по новинама и календарима. Т. 1—2. Београд, 1932—1936. (Српска краљевска академиjа. Посебна издања. Књига 92, 110. Философски и филолошки списи. Књига 22, 29).
31. Bečka J., Kosterka H. a Procházková H. Puškin v české literatuře. (Bibliografie). — In: Puškin u nás. 1799—1949. Praha, Orbis a Svět sovětů, 1949, s. 384—417.
32. Bečka J. Slavica v české řeči. 1. České překlady ze slovanskych jazyků do r. 1860. Praha, Naklad. Československé akademie věd, 1955. 167 s.
«Puškin, Aleksandr Sergejevič», s. 102—105.
33. Boutchik V. Bibliographie des oeuvres littéraires russes traduites en français. Paris, Librairie Orobitg et C-ie, 1935. VIII, 199 p.
«Pouchkine, Alexandre Sergueevitch», p. 104—111.
34. Brtáň R. Puškin v slovenskej literature. Turčiansky Sv. Martin, Matica Slovenska, 1947. 125 s. (Studie Matice Slovenskej, 2).
«Bibliografia», s. 99—122.
35. Haumant E. Pouchkine. Paris, Blond et C-ie, 1911. 232 p. (Les grands ecrivains étrangers).
«Bibliographie», p. 219—227.
36. [Heyfetz A., Pinson E.]. Pushkin in English. A list of works by and about Pushkin. Compiled by the Slavonic division. Ed., with an introd. by A. Yarmolinsky. New York, The New York Public Library, 1937. 32 p.
Reprinted from the Bulletin of The New York Public Library of July, 1937.
37. Index translationum. Répertoire international des traductions, T. 1—26. [за 1948—1974 гг.]. Paris, UNESCO, 1949—1976.
38. Jensen A. Puškin in der schwedischen Literatur. — In: Zbornik u slavu Vatroslava Jagiča. Berlin, Weidmansche Buchhandlung, 1908, S. 71—80 (Jagič—Festschrift).
39. Kozocsa S. Az orosz irodalom magyar bibliográfiája. Budapest, Országos Széchenyi könivtár, 1947. XVI, 333 l.
40. Line M. B. A bibliography of Russian literature in English translation to 1900 (Excluding periodicals). London, The Library Assoc., 1963. 74 p.
41. Lo Gatto E. Storia della letteratura russa. Vol. 3. La letteratura moderna. 1. Roma, Anonima Romana Editoriale, 1929. (Publ. dell' «Istituto per l'Europa orientale». 1 serie. Letteratura—arte—filosofia. XIV, 2).
«Breve bibliografia Puškiniana», p. 326—333.
42. Meynieux A. Traductions françaises. — In: Pouchkine A. Le cavalier de bronze. Paris, A. Bonne, 1959, p. 44—45.
43. Osborne E. A. Early translations from Russian. 2. Pushkin and his contemporaries. — «The Bookman», London, 1932, Aug., p. 264—268.
44. Roman F. Literatura rusă şi sovietică în limbă romînă. 1830—1959. Contribuţii bibliografice. Introd. de T. Gane. Bucureşti, Ed. de Stat pentru imprimate şi publicaţii, 1959. 520 p.

45. Strahl I. Gogol, Puschkin und Tschechow. Verzeichnis der seit 1945 erschienenen deutschen Übersetzungen ihrer Werke. Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, 1955, S. 4—22. (Bibliographische Mitteilungen, Nr. 8).

46. Toporowski M. Puszkin w Polsce. Zarys bibliograficzno-literacki. Warszawa, Inst. Wyd., 1950. 322 s.

Ч. 1. Переводы и адаптации произведений Пушкина, с. 33—135.

47. Verhaegen Cosyns E. Traductions françaises des littératures russe et sovietiques (1945—1960). Vol. 1—2. Bruxelles, 1960. (Bibliographia belgica, 50).

48. Výstava «Puškin a jeho doba». Porádaná v budově Národniho musea v Praze v březnu r. 1932. Knižní část. Puškiniana. Katalog díla Puškinova a prací o nem. Sestaven úredníky knihoven musejni a Slovanské. Praha, 1932. 72 s.

«Puškin a Slovanstvo. a) Ukazky z překladů Puškinových děl do slovanskych jazyků, s. 53—58.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Акад. — Пушкин. Полн. собр. соч. Изд-во АН СССР. Т. I—XVI (т. II, III, VIII, IX — каждый в двух книгах), 1937—1949; т. XVII (Справочный), 1959. Все цитаты из сочинений и писем Пушкина приводятся (кроме особо оговоренных случаев) по этому изданию; римская цифра означает том, арабская — страницу.

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва). См. также ЛБ.

ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

ЛБ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва). См. также ГБЛ. Форма ЛБ применяется в шифрах автографов Пушкина, хранившихся в ГБЛ до 1949 г. (теперь — в ПД) и опубликованных в *Акад.*

Летопись — Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., Изд-во АН СССР, 1951.

ПД — Пушкинский Дом (Институт русской литературы АН СССР). Сокращение, принятое в шифрах автографов Пушкина, хранящихся теперь в ИРЛИ. Полная форма шифров: ИРЛИ (ПД), ф. 244, оп. 1, № 1—1733.

Письма — Пушкин. Письма. 1815—1833. Т. I, II. Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., Госиздат, 1926—1928; т. III. Под ред. и с примеч. Л. Б. Модзалевского. М.—Л., «Academia», 1935.

Рукописи Пушкина, 1937 — Модзалевский Л. Б., Томашевский Б. В. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. Научное описание. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1937.

Рукописи Пушкина, 1964 — Соловьева О. С. Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский Дом после 1937 г. Краткое описание. М.—Л., «Наука», 1964.

Рукою Пушкина. — Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Подготовили к печати и комментировали М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер. М.—Л., «Academia», 1935.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Сергеевич Пушкин

МЕДНЫЙ ВСАДНИК

Утверждено к печати Редколлегией серии «Литературные памятники» АН СССР

Редактор издательства *Н. А. Храмцова.* Художник *М. И. Разулевич*
Технический редактор *М. Н. Кондратьева.* Корректоры *С. В. Добрянская* и *Л. А. Привалова*

ИБ № 8022

Сдано в набор 04.01.78. Подписано к печати 7.07.78. М-08653. Формат 70×90 1/16. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Печ. л. 18+3 вкл. (0.375 печ. л.) = =21.49 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 19.72. Тираж 50 000. Изд. № 6619. Тип. зак. 15.
Цена 2 р. 80 к.

Издательство «Наука», Ленинградское отделение. 199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука», 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12